ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2015

7

“КОНЕЦ ЗЕМЛИ, ЕВРОПЫ КРАЙ...”

НОМЕР ПОСВЯЩЕН ЛИТЕРАТУРЕ ПОРТУГАЛИИ

Основан в 1955 году

Номер, который мы сегодня представляем вашему вниманию, посвящен португальской литературе, мало известной российскому читателю. Хотя португальские авторы (прежде всего, прозаики) публиковались и в СССР, и позднее в России, но на слуху только три имени: Камоэнс, Пессоа, Сарамаго. Камоэнс давно вошел в золотой фонд мировой классики, и, хотя мало кто читал его "Лузиады", Португалия в нашем понимании — страна великих географических открытий и Луиса де Камоэнса, который их воспел. Пессоа, классик начала XX века, и Сарамаго, лауреат Нобелевской премии, знакомы нам ближе, во многом благодаря переводчикам. Стихи Пессоа переводили и Юрий Левитанский, и Борис Слуцкий, и Борис Дубин, и Анатолий Гелескул, и Евгений Витковский (последний — особенно много), и многие другие. Жозе Сарамаго переводил и переводит Александр Богдановский, признанный мастер.

Было бы, однако, ошибкой полагать, что эти три гиганта выросли в пустыне. В португальской литературе было и есть еще немало интересных имен и произведений. Знакомство с ними мы начинаем с конца XIX века, с Сезариу Верде, поэта — предшественника модернизма, во многом повлиявшего на Пессоа. Начало XX века представлено в нашем номере не только Пессоа, но и его ближайшим другом и тоже классиком португальской литературы, модернистом Мариу де Са-Карнейру. Читатель познакомится также со стихами Флорбеллы Эшпанки, которые никогда раньше не переводились на русский язык.

В номер включены произведения разных жанров. Здесь и сатирическая пьеса Луиша Франсишку Ребеллу, и короткие рассказы современных писателей Жозе Луиша Пейшоту и Гонсалу М. Тавареша, и публицистические эссе социолога Марии Филумены Моники.

Роман, открывающий номер, принадлежит перу Антониу Лобу Антунеша, писателя, не раз выдвигавшегося на Нобелевскую премию. Этот роман, "Слоновья память", — рассказ об одном дне жизни португальского врача, травмированного опытом участия в колониальной войне в Африке и пытающегося справиться с этой психологической травмой. Но есть в романе и другой главный герой — Лиссабон, к которому автор испытывает противоречивое чувство любви-ненависти.

Есть в этом номере и открытия: Сарамаго, к примеру, предстает здесь в новой для нас ипостаси — как поэт. Он и сам признает, что проза его более значительна, чем поэзия, однако, думаем, представляют интерес и стихи. Из рецензии Елены Огневой читатель узнает о новом издании "Лузиад" на русском языке. История этого перевода, сделанного еще в сороковые годы прошлого века, так необычна, что, возможно, возникнет желание перечесть и саму огромную поэму.

К сожалению, формат журнала не позволяет показать все богатство португальской литературы, но надо надеяться, за этим номером последуют и другие...

Ирина Фещенко-Скворцова,
Екатерина Хованович,
составители номера

[7]
2015

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

“Конец земли, Европы край”

Номер посвящен литературе Португалии

3 Антониу Лобу Антунеш *Слоновья память.* Роман. Перевод Екатерины Хованович

123 Жозе Сарамаго *Возможные стихотворения.* Перевод Павла Грушко, Екатерины Хованович. Вступление Екатерины Хованович

126 Жозе Луиш Пейшоту *Рассказы.* Перевод Марии Курчатовой

143 Гонсалу М. Тавареш *Господин Жуаррош.* Фрагменты книги. Перевод Екатерины Хованович

149 Луиш Франсишку Ребеллу *Визит Его Превосходительства.* Катастрофический фарс. Перевод Екатерины Хованович

На пороге XX века

169 Ирина Фещенко-Скворцова *Вступление*

172 Мариу де Са-Карнейру *Безумие.* Роман. Перевод Марии Курчатовой

207 Сезариу Верде *Мир чувств западного человека.* Поэма. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

213 Флорбела Эшпанка *Сонеты.* Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

Из классики XX века

217 Фернандо Пессоа

218 *Книга неуспокоенности.* Фрагменты романа-эссе. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

229 *Сонеты из цикла “Крестный путь”.* Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

232 Ирина Фещенко-Скворцова *Триумфальный день Фернандо Пессоа*

Литературное наследие

243 Жентил Маркеш *Легенды.* Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

Статьи, эссе

258 Мария Филумена Моника *Четыре эссе.* Из книги *Мы, португальцы...* Перевод Антона Чернова, Марии Курчатовой

Письма из-за рубежа

265 Ирина Фещенко-Скворцова *Записки эмигранта*

БиблиофИЛ

269 Елена Огнева *“О были величавой и тревожной навеки мы преданье сохраним...”*

275 Антонио Перейра Нобре *Мельник ностальгии.* Отклики читателей

Библиография

279 *Португальская литература на страницах “ИЛ”*

Авторы номера

281

© “Иностранная литература”, 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Антониу Лобу Антунеш

Слоновья память

Роман

Перевод Екатерины Хованович

Посвящается Зезинье и Жуане

...as large as life and twice as natural.

L. Caroll
Through the Looking-glass[1]

Кто задумает дать деру, тому всегда подфартит, так что кусайте теперь локти.

Фраза, которую произнес Деде, удирая из тюрьмы

Больница, где он работал, была та самая, куда он в детстве не раз провожал по утрам отца: старинное монастырское здание с часами, словно снятыми с фасада муниципального совета, двор с потускневшими платанами, бредущие куда попало оглушенные транквилизаторами паци-

© 1979, 1983 António Lobo Antunes
© 1983, Dom Quixote
© Екатерина Хованович. Перевод, 2015

1. ...самый настоящий, только еще в два раза натуральнее. Л. Кэрролл "Алиса в зазеркалье" (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

енты в больничных пижамах, жирная улыбка охранника, так задирающего уголки губ, будто рот вот-вот вспорхнет с физиономии и улетит. Время от времени исполняющий роль мытаря, этот многоликий Юпитер вынырнул из-за угла лечебного корпуса, зажав под мышкой пластиковую папку, и требовательно-просительным жестом протянул листок бумаги:

— Взносики в Общество, сеньор доктор.

Черт бы побрал психиатров, сомкнувших ряды, будто полицейский кордон, думал он, пытаясь нашарить сто эскудо в лабиринтах портмоне, черт бы побрал этот Великий Восток Психиатрии, этих высокомерных классификаторов чужих страданий, пораженных той единственной подлой формой психоза, которая выражается в преследовании всех прочих душевнобольных, в ограничении свободы безумия под предлогом исполнения Уголовного кодекса, созданного самими страдальцами, черт бы побрал Искусство Учета и Контроля Смертной Тоски, черт бы побрал меня, подытожил он, засовывая в карман прямоугольный бланк, за то, что соучаствую в этом безобразии, платя взносы, вместо того чтобы, рассовав бомбы по ведрам для использованных бинтов и по ящикам в кабинетах врачей, устроить развеселый атомный гриб из всех этих ста двадцати пяти лет извращенного идиотизма в духе Пина Маники[1]. Ярко-синий взор охранника-мытаря, так и не заметившего, как налетела и отхлынула гигантская волна внезапного эскулапова негодования, омывает врача тихим светом, подобным ореолу средневекового ангела: не раз доктор тайно замышлял нырнуть солдатиком внутрь полотен Чимабуэ[2] и раствориться в выцветшей охре эпохи, еще не изгаженной мебелью из ламината и типографскими образками популярной девочки-святой, отучавшей бедняков материться; порхать бы там, как куропатка, замаскированная под лоснящегося серафима, задевая крыльями колени святых дев, неотличимых, как ни странно, от женщин с картин Поля Дельво[3], застывших, словно манекены, воплощением обнаженного испуга на фоне необитаемых железнодорожных вокзалов. Последний хриплый отзвук умирающего гнева срывается с его губ:

1. Дьогу Инасиу Пина Маники в конце XVIII в. возглавлял португальскую полицию. Создатель исправительных домов для детей и подростков, приютов для бездомных, известен гонениями на сторонников идей Великой французской революции.
2. Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пепо, ок. 1240-ок. 1302) — флорентийский живописец.
3. Поль Дельво (1897–1994) — бельгийский художник, видный представитель сюрреализма.

— Сеньор Моргаду, ради целостности наших с вами яиц отстаньте от меня до следующего года с вашими гребаными взносами и передайте сношающему нам мозжечок Обществу неврологии и психиатрии и иже с ним, чтобы аккуратно скрутили мои деньги в трубочку, щедро смазали вазелином и засунули себе сами знают куда, огромное спасибо, я закончил, аминь.

Охранник-сборщик взносов слушал его, застыв в почтительном поклоне (парень в армии явно был любимым стукачом сержанта, догадался врач) и открывая заново законы Менделя на уровне своего малогабаритного двухкомнатного интеллекта с правом пользования кухней.

— Сразу видно, что вы, сеньор доктор, — сын сеньора доктора: как-то раз ваш папаша выволок из лаборатории инспектора за уши.

Взяв курс на журнал учета явки и чувствуя, как обнаженная грудь дамы с картины Дельво тает где-то на краю гаснущей мысли, психиатр вдруг осознал, какой след оставили боевые подвиги его родителя в памяти восторженно-ностальгирующих седовласых толстяков определенного пошиба. Ребятишки, называл их отец. Когда лет двадцать назад они с братом начинали заниматься хоккеем в футбольном клубе “Бенфика”, тренер, товарищ отца по славным спортивным баталиям, перераставшим в рукопашные, вынул изо рта свисток, чтобы со всей серьезностью изречь:

— Хорошо бы вы в папу пошли. Жуан, стоило ему услышать сигнал к началу игры, как с цепи срывался. В тридцать пятом трое из “Академики” Амадоры отправились с катка Гомеш Перейра прямиком в больницу Сан-Жозе. — И добавил вполголоса, нежно, будто предаваясь сладким воспоминаниям о первой юношеской влюбленности: — С проломленными черепами.

И вздохнул так, словно приоткрыл тот ящик памяти, где хранится совершенно ненужный старый хлам, без которого прошлое не имеет смысла.

Некуда деваться: я безнадежный мямля, укрывшийся за бортиком, подумал он, расписываясь в журнале, который протянул ему администратор, лысый старец, пораженный необъяснимой страстью к пчеловодству, водолаз в скафандре с сеточкой, налетевший на жужжащий риф насекомых; я жалкий мямля, из тех, кому слабó выйти на поле и кто жаждет вернуться в теплый хлев материнского лона, в единственное достойное убежище для своей тоскливой тахикардии. И тут же почувствовал себя блудным сыном, забывшим дорогу домой: взывать к материнской глухоте было делом еще более бессмысленным, чем ломиться в запертую дверь пустой комнаты, несмотря на героические усилия слухового аппарата, с помощью которого

мать поддерживала с внешним миром искаженную и смутную связь, полную едва слышных криков и клоунски-преувеличенных объясняющих жестов. Чтобы пробить этот кокон молчания, сыну приходилось исполнять что-то вроде африканского танца: подмигивать, скакать, как бешеный, по ковру, гримасничать, будто у него вместо лица резиновая маска, хлопать в ладоши, хрюкать до изнеможения, и только когда наконец он падал без сил, утопая в складках дивана, толстого, как презревший диету диабетик, движимая чем-то подобным тропизму растений (вроде подсолнухов), мать поднимала невинный взор от вязания, издавала вопросительное “а?”, и спицы ее замирали над клубком, как палочки китайца над недоеденным завтраком.

Жалкий пропащий мямля, жалкий пропащий мямля, жалкий пропащий мямля, твердили ступени, пока он поднимался по лестнице, видя, как, покачиваясь, приближается к нему, словно станционный нужник к подъезжающему вагону, дверь отделения, где царила священная корова, к ужасу своих подданных извлекавшая изо рта вставную челюсть, как некоторые засучивают рукава, чтобы придать ругани бóльшую убедительность. Образы дочерей, которых он видел урывками по воскресеньям, будто сбегая в самоволку из казармы, пронеслись у него в голове по диагонали снопами пыльного света, которому чердачные окошки придают очертания этакой печальной радости. Ему нравилось водить дочерей в цирк, он надеялся, что они заразятся его восторгом перед акробатками, которые завязываются узлами и сплетаются сами с собой, словно инициалы в уголке салфетки, эти артистки казались ему эфемерно-прекрасными, как воздушный шлейф, тянущийся за взлетающим самолетом, или как девушки в плиссированных юбочках и высоких белых ботинках, пятясь, нарезающие эллипсы на льду катка в Зоологическом саду, и его разочаровывал, как предательство, нежданный интерес девочек к сомнительным блондинкам с сединой у корней волос, дрессирующим меланхолически покорных и одинаково уродливых собачонок, или к шестилетнему мальчику, с беспечным смехом будущего громилы рвущему толстые телефонные справочники, этакому Моцарту кастета и дубинки. Черепные коробки двух маленьких существ, носивших его фамилию, повторявших и развивавших архитектуру его лица, представлялись ему такими же таинственно непроницаемыми, как загадочные неисправности школьных водопроводных кранов, и его пугало, что под волосами, пахнущими так же, как его собственные, произрастают идеи, отличные от тех, которые он так мучительно накапливал за годы и годы колебаний и сомнений. Он недоумевал, почему помимо его привычных гримас и жестов природа не озаботилась передать дочерям в качестве бонуса стихи Элиота,

которые он помнил наизусть, силуэт велосипедиста Алвеша Барбозы, мчащегося по улицам Пеньяш-да-Сауди, и обретенный им, отцом, опыт страданий. И за их улыбками он с тревогой угадывал тень будущих передряг, как на собственном лице, присмотревшись к его отражению в зеркале, видел за утренней щетиной призрак смерти.

Он нашел в связке ключ от отделения (моя ипостась экономки, пробормотал он, роль кладовщика выдуманных кораблей, буквально изо рта у крыс вырывающего матросские галеты) и вошел в длинный коридор с тяжелыми, как ворота склепов, дверями по обеим сторонам, за которыми на каких-то неопределенных матрасах валялись женщины, обилием медикаментов превращенные в усопших инфант-сомнамбул[1], придавленных Эскориалами болезненных фантазий. Старшая медсестра в своем кабинете, достойном доктора Мабузе[2], величаво, будто коронующий сам себя Наполеон, водружала искусственную челюсть обратно на десны; стукаясь друг о друга, коренные зубы глухо пощелкивали, как пластмассовые кастаньеты, являя собой специальное устройство, созданное в поучение то ли старшеклассникам, то ли посетителям Призрачного замка в парке аттракционов, где запах жареных сардин изысканно перемешан со стонами страдающей коликами карусели. По коридору вечно плыли бледные сумерки, и фигуры людей и предметов, освещенные редко рассеянными по потолку лампами, приобретали текстуру газообразных позвоночных из нонконформистского катехизиса Сартра, бежавших из-под строгого режима божьих заповедей, чтобы побродить свободно по ночному городу, растрепанному, как библейская шевелюра бессмертного Аллена Гинзберга[3]. Несколько старушек, которых наполеоновские кастаньеты вывели из тяжкой летаргии, шаркали шлепанцами наугад от стула к стулу, как сонные птички в поисках кустика, где бы прикорнуть на ветке; врач тщетно пытался сквозь извивы морщин, казавшихся ему не менее таинственными, чем сетки кракелюров на полотнах Вермеера, заглянуть в их молодость, в эпоху навощенных усов, кружков хорового пения и церковных процессий, когда культура, питавшая юные души, сводилась к романам

1. Морис Равель в 1899 г. создал знаменитую “Павану в честь усопшей инфанты”.
2. Доктор Мабузе – психоаналитик, феноменальный гипнотизер, мастер перевоплощения, карточный игрок, гениальный и безжалостный преступник – вымышленный литературный персонаж, созданный немецким писателем Жаком Норбертом (1880–1954).
3. Ирвин Аллен Гинзберг (1926–1997) – американский поэт, основатель битничества и ключевой представитель бит-поколения наряду с Д. Керуаком и У. Берроузом. Автор знаменитой поэмы “Вопль” (1956).

Жервазиу Лобату[1], советам духовника и желатиновым драмам доктора Жулиу Данташа[2], оканчивающимся рифмованным бракосочетанием кардинала и фадистки. Восьмидесятилетние дамы задерживали на нем взгляд выцветших стеклянных глаз, пустых, как аквариумы без рыбок, в которых тонкая тина мысли с великим трудом сгущается над мутными водами туманных воспоминаний. Старшая медсестра, сверкая металлическими клыками, погоняла это артритное стадо, направляя его обеими руками в зал, где телевизор давным-давно совершил харакири из солидарности со стульями-инвалидами, падающими, если не прислонить их к стене, и где радио издавало прерываемый редкими — к счастью! — воплями ужаса монотонный фосфоресцирующий скулеж потерявшегося ночью на сельской дороге щенка. Старушки постепенно успокаивались, как счастливо избежавшие попадания в бульон и мирно взлетающие обратно на насест куры, они пожевывали голыми деснами эластичную жвачку собственных щек и предавались пространным размышлениям по поводу висящей перед ними на стене благочестивой олеографии, на которой сырость постепенно пожирала бисквиты нимбов над головами святых, казавшихся предтечами попрошаек из небесного катманду. В кабинете для приема больных высились руины шкафа, украденного из запасов утратившего последние иллюзии старьевщика, стояли два или три драных кресла, сквозь прорехи в сиденьях которых виднелась подкладка, как седины сквозь дыры в берете маркизы, жившей в героическую и чахоточную эпоху доктора Соузы Мартинша[3], и письменный стол, под которым, там, где должны были теоретически располагаться колени сидящего, стояла громадная ветхая корзина для бумаг на сносях, едва не падающая под тяжестью гигантского плода. На некогда бе-

1. Жервазиу Жоржи Гонсалвиш Лобату (1850–1895) португальский писатель, драматург, журналист, комедиограф, переводчик и преподаватель декламации. Его произведения отражают жизнь португальской столицы конца XIX в. Наиболее известно произведение “Лиссабон в рубахе”, экранизированное в 1960 г.

2. Жулиу Данташ (1876–1962) португальский писатель, врач, политик и дипломат. Творил в самых различных жанрах, но наиболее известен как драматург. Самая знаменитая его пьеса — “Ужин кардиналов”. Часть интеллектуалов считала его ретроградом, например, Алмада Негрейруш написал даже “Манифест анти-Данташ”. При жизни Данташ пользовался огромной популярностью и уважением, но после его смерти о нем довольно скоро стали забывать.

3. Жозе Томаш ди Соуза Мартинш (1843–1897) — португальский врач-подвижник, преподаватель Лиссабонской медико-хирургической школы. Самоотверженно, и часто безвозмездно, боролся с туберкулезом. Был прекрасным оратором, производил сильнейшее впечатление на слушателей и учеников. Был так почитаем, что со временем превратился в сознании людей во что-то вроде святого. У его памятника до сих пор оставляют таблички со словами благодарности за излечение (ex-voto).

лой, но запятнанной скатерти из пластмассовой вазы торчала бумажная роза, как некогда флаг капитана Скотта на льдине у южного полюса. Медсестра, похожая на портрет королевы доны Марии II с денежной купюры в варианте Кампу-ди-Орики[1] отконвоировала к психиатру поступившую накануне женщину, которую он еще не успел осмотреть; дама после множества инъекций передвигалась зигзагом, рубаха струилась и вилась вокруг ее тела, придавая ей сходство с призраком Шарлотты Бронте, бредущей в темноте по коридорам старинного особняка. Врач прочел предварительный диагноз, поставленный при поступлении: "Параноидальная шизофрения; попытка суицида", быстро пролистал записи о медикаментах, введенных в отделении неотложной помощи, и стал искать в ящике стола блокнот, а между тем солнце внезапно радостно прильнуло к оконной раме. Во дворе между первым и шестым мужскими отделениями, спустив штаны до колен и привалившись к дереву, яростно мастурбировал негр, не замечая, как за ним подглядывает ликующая стайка санитаров. Чуть дальше, около восьмого отделения, двое в белых халатах заглядывали под капот "тойоты", пытаясь разобраться в устройстве ее загадочных дальневосточных внутренностей. Желтолицые пройдохи начали с галстуков марки "Бродячий торговец" и вот уже порабощают мир радиоприемниками и автомобилями, а там, глядишь, превратят нас всех в летчиков-камикадзе, готовых по первому их слову рухнуть летом на монастырь Жеронимуш с криком "банзай", как раз когда венчания и крестины сменяют там друг друга со скоростью пулеметной очереди. Больная (кто входит в этот дом скорби, чтобы принимать таблетки, прописывать таблетки или навестить как благородный христианин жертву приема таблеток — тот больной, подумал психиатр) уставилась на его нос мутным от лекарств взглядом и произнесла с упрямой решимостью:

— Козел вонючий!

Дона Мария II пожала плечами, стараясь сгладить неловкость:

— Твердит это с тех пор, как поступила. А видели бы вы, доктор, какую сцену она закатила родным. Хоть святых выноси. Да и нас всех разнесла по кочкам.

Врач записал в блокноте: козел, разнесла по кочкам, подвел жирную черту, как будто собирался подсчитать сумму, и вывел заглавными буквами: ХУЙ. Медсестра, до этого заглядывавшая ему через плечо, отпрянула назад: непробиваемое

1. Один из центральных комфортабельных районов Лиссабона, так сказать "буржуазный район".

католическое воспитание, предположил доктор, смерив ее взглядом с головы до ног. Непробиваемое католическое воспитание и нетронутая девственность как дань семейной традиции: мать, зачиная ее, должно быть, молилась святой Марии Горетти[1].

Шарлотта Бронте, балансируя на грани химического нокаута, указала пальцем с облезшим лаком на ногте в сторону окна:

— Вы хоть раз замечали солнце там за окном, козлина?

Психиатр нацарапал: ХУЙ+КОЗЛИНА=ВЕЛИКАЯ ЕБЛЯ, вырвал листок и отдал его сестре:

— Видите? — спросил он. — Эту истину мне помогла постичь моя первая учительница домоводства, кстати, если честно, обладательница лучшего клитора в Лиссабоне.

Королева Мария резко выпрямилась, преисполненная почтительного негодования:

— Вы, доктор, сегодня в прекрасном расположении духа, но есть и другие врачи, которым требуется моя помощь.

Доктор послал ей широким жестом благословение Urbi et Orbi[2], которое как-то видел по телевизору:

— Ступайте с миром, — произнес он неторопливо с итальянским акцентом, — и не теряйте моего папского послания, не дав его прежде прочесть моим возлюбленным братьям епископам. Sursum corda и Deo gratias[3] или наоборот.

Он тщательно затворил за ней дверь и вернулся к столу. Шарлотта Бронте смерила его оценивающим взглядом из-под полуприкрытых век:

— Пока не решила, симпатичный вы козел или мерзкий, но, на всякий случай, шли бы вы в пизду вашей матери.

В пизду матери, подумал он, до чего верно сказано. Он повертел это выражение во рту языком, как карамель, ощутил его цвет и теплый вкус, отступил во времени к тому дню, когда прочел его, нацарапанным карандашом на стене школьного туалета среди поясняющих рисунков, объявлений и четверостиший, на фоне тошнотворного воспоминания о тайно выкуренных сигаретах, купленных поштучно в магазине канцелярских товаров у греческой богини, подметавшей прилавок излишне пышным бюстом и останавливавшей на покупателе пустые, как у статуи, зрачки. Там же, в темном уголке,

1. Покровительница девственниц.
2. Городу и миру (*лат.*) — этими словами начинаются послания папы римского.
3. Вознесем сердца (*лат.*) и Благодарение Богу (*лат.*).

худенькая женщина с видом подчиненной поднимала петли на чулках, о чем с витрины вещало сделанное по трафарету объявление (“Подъем Петель, Быстро и Качественно”), похожее на таблички на решетках Зоологического сада с латинскими названиями животных. Настойчивый запах карандашей фирмы “Виарку” мешался в лавке с запахом сырости; и дамы весьма округлых форм, возвращаясь с рынка с покупками в газетных кульках, заходили пожаловаться отчаянным шепотом греческим сискам на свои семейные неурядицы, вызванные маникюршами-извращенками и француженками из кабаре, которые соблазняли их мужей тем, что складывались вчетверо под возбуждающую мелодию “Полуночного вальса”, профессионально оголяя ляжки.

Негр, мастурбирующий во дворе, начал в назидание санитарам корчиться в беспорядочных оргиастических конвульсиях, выставив шланг наружу. L'arroseur arrosé[1]. Неутомимая Шарлотта Бронте опять принялась за свое:

— Слушайте, вы, бездельник! Знаете, кто хозяйка этого всего?

И после паузы, рассчитанной на то, что врача успеет крепко взять за горло ужас, как школьника, застуканного на том, что он чего-то не знает, по-хозяйски шлепнула себя ладонью по животу:

— Я.

Глаза, презрительно оглядывающие доктора из-под полуопущенных век, вдруг брызнули лучами длиной с двадцатисантиметровую линейку:

— Не знаю, уволю я вас или назначу директором. Соответственно.

— Соответственно?

— Соответственно решению моего мужа, укротителя бронзовых львов Себаштьяна ди Мелу маркиза ди Помбал[2]. Мы торгуем дрессированными зверями для статуй, каменными бородатыми пенсионерами для фонтанов, неизвестными солдатами с доставкой на дом.

Он перестал ее слушать: тело его все еще изображало любезный вопросительный знак — этакое воплощенное внимание

1. Политый поливальщик (*франц.*). Название одного из первых фильмов братьев Люмьер. Стало поговоркой со значением: не рой другому яму, сам в нее попадешь.
2. Себаштьян Жозе Помбал, полное имя Себаштьян Жозе ди Карвалью-и-Мелу, граф ди Оэйраш, маркиз ди Помбал (1699–1782) — влиятельный португальский политик эпохи Просвещения, один из самых ярких представителей “просвещенного абсолютизма”. Статуя маркиза со львом, сидящим у его левой ноги, украшает площадь маркиза Помбала в Лиссабоне.

мелкого чиновника, внемлющего начальству, лоб, где все бугорки и ложбинки лица столпились, как прохожие вокруг извивающегося на мостовой эпилептика, морщился, демонстрируя асептический профессиональный интерес, шариковая ручка ожидала идиотского приказа о начертании окончательного диагноза, но на подмостках мозга сменяли друг друга смутные головокружительные сцены затянувшегося до поздних утренних часов сна, с которым тщетно борются вкус зубной пасты на языке и фальшивая рекламная свежесть лосьона после бритья, безошибочные признаки того, что ты уже инстинктивно барахтаешься в повседневной реальности, где нет места прихотливым кульбитам: осенявшие его воображаемые планы Зорро вечно, не начав воплощаться, растворялись во внутреннем меланхолическом Пиноккио, отразившись в нарисованной улыбке поверх его настоящих, сложенных в смиренную гримасу губ. Портье, каждый день будивший его настойчивым звоном колокольчика, представлялся ему сенбернаром с бочонком на ошейнике, спасающим его in extremis[1] из-под снежной лавины кошмара. Вода из душа, стекая по плечам, смывала с кожи тоскливую испарину отчаяния.

Уже пять месяцев, с тех пор как расстался с женой, врач жил один в апарт-отеле, где вся обстановка номера состояла из матраса и немого будильника, с самого своего рождения непрерывно показывавшего семь часов вечера, и этот врожденный порок радовал доктора, он терпеть не мог часов, в металлическом чреве которых бьется пораженная тахикардическим синдромом пружинка беспокойного сердца. Балкон номера торчал прямо над Атлантическим океаном поверх казино, где кишмя кишели пожилые американки, уставшие фотографировать королевские надгробья в стиле барокко и выставлявшие напоказ с вызывающей содроганье отвагой квакерш-ренегаток свои веснушчатые тощие скелеты в декольте.

Растянувшись на простынях, психиатр чувствовал, как через открытые окна к ногам подступает морская тьма, отличная от земной тьмы своим вечным ритмическим нервным движением. Заводы Баррейру смешивали с лиловым светом утренней зари мускулистый дым своих далеких труб. Чайки, мечущиеся без руля и ветрил, ошалело натыкались то на воробьев в листве платанов, то на керамических ласточек на фасадах домов. Бутылка самогона светилась в пустой кухне, как лампада, зажженная в знак обета достичь циррозного

1. В последний момент, перед самой смертью (*лат.*).

блаженства. Расшвыряв белье по полу, врач постепенно постигал, что одиночество на вкус — алкоголь, который хлещешь из горла без друзей, присев на край кухонной раковины. И в конце концов, хлопком загоняя пробку на место, приходил к выводу, что стал похож на верблюда, пополняющего запасы влаги в горбу перед дальним походом по дюнам, которых век бы ему не видать.

В такие минуты, когда жизнь казалась никчемной и хрупкой, как расставленные престарелыми тетушками по гостиным, пропахшим смесью кошачьей мочи с укрепляющей микстурой, безделушки, по которым легко восстанавливается семейное прошлое во всей его мизерной монументальности, подобно тому, как Кювье[1] восстанавливал устрашающих динозавров по крошечному осколку фаланги пальца, воспоминание о дочерях возвращалось и возвращалось надоедливым припевом, от которого никак не избавишься, словно от прилипшего к пальцу пластыря, и во внутренностях начиналась такая революция, что единственным выходом для отчаяния оставался самый экстравагантный: в виде газов. Дочери и стыд за то, что сбежал из дома ночью, собрал чемодан и тихо спустился по лестнице, с каждой ступенькой все острее осознавая, что покидает нечто большее, чем женщину, двоих детей и сложную паутину беспокойных, но приятных и с таким терпением взращиваемых чувств. В наше время развод заменил обряд инициации, стал чем-то вроде первого причастия; уверенность в том, что завтра он проснется без привычных поджаренных тостов на двоих на завтрак (тебе мякиш, мне — корочку), уже в подъезде привела его в ужас. Горестный взгляд жены спускался за ним по пятам: они отдалялись друг от друга так же, как когда-то сближались тринадцать лет назад обычным пляжным летом, в августе, полном смутных стремлений и отчаянных поцелуев в горячей вихрящейся приливной волне. Тело ее даже после родов оставалось легким и юным, а лицо сохранило в неприкосновенности непорочность скул и совершенной формы нос непобедимой отроковицы: рядом с этой стройной красотой в духе раскрашенного Джакометти заметнее было, насколько он неуклюж и нелеп в своей начавшей увядать, вступившей в пору неприветливой осени оболочке. Порой ему казалось несправедливым прикасаться к ней, как будто его пальцы могли причинить ей ничем не оправданные страда-

1. Жорж Леопольд Кювье (1769–1832) — французский естествоиспытатель, натуралист. Считается основателем сравнительной анатомии и палеонтологии.

ния. И он утыкался лицом ей в колени, задыхаясь от любви, бормоча нежные слова на каком-то выдуманном наречии.

* * *

Когда же я спекся? — спросил себя психиатр, в то время как Шарлотта Бронте все так же бесстрастно длила свой монументальный кэрролловский монолог. Как некоторые, затрудняясь с ответом, машинально шарят в кармане в поисках шпаргалки, он мысленно запустил руку глубоко в ящик, в бездонный ящик старьевщика, полный сюрпризов, где хранится детство, тема, на которую впоследствии жизнь его создала столько тусклых монотонных вариаций, и вытащил наудачу четко обрисовавшуюся в ракушке-горсти картинку: он сам на горшке перед зеркалом гардероба, где множатся, теснясь и сплетаясь, как мягкие лианы, рукава отцовских пиджаков из ткани "Принц Уэльский", висящих в профиль, будто изображения людей на египетских фресках. Светловолосый карапуз, то тужащийся, то приглядывающийся ко всему вокруг, подумал врач, бросая мимолетный взгляд на возвращенные года, — вполне приемлемое краткое содержание предыдущих серий: его часто оставляли часами сидеть на эмалированной посудине отнюдь не севрского фарфора, где струйка мочи застенчиво позвякивала перебором арфовых струн, сидеть и разговаривать с самим собой от силы четырьмя-пятью односложными словами вперемешку со звукоподражательными междометиями и гримасами одинокого обезьяненка, в то время как этажом ниже плотоядно втягивал в себя муравьедским хоботом съедобную бахрому ковра пылесос под управлением жены дворецкого, на лице которой царила тоскливая желчекаменная осень. Когда же я спекся? — спросил врач малыша, пока и он, и его косноязычный лепет, и зеркало медленно таяли в памяти, уступая место застенчивому подростку с пальцами в чернильных пятнах, занявшему самую удобную позицию на углу для наблюдения за равнодушно и весело пролетающей мимо стайкой школьниц, чьи мелькающие щиколотки наполняли его неясными, но горячими желаниями, которые он в одиночестве заливал в соседней кондитерской чаем из лимонной цедры, исписывая тетрадку вымученными сонетами в духе Бокажа[1], неизменно осуждаемыми за аморальность его благочестивыми тетушками. Между этими двумя стадиями формирования личинки располагались, как в га-

1. Мануэл Мария Барбоза ду Бокаж (или Бокажи) (1766—1805) — португальский поэт, предвестник романтизма. Автор множества сонетов.

лерее гипсовых бюстов, воскресные утра в безлюдных, увешанных портретами уродливых мужчин музеях с вонючими плевательницами, где кашель и голоса отдавались эхом, как в пустом гараже ночью, дождливые летние месяцы с озерами термальных вод, окутанными фантастическим туманом, сквозь который с трудом прорастали силуэты израненных эвкалиптов, но особенно помнились арии из опер, которые он слушал по радио, лежа в своей детской кроватке, дуэты-ссоры на высоких тонах между сопрано, мощным, как голос зазывающей покупателей торговки, и куда более слабым тенором, который, будучи не в силах одолеть противницу в честном поединке, в конце концов предательски душил ее скользящим узлом бесконечного грудного *до*, заставляя страх темноты разрастаться до масштабов Красной Шапочки, заштрихованной карандашом виолончелей. Взрослые в то время обладали непререкаемым авторитетом, подкрепленным сигарами и недугами; перетасовываясь, как дамы и валеты в жутковатой колоде, они находили свои места за столом по коробочкам с лекарствами, расставленным возле тарелок; отделенный от них хитрым политическим маневром, заключавшимся в том, что они его купали, а он никогда не видел их голыми, будущий психиатр довольствовался ролью чуть ли не статиста, сидя на полу среди кубиков — жалкого, достойного лишь вассалов развлечения — и мечтая о благословенном гриппе, который бы заставил этих титанов отвлечься от газет, обратить внимание на него и начать усердно ставить ему термометр и не менее усердно делать инъекции. Отец, о появлении которого заранее возвещал запах бриллиантина и трубочного табака, — комбинация, долгие годы казавшаяся врачу магическим символом уверенной мужественности, — входил в комнату с иглой наизготовку и, охладив ему ягодицу, как помазком для бритья, мокрой ваткой, вводил в тело что-то вроде влажной боли, превращавшейся, затвердевая, в колючий камушек; в награду за терпение он получал пустые пузырьки от пенициллина, со дна которых поднимался едва заметный лечебный запах, как с запертых чердаков просачивается сквозь дверные щели плесневый аромат умершего прошлого.

Но он, он, ОН, когда себя профукал? Врач быстро пролистал детство, начиная с далекого сентября, вырвавшего его щипцами из аквариумной безмятежности матки, как выдирают здоровый зуб из уютного покоя десны, задержался на долгих месяцах в Бейре, иллюстрированных бабушкиным халатом в цветочек, сумерками на балконе, висящем над горами, откуда слышен отблеск монотонного горячечного пения медведок,

полями на склонах, где линии железных дорог пролегли, как выступающие вены на тыльной стороне кисти, пропустил скучные страницы без диалогов, где речь шла о кончине пожилых родственниц, согбенных ревматизмом до состояния подковы, так что седые космы касались подагрически шишковатых коленей, и едва вооружился психоаналитической лупой, чтобы рассмотреть превратности своей сексуальной премьеры между бутылью марганцовки и сомнительным матрасом, хранившим возле самой подушки не остывший еще след йети, оставленный подошвой предыдущего клиента, премьеры слишком торопливой, чтобы не обращать внимания на столь незначительную деталь, как ботинки, или достаточно стыдливой, чтобы остаться в носках, восходя на этот алтарь гонорреи с повременной оплатой, когда Шарлотта Бронте вернула его к утренней больничной реальности, тряся обеими руками за лацканы пиджака и одновременно вплетая свободолюбивую шерстяную нить Марсельезы в местный трикотаж двенадцатисложного фаду ловкими спицами неожиданного контральто. В глубине ее зева, круглого, как кольцо для салфетки, дрожала трепетная слеза увулы, раскачиваясь маятником в ритме воплей, веки над пронзительными зрачками походили на театральный занавес, зачем-то наполовину опущенный в самом разгаре представления по мудро-ироничной пьесе Брехта. Найлоновые канаты затылочных сухожилий проступили от напряжения сквозь кожу, и врач подумал, что вот так бы Феллини внезапно вторгся в одну из разбитых параличом дивных драм Чехова, в которых газообразные чайки изнуряют зрителя невысказанным страданием, просвечивающим сквозь дрожащий огонек улыбки, и что санитарки за дверью, должно быть, уже всполошились, воображая его удушенным черной кружевной подвязкой. Шарлотта Бронте, духовно насытившись, вновь воздвиглась на трон, как маркиза, вернувшаяся motu proprio[1] в непреклонно гордое изгнание.

— Отвратительнейший сраный козел, — равнодушно проговорила она тем рассеянным тоном, каким разговаривают с подружками пожилые дамы, одновременно считая провязанные петли.

Психиатр поспешил воспользоваться благоприятной диспозицией, чтобы улизнуть в траншею процедурной. Медсестра, которую он уважал и чья спокойная дружба не раз помогала сдерживать разрушительные порывы его штормового

1. По собственной воле (*лат.*).

гнева, мирно занималась приготовлением обеденной порции лекарств, раскладывая таблетки, похожие на детское драже в расставленные на подносе пластмассовые стаканчики.

— Деолинда, — сообщил он ей, — я дошел до ручки.

Она подняла лицо, шевельнула губами, сложенными клювиком добродушной черепахи:

— Еще не надоело катиться вниз?

Врач воздел манжеты к облезлой штукатурке потолка в патетически библейской мольбе, надеясь, что нарочитая театральность хоть отчасти замаскирует истинные масштабы бедствия:

— Перед вами (внимание на меня!), к вашему счастью и к моей печали, величайший спелеолог депрессии: восемь тысяч метров океански глубокой грусти, чернота желеобразной воды, где отсутствует всякая живность, за исключением одного-двух отвратительных подлунных монстров с антеннами на макушке, и все это без батискафа, без скафандра, без кислорода, что очевидно указывает на то, что я агонизирую.

— Почему бы вам не вернуться домой? — спросила сестра, привыкшая трезво глядеть на вещи и несокрушимо уверенная в том, что, даже не будь прямая кратчайшим расстоянием между двумя точками, все равно следовало бы рекомендовать ее в качестве лучшего средства делабиринтизации слишком извилистых душ.

Психиатр поднял телефонную трубку и попросил соединить с больницей, где работал один из его друзей: пора хвататься за любую соломинку, решил он.

— Потому что не умею, потому что не могу, потому что не хочу, потому что ключ потерял, — объявил он медсестре, которая прекрасно понимала, что он лжет.

Я вру, и она знает, что я вру, и я знаю, что она знает, что я вру, и принимает мое вранье без злобы и сарказма, убедился врач. Время от времени, хотя и очень редко, нам выпадает счастье набрести на такого человека, которому мы нравимся не вопреки нашим недостаткам, а вместе с ними, такие любят нас одновременно безжалостной и братской любовью, чистой, как хрустальная скала, как майская заря, как красный цвет Веласкеса.

— Слушайте, — сказал врач, прикрывая трубку рукавом, — вы даже не представляете, насколько я вам благодарен за то, что вы есть.

В этот момент голос друга добрался наконец до этого конца провода и произнес осторожно:

— Да-да. (Врач тут же вообразил тоненький пинцет, трепетно удерживающий что-то хрупкое и драгоценное).

— Это я, — ответил он поспешно, подозревая, что вот-вот расчувствуется. — Я дошел до ручки, до такой, что дальше некуда, и было бы неплохо, если б ты мне помог.

По молчанию в трубке он догадался, что друг мысленно прокручивает расписание на сегодня:

— Могу отменить одну встречу во время обеда, — объявил он наконец, — пойдем в какую-нибудь забегаловку, куда ты обычно ходишь, там за гамбургером и облегчишь душу.

— В час в Галереях, — решил психиатр, глядя вслед сестре, выходящей из процедурной с подносом, на котором в пластиковых стаканчиках подрагивали красные, желтые и голубые пилюли. — И спасибо тебе.

— В час, — подтвердил друг.

Врач поспешил повесить трубку, чтобы не слышать коротких гудков, бесполезного мучительного звука, напоминающего ему о горьких ссорах, полных раздражения и ревности. Он поправлял галстук, который сдвинула Шарлотта Бронте, ища биссектрису угла, образованного краями воротника, когда Наполеон с искусственной челюстью, щелкая сотнями коренных зубов, явилась сообщить ему, что его ждут в неотложке. Из ванной, что напротив, выскочила полуголая девица в обнимку со связкой рваных газет.

— Надо построже с Нелией, — заметила корсиканец со вставной челюстью. — Это уже ни в какие ворота. Только что она заявила, что спит и видит, как моя кровь растекается по коридорам отделения.

— У нее и так на ягодицах от уколов живого места нет, — возразил врач. — Что я еще могу с ней поделать? Да и вообще, пролить кровь — это так романтично. Кончина а-ля Цезарь — чего еще желать?

И добавил доверительным шепотом:

— Ну как вам, старшая сестра, идея о насильственной смерти? Глядишь, отделение в вашу честь назовут: в конце концов, Мигела Бомбарду[1] ведь застрелили.

Нелия издали показала им самый непристойный жест из небогатого арсенала выпускницы школы при женском монастыре; несколько газет выпали у нее из рук и шлепнулись на пол рядом с санитаркой, натиравшей полы с помощью даль-

1. Мигел Бомбарда — португальский врач, ученый и политик-республиканец. В 1910 г. был застрелен в своем кабинете душевнобольным пациентом. Больница, в которой работал автор, носит имя Мигела Бомбарды.

него родственника газонокосилки, каковой родственник жадно и радостно урча, заглотнул, как удав, новости, кашлянул пару раз, взрыднул и замер у стены в картинной агонии киношного кинг-конга. Наполеон зашаркала к аппарату, как мамаша к больному ребенку: врач решил, что в отчаянии она примется делать ему искусственное дыхание изо рта в дырку, и отвернулся, не желая лицезреть сей отвратительный акт противоестественной любви.

— А что, хорош ли робот-полотер в постели? — спросил он медсестру, возвращавшуюся уже без дрожащего очарования драже, с пустым подносом в руках.

— Чем больше узнаешь мужчин, тем больше ценишь бытовую технику, — ответила она. — Я живу в браке с двухкомфорочной плитой, и мы счастливы. Жаль только, что у газового баллона легкие из стали.

— И что же, спрашивается, мы, психи, потеряли в этой психушке? — упорствовал врач. — Почему мы всё еще околачиваемся здесь, ведь нас пока еще каждый день выпускают на волю, при этом еженедельно в Австралию отправляется корабль, и существуют такие бумеранги, которые не возращаются туда, откуда их запустили?

— Я слишком стара, а вы слишком молоды, — объяснила медсестра. — А бумеранги в конце концов всё же возвращаются, хотя бы даже ночью, на цыпочках, виновато насвистывая.

Вернуться, прикинул психиатр и повторил это слово неторопливо, как крестьянин, сворачивающий задумчивую самокрутку на закате посреди пшеничного поля, вернуться, открыть дверь с литературной простотой "Трогательного чуда"[1] и сообщить, улыбаясь: "Я тут"? Вернуться, как дядюшка из Америки, как сын из Бразилии, как чудесно исцеленный из Фатимы, победоносно закинув костыли на плечо и неся на себе отблеск видения небесной хиромантки, ловко демонстрирующей библейские трюки на импровизированной сцене под каменным дубом[2]. Вернуться, как сам он вернулся несколько лет назад с войны в Африке в шесть утра, для того чтобы украсть у судьбы счастливый месяц под крышей

1. Рассказ Эсы де Кейроша о том, как Христос, которого мечтал увидеть больной ребенок, пришел к нему домой.
2. Фа́тимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фа́тима. По уверениям трех детей-пастушков им на поляне под каменным дубом многократно являлась Дева Мария и передавала им сообщения с призывами религиозного характера и пророчества. В настоящее время в Фатиме выстроен храм и святилище, куда совершает поломничество множество верующих и приезжают массы туристов.

мансарды и для того чтобы убеждаться от улицы к улице, что, пока его не было, все осталось прежним: черно-белая страна, выбеленные стены, вдовы в черном, статуи цареубийц, вздымающие карбонарские кулаки к небу на площадях, равнозаселенных пенсионерами и голубями, одинаково позабывшими радость полета. Ощущение, что он потерял ключ, хотя тот так и лежал в бардачке между засаленными бумажками и склянками со снотворным, вызвало у него приступ безнадежного, тоскливого, абсолютного одиночества, прежде незнакомого чувства, сковывающего движения, не дающего набрать номер, напечатанный против его имени в телефонной книге и попросить спасения у женщины, которую он любил и которая любила его. Собственная беспомощность жестокой болью ударила ему в глаза, застлав их кислым туманом, который невозможно ни прогнать, ни подавить, как отрыжку. Пальцы медсестры легко коснулись его локтя:

— Кто знает, может быть и есть такие бумеранги, которые не возвращаются. И при этом как-то умудряются выживать.

И психиатру показалось, что его только что соборовали.

* * *

Спускаясь по лестнице в отделение неотложной помощи, он издали заметил рядом с тонущим в вечном полумраке, будто ризница, и пропахшим лаком для ногтей кабинетом социальных работников — печальных уродливых созданий, которым и самим-то неплохо было бы получить социальную помощь, — группу распространителей медицинских товаров, занявших стратегические позиции в ближайших дверных проемах и готовых в любую секунду разразиться бурным словесным потоком, порой способным привести к летальному исходу оказавшихся в зоне поражения неосторожных эскулапов, невинных жертв их навязчивого обаяния. Психиатр считал, что агентов по распространению аптечных товаров и торговцев автомобилями объединяет одна родственная черта: слишком изысканное и нарядное красноречие; вторые, вероятно, приходились братьями-бастардами первым, отделившись от основной фамильной ветви в результате какого-то темного несчастного случая с хромосомой и перейдя из семейства фар и поворотников в семейство мазей от ревматизма, но не утратив при этом неутомимой усердной суетливости, свойственной им изначально. Его поражал артистизм этих существ, способных любого вогнать в долги, этих сверхлюбезных непотопляемых неваляшек, обладателей толстых портфелей, хранящих в своих глубинах секрет превращения рахитичных горбунов в атлетов-чемпионов, искусст-

во, с которым они всей толпой воздавали ему почести, не уступающие поклонению волхвов, осыпая дарами в виде пластиковых календариков с рекламой противосифилитических презервативов "Дональд" — врагов номер один демографического взрыва, нежных на ощупь и покрытых на кончике тонкими возбуждающими ворсинками, поднося картонные наборы шахмат, ненавязчиво восхваляющие чуть ли не в каждом доме достоинства микстуры "Эйнштейн" для поддержания и восстановления памяти (три вкуса: клубника, ананас и бифштекс), шипучие таблетки от диареи, вызывающие страшную изжогу, так что страдающих кишечными расстройствами начинала волновать также и тема желудка, маневр, направленный на обогащение продавцов минеральной воды из Педраш-Салгадаш, которую предписывалось пить в кондитерской у стойки мелкими терапевтическими глотками. Врачи, вырвавшись из цепких объятий агентов, покачивались под тяжестью брошюр и образцов товара, очумев от частокола химических формул, противопоказаний и побочных эффектов, некоторые, не пройдя тридцати-сорока метров, падали замертво, с последним вздохом изрыгая сотни пилюль. Дворник равнодушно сметал измятые врачебные трупы в братскую могилу мусорного ведра, напевая под нос мрачную арию могильщика.

Под прикрытием двух полицейских, сопровождавших гордого старца, похожего на помощника нотариуса, замотанного в брезент смирительной рубахи, врач невредимым миновал грозную стаю рекламных агентов, соблазнявших его, словно хор сирен, одинаковыми улыбками, растягивая губы, как мехи аккордеона, меж угодливых щек: как-нибудь таким же утром они утопят меня во флаконе антибиотика "Амигдал", сохранят, точно так же как мой отец непонятно зачем хранил на стеллаже заспиртованную сколопендру, и продадут медицинскому факультету, сморщенного, как жертва выкидыша, чтобы меня выставили в качестве экспоната коллекции монстров в Институте анатомии — этакой ученой лавки мясника с интерьером Замка-призрака, где скелеты, вися на вертикальных металлических стержнях, будто увядшие цветы, занавешивают свое уныние клочьями седых волос, кое-где свисающих с черепушек, уставившись друг на друга пустыми глазницами отставных вояк.

Под прикрытием свиты помощника нотариуса с трепещущими от горделивой застенчивости усами психиатр миновал невредимым и своего знакомого госпитализированного алкоголика, который каждое утро упорно стремился поведать ему во всех подробностях историю бесконечных супруже-

ских дискуссий, подкрепляемых аргументами в виде летающих кастрюль и сковородок (“Слышь, дохтур, я этой, бля, по вшивой башке как дал леща, так она аж восемь дней юшкой харкала”), и худенькую конторскую даму, живущую в страхе перед спермой своего мужа и обычно проявлявшую жадный интерес к сравнительной эффективности двухсот двадцати семи различных контрацептивов, и больного с окладистой бородой, озерного водяного, который питал к врачу восторженную привязанность и выражал ее громогласными панегириками, держась на почтительном расстоянии исключительно благодаря санитарам, ответственным за использование смирительных рубах, дышавшим друг другу в волосатые уши чесночным перегаром. Он прошел мимо кабинета зубодера — опустошителя десен, с воем сражавшегося против особо упорного коренного, и решил уже, что каким-то чудом добрался невредимым до неотложки, матовая стеклянная дверь которой казалась ему флагом, маячившим на финише велогонки, когда чей-то зловредный палец властно ткнул его между лопаток, этих выступающих треугольных костей, которые своей формой свидетельствовали о его ангельском прошлом, хоть он и прятал их под тканью пиджака, стесняясь своего божественного происхождения, подобно тому, как аристократы громко рыгают под конец обеда, делая тем самым благородную уступку миру, живущему по законам джунглей.

— Друг мой, — воскликнул голос за спиной, — что там насчет коммунистического заговора?

Полицейские, перемещавшие помощника нотариуса с той же осторожностью, с какой грузчики несли бы взбесившееся пианино, постоянно играющее изуродованную фальшивыми нотами сонатину бреда величия, поравнявшись с дверью архива, — обиталища близорукой дамы в очках толщиной с пресс-папье, за которыми ее глаза казались настолько огромными, что походили на косматых гигантских насекомых с торчащими во все стороны лапками-ресницами, — предательски бросили врача на произвол низкорослого коллеги, дрейфовавшего в озере обширного шевиотового пальто и увенчанного тирольской шляпой, сидящей на голове, как пробка в горлышке бутылки, готовая вот-вот выскочить под напором неостановимого пенного потока идей. Коллега высунул из волн шевиота руку-крюк, которая, вместо того чтобы взмахами позвать на помощь, повисла, уцепившись за галстук психиатра, как утопающий хватается по ошибке за синюю в белую крапинку морскую змею, тут же развязывающуюся с мягкой инерцией шнурка. Нынче все будто сговорились, подумал психиатр, лишить его последнего подарка, вы-

бирая который жена мечтала уменьшить его сходство с деревенским женихом, застывшим навытяжку для праздничного портрета на фоне ярмарки: он с отрочества носил на своем асимметричном лице фальшивую и грустную печать сходства с покойными родичами из семейных фотоальбомов со стертыми йодом времени улыбками. Любимая, сказал он про себя, трогая галстук, знаю, это слабое утешение, знаю, что не поможет, но из нас двоих именно я оказался неспособен к борьбе; и ему вспомнились долгие ночи на мятом простынном берегу, когда его язык неторопливо очерчивал контуры сосков, освещенных сеткой свечек ранней зари, вспомнился поэт Робер Деснос[1], который, умирая от тифа в немецком лагере для военнопленных, сказал: это мое самое утреннее утро, вспомнился голос Джона Кейджа[2], повторяющий “Every something is an echo of nothing”[3] и как ее тело открывалось створками ракушки, чтобы принять его, трепеща, подобно вершинам сосен, овеваемых тихим незримым ветром. Перо на тирольской шляпе коллеги-коротышки металось, как стрелка счетчика Гейгера, оказавшегося над месторождением руды, пока он тащил психиатра в уголок, как больного краба, пойманного цепкой и прочной сетью. Конечности коллеги пребывали под пальто в беспорядочном броуновском движении, как мухи под ворвавшимися в погреб лучами солнца, рукава множились в судорожных жестах охваченного вдохновением проповедника:

— Они наступают, а? Коммунисты-то?

На прошлой неделе врач видел, как коллега ползал на четвереньках в поисках микрофонов КГБ, спрятанных под письменным столом, чтобы передавать прямиком в Москву наиважнейшую информацию о поставленных им диагнозах.

— Наступают, уверяю вас, — блеял коллега, приплясывая от возбуждения. — И вся эта шушера: армия, народец наш благословенный, церковь — ни бе ни ме ни кукареку, сплошная паника, коллаборационизм и соглашательство. Но со мной этот номер не пройдет (и моя жена знает!): если кто ко мне в дом сунется, получит жакан между глаз. Оп-ля-ля! Видели в

1. Робер Деснос (1900—1945) — французский поэт, писатель и журналист.
2. Джон Милтон Кейдж (1912—1992) — американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник. Пионер в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов, Кейдж был одной из ведущих фигур послевоенного авангарда. Критики называли его одним из самых влиятельных американских композиторов XX столетия.
3. “Каждое нечто — это отклик на ничто” (*англ.*). Цитата из книги Джона Кейджа “Тишина”.

коридоре плакаты с портретами Маркса, этакого Катитиньи[1] от экономики, трясущего над нами своей бородищей?

И подойдя еще ближе, шепотом:

— Я замечаю, вы с ними как-то имеете дело, и, хоть не вступаете в шайку, по крайней мере в случае чего вам есть на что сослаться. И правильно делаете: ваш отец — профессор университета. Так вот скажите, вы бы сели обедать за один стол с плотником?

В моем детстве, подумал психиатр, люди делились на три строго разграниченные категории: во-первых, горничные, садовники и шоферы, которые обедали на кухне и почтительно вставали, когда проходишь мимо, во-вторых, портнихи, няньки и сиделки, имевшие право на отдельный столик и некоторые знаки уважения в виде бумажных салфеток, и, наконец, Семья, располагавшаяся в столовой и по-христиански радевшая о своих "крепостных" (о персонале, как их называла бабушка), отдавая им ношеную одежду и рассеянно интересуясь здоровьем детей. Была еще и четвертая категория — "протеже", объединявшая парикмахерш, маникюрш, машинисток и сержантских падчериц, обхаживавших мужчин племени, плетя вокруг них греховную паутину магнетических взглядов исподтишка. "Протеже" не выходили замуж, они "расписывались", не ходили к мессе, не были озабочены грандиозной проблемой посвящения России пренепорочному сердцу Богоматери[2]: они прожигали свои демонические жизни, предаваясь плохо понятным мне наслаждениям на третьем этаже без лифта, откуда мои дядюшки возвращались украдкой, радуясь вновь обретенной молодости, в то время как женщины клана в церкви подходили к причастию, зажмурившись и высунув язык — хамелеоны, готовые проглотить москита гостии в приступе мистического обжорства. Иногда во время обеда, если психиатр, в то время мальчишка, жевал с открытым ртом или ставил локти на скатерть, дедушка, нацеливая на него указующий перст, замогильным голосом пророчествовал:

1. Антониу Жоакин Феррейра (1880–1969), по прозвищу Катитинья, в 50–60 гг. прошлого века появлялся везде, где были дети, чаще всего — летом на пляжах. Он рассказывал ребятишкам интересные истории, играл с ними, но прежде всего следил, чтобы они не утонули, не заблудились. Дочь Катитиньи умерла в детстве, и с тех пор он отдавал всю свою любовь и нежность чужим детям. Когда-то он был юристом, получил прекрасное образование и воспитание, но последние годы решил посвятить детям. Он стал почти легендарной фигурой. Носил окладистую бороду и пышную шевелюру, был совершенно седым, чем напоминал рождественского деда и Карла Маркса.
2. Речь идет об одной из трех тайн, которую, как утверждают католики, поведала Богоматерь, явившись троим пастушкам в Фатиме в 1917 г.

— Ты кончишь тем, что окажешься в лапах кухарки, как индюк.

И наступавшее вслед за тем грозное молчание рельефной печатью скрепляло неизбежность катастрофы.

— Ответьте, — требовал коллега. — Вы можете представить себя за одним столом с плотником?

Врач обернулся к нему с тем же усилием, с каким наводят на резкость расфокусировавшийся микроскоп: с высоты пирамиды предубеждений сорок поколений буржуа взирали на него.

— Почему бы и нет? — ответил он, бросая вызов кавалерам с острой бородкой и дамам с округлым, словно выточенным на токарном станке бюстом, которые путем усердного скрещивания между собой с образованием сложных переплетений, путаясь в подтяжках и травмируясь о китовый ус корсетов, чуть ли не столетие героически исполняли супружеский долг и в результате умудрились произвести на свет потомка, способного на бунт столь же немыслимый, как если бы вставная челюсть выскочила из стакана, в котором по ночам щерится белозубой улыбкой, и искусала собственного хозяина.

Коллега отпрянул, как будто перед ним взорвалась петарда:

— Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вы анархист, вы маргинал, вы агент восточного блока, вы одобряете передачу африканских территорий черномазым.

Да что этот тип знает про Африку, спросил себя психиатр, в то время как его собеседник, этакая пекарша из Алжубарроты[1], исполненная патриотизма в духе Португальского легиона[2], удалялся, возмущенно повизгивая и обещая приберечь для него особый фонарь на главном проспекте, что знает этот хрен о полувековой войне в Африке, ведь он на ней не умирал и не видел, как умирают другие, что знает этот кретин о местных начальниках-португальцах, которые засовывали лед из холодильника в задницу не угодившим их левой ноге неграм, что знает это ничтожество о мучительном выборе между изгнани-

1. Полулегендарная героиня сражения при Алжубарроте 14 августа 1385 г., в котором португальцы разгромили испанцев.
2. Португальский легион — военизированная организация, основанная в 1936 г., в период существования так называемого “Нового государства”, возглавляемого премьер-министром Антониу ди Оливейра Салазаром. Целями организации были провозглашены “защита духовного наследия” и “борьба с коммунистической угрозой и анархизмом”. Во время Второй мировой войны Португальский легион был единственной португальской государственной организацией, которая открыто принимала и поддерживала Гитлера.

ем и абсурдным идиотизмом бессмысленной стрельбы, что знает эта скотина о напалмовых бомбах, о беременных, избитых агентами Пиде[1], о минах, вырастающих под колесами грузовиков огненными грибами, о тоске по дому, о страхе, о гневе, об одиночестве, об отчаянии? Как всегда, когда он думал об Анголе, спутанный клубок воспоминаний стремительно, как сдерживаемые рыдания, поднялся у него от кишок к голове: рождение старшей дочери, первого золотого яблочка его семени, переданное по слогам радисту отряда, где он служил, долгие бдения в импровизированном лазарете над ранеными и умирающими, краткая передышка, когда, не чуя ног от усталости, идешь к двери, оставив ассистента накладывать швы, и внезапно — небесная ширь, полная незнакомых звезд, и слышишь, как внутренний голос твердит: это не моя страна, не моя страна, не моя страна; самолет, доставлявший каждую среду почту и свежую провизию, тонкое и бесконечно мудрое терпение лучази[2], малярийный пот, обматывавший поясницу лентами липкой влаги, жена, приехавшая из Лиссабона с немыслимо зеленоглазым младенцем, чтобы отправиться с ним в леса, ее почти мулатская — пальчики оближешь — улыбка на подушке. Волшебные названия: Киту-Куанавали, Земза-ду-Итомби, Наррикинья, Байша-ду-Кассанжи в высокой бахроме подсолнухов, под ярким, будто до костей обглоданным, утренним светом, и мбалунду[3], которых пинками гонят на плантации севера, Сан-Паулу-ди-Луанда[4], напоминающая лиссабонскую Ареейру, жмущуюся к бухте-ракушке. Что знает этот дурак об Африке, спросил себя психиатр, кроме идиотских, циничных и упертых аргументов Национального народного действия[5] или поучительных речей в стиле сапогами по мозгам Салазара, этой бабы без матки, замаскированной под мужчину, плода преступной связи двух каноников, как растолковала одна больная; что знаю я, проживший двадцать семь месяцев за колючей проволокой тоски, защищая интересы мультинациональных корпораций, я, чья жена едва не умерла от скоротечной тропической малярии, я, наблюдавший за медленным течением Донду, зачавший дочь в алмазоносном Маланжи, обошедший кругом голые холмы Дала-Самба, на вершинах которых пучками торчат пальмы из могил династии

1. Тайная полиция в период диктатуры Салазара.
2. Народ группы банту, проживающий на территории Анголы, Заира и Зимбабве.
3. Народ группы банту, входящий в группу народов овимбунду.
4. Прежнее название Луанды.
5. Партия, которую возглавлял Салазар.

Нзинга, я, как уехавший туда, так и вернувшийся в скорлупе военной формы, приросшей к телу, что я знаю об Африке?

Воспоминание о том, как жена ждала его в манговых зарослях Маримбы, полных уснувших до сумерек летучих мышей, пронзило его буквально физической болью, будто внутри что-то взорвалось. Я люблю тебя до того сильно, что разучиваюсь любить, я так люблю твое тело и то, что есть в тебе помимо тела, так люблю, что не понимаю, почему мы теряем друг друга, если я сталкиваюсь с тобой на каждом шагу, ведь всякий раз, когда я целовал тебя, я целовал не только плоть; если наш брак зачах от молодости, как другие — от старости, если без тебя мое одиночество набухает от твоего запаха, от широты твоих планов и от крутизны твоих ягодиц, если я задыхаюсь от нежности, о которой не в силах говорить, то здесь и сейчас, любимая, я прощаюсь с тобой и зову тебя, зная, что ты не придешь, и желаю, чтобы ты пришла не менее страстно, чем, как говорит Молеру[1], слепой ждет, когда наконец почта доставит ему давным-давно заказанные глаза.

* * *

В отделении неотложной помощи больные в пижамах, колыхаясь, дрейфовали на фоне окон, как обитатели морских пучин, еле двигаясь под тяжестью поглощаемых тоннами медикаментов. Старушка в ночной рубахе, похожая на поздние автопортреты Рембрандта, — хромая птица, теряющая на ветру остатки своих пенно-кружевных костей, зависла в десяти сантиметрах над скамейкой. Сонные алкоголики, превратившиеся под воздействием виноградной самогонки в драных серафимов, сталкивались друг с другом на лету. Каждый вечер полиция, пожарные или доведенные до белого каления родственники свозили сюда, как на свалку, тех, кто тщетно пытался застопорить шестеренки мира, разнося в щепки мебель в стиле королевы Анны, обнаруживая странных невидимых существ, притаившихся на стенах, угрожая соседям хлебным ножом или чуя неслышный посвист марсиан, явившихся оповестить остальные галактики о скором явлении антихриста и постепенно принимавших облик сотрудников родной конторы. Некоторые, впрочем, приходили самостоятельно, бледные с голодухи, и подставляли задницу для инъекций в обмен на ночлег. Этих постоянных клиентов охранник отсылал властным мановением руки а-ля памятник маршалу Салданье в парке Кампу-ди-Сантана, где де-

1. "Что говорит Молеру" — роман Диниша Машаду (1930–2008), португальского писателя и журналиста.

ревья туманными вечерами казались обнявшимися людьми. К нам сюда, думал психиатр, стекаются потоки бесконечной обездоленности, реки абсолютного одиночества, и мы ни за что не признаемся себе, что эти скорбные реки текут и в нас самих, что мы сами втайне испытываем те же постыдные чувства; обнаружив у других, мы зовем их безумием, хотя безумие это — наше собственное, и мы отгораживаемся от него, выдумывая ему наименования, сажая его за решетку, пичкая таблетками и каплями, отпуская домой на выходные, всячески направляя в русло "нормы" и тем самым чаще всего превращая его носителей в набитые соломой живые чучела. Те, кто говорит, рассуждал он, засунув руки в карманы и разглядывая самогонных серафимов, что у психиатров не все дома, даже не представляют, насколько правы: нигде, как в этой профессии, не встретишь столько субъектов со штопором вместо черепушки, пытающихся вылечить себя самих, навязывая уговорами или силой электросон и гипноз тем, кто приходит к ним в поисках себя, влача из кабинета в кабинет невыносимую печаль, как хромой волочит изуродованную ногу от костоправа к костоправу в надежде на чудо. Клеить диагнозы-ярлыки, слышать, не слушая, глядеть на реку с берега, не видя ни ее подводных течений, ни рыб, которые в ней водятся, ни той впадины в скале, где она зародилась, наблюдать водовороты и половодья, не замочив ног, рекомендовать таблетки по одной три раза в день после еды плюс одну пилюлю на ночь и гордиться своими подвигами, точно бойскаут. Что держит меня в этом зловещем клубе, размышлял он, что вынуждает ежедневно терзаться стыдом за беспомощность собственного протеста, за свой конформный нонконформизм и до какой степени убежденность в том, что переворот можно совершить, только находясь внутри системы, служит мне отговоркой, оправданием для новых и новых уступок? У него не было ясного ответа на эти вопросы, они рождали путаницу в голове и недовольство собой. Когда он впервые пришел сюда интерном и его повели показывать ветхое здание больницы (раньше он видел только двор да фасад), ему почудилось, будто он оказался в древнем захолустном особняке, населенном тенями персонажей Феллини: подпирая сочащиеся влагой липкие стены, слабоумные мастурбировали едва ли не голышом, покачиваясь и ухмыляясь ему жутью своих беззубых ртов; бритоголовые парни попрошайничали, валяясь на солнышке, или закуривали самокрутки, свернутые из потемневших от слюны обрывков газет; старики гнили на прелых матрасах, бессловесные, безумные, как дрожащие растения, бессмысленно длящие свое существование; имелась еще арена восьмого отделения, люди, закованные в цепи, могучие обезья-

ны, бормочущие бессвязные фразы, выглядывая из хлева, в котором спали. Вот и я, сказал себе врач, помогаю, не помогая, непрерывной работе мощного больного механизма охраны душевного здоровья, помогаю перемалывать в зародыше мельчайшие ростки свободы, неуклюже пробивающиеся в нас в виде беспокойного протеста, помогаю тем, что молчу, что получаю зарплату, что делаю карьеру: как сопротивляться изнутри, почти без поддержки, вялой, но непреклонной махине официальной психиатрии, изобретательнице жирной белой линии, отделяющей "нормальность" от "безумия" с помощью сложной и искусственной сети симптомов, как сопротивляться психиатрии — помешательству, психиатрии — грубому отчуждению, психиатрии — мести кастратов обладателям пениса, сопротивляться этому реальному оружию буржуазии, к которой принадлежишь по рождению и от которой так трудно, оказывается, отречься, так трудно выбрать (как я выбираю) между удобным консерватизмом и мучительным бунтом, который дорого мне обойдется, ведь, если я теперь окажусь без роду и племени, кто меня, подкидыша, усыновит? Партия предлагает мне взамен одной веры другую веру, взамен одной мифологии другую мифологию, и тут я всегда вспоминаю изречение матери Блондена[1] "Веры во мне нет, зато столько Надежды" и в последний момент я резко сворачиваю влево в жажде обрести братьев, которые могли бы за меня постоять и за которых я мог бы постоять ради них, ради себя и ради всего остального. И именно остальное, не называемое из целомудрия, и есть самое главное, что-то вроде пари, вроде одного шанса из тысячи, это как верить в Белоснежку и в то, что из-под шкафа вот-вот появятся гномы, чтобы убедить нас: это еще возможно. Возможно и здесь, и там, снаружи, ведь стены больницы расходятся концентрическими кругами, охватывая всю страну до самого моря, до причала с колоннами у площади Коммерции, до лижущих причал ручных волн того, что в Португалии зовется рекой[2], так умело впадающей в кроткую ярость, отражающей чистоту небес, порою замаранных жирными пятнами туч, стыдоба моя, сказал поэт[3], общая наша стыдоба моя.

1. Жан-Франсуа Гравеле-Блонден, или Шарль Блонден, или просто Блонден (1824–1897) — знаменитый французский канатоходец, неоднократно переходивший по канату Ниагару, в том числе с человеком на плечах.
2. Лиссабон расположен на берегу залива Мар-де-Палья, который одновременно считается широким устьем (эстуарием) реки Тежу.
3. Поэт — Алешандре О'Нейл (1924–1986). Цитируется его стихотворение "Португалия".

Концентрические стены, повторил он, лабиринт домов и улиц, спотыкающийся, бестолковый бег с крутизны женщины на высоких каблуках вниз к горизонтальному водному простору, стены до такой степени концентрические, что никогда не покинешь их по-настоящему, скорее пустишь шерстяные корни в ковер на полу квартирки в бель-этаже, изразцовый Крит, населенный попугаями в окнах и китайцами в галстуках, бюстами героических цареубийц, жирными голубями и кастрированными котами, где лиризм маскируется под канарейку в тростниковой клетке, заливающейся трелью доморощенных сонетов. Альманах Бертран[1] тут вместо Библии, самые почитаемые животные — хромированные бемби и кивающие головой фарфоровые собачки, похороны — цемент, скрепляющий семью.

Он опять пощупал галстук, проверил, не разошелся ли узел, пробормотал: мои самсоновы волосы из натурального шелка, и даже не улыбнулся. Когда-нибудь куплю себе хипповые бусы и набор индийских браслетов и создам собственный Катманду для личного пользования с Рабиндранатом Тагором и Джеком Керуаком, перекидывающимися в картишки с далай-ламой. Он сделал несколько шагов в сторону кабинетов и увидел в одном из них перед письменным столом помощника нотариуса в смирительной рубахе, объясняющего невидимому терапевту, что у него украли Млечный Путь. Полицейские, перегнувшись через перила своих портупей, прислушивались, как соседки-кумушки, которые глазеют, свесившись с балкона, на уличную сценку. Один из стражей порядка, вооружившись блокнотом и ручкой, старательно все записывал, по-детски прикусив язык от усердия. Тут старушка, левитировавшая над скамьей, суматошно вспорхнув изможденной куропаткой, налетела на врача; от нее несло застоявшейся мочой, одиночеством, заброшенностью и отсутствием мыла. Ох уж эти запахи нищеты, подумал врач, монотонные, трусливые и трагические запахи голода и нищеты. В процедурной, облокотившись на каталки, на ящики с перевязочным материалом, на стеклянные шкафы с лекарствами, медбратья и медсестры обсуждали перипетии последнего профсоюзного собрания, на котором брадобрей и двое шоферов обозвали друг друга соответственно сукиным сыном, педрилой и хреном моржовым. Один из медбратьев, со шприцем наизготовку, уже примеривался, чтобы сделать

1. Альманах Бертран ежегодно издавался сетью книжных магазинов "Ливрария Бертран" с 1899-го по 1969-й, в нем публиковлись календари, статьи, стихи, пословицы, анекдоты, карикатуры, загадки и логические задачи.

укол алкоголику, который с гримасой презрения на лице, придерживая штаны на уровне колен, терпеливо ожидал своей участи, как и подобает ветерану. Ясное, почти средиземноморское солнце окутывало золотым ореолом перила балкона, будто плавающие в аквариуме под мощнейшей лампой ирреальной весны.

– Доброе утро, дамы и господа, девочки и мальчики, почтеннейшая публика, – сказал психиатр. – Дошло до меня, что вы воззвали к чуткому слуху начальства, озаботившись, словно добрая мать, каковыми вы и являетесь, срочной надобностью в услугах могильщика. И вот я, скромный приказчик похоронного бюро "Совершенство" (гробы, урны, свечи), явился снять мерки. Будучи членом профсоюза и испытавая лютую ненависть к хозяевам, искренне надеюсь, что покойник воскрес и вышел вон, вознося хвалы блаженному иезуиту Алоизию Гонзаге[1].

Вооруженный шприцем медбрат, с которым психиатр, когда у них совпадало дежурство, имел обыкновение вместе закусывать пузатыми креветками, принесенными санитаром из пивной Мартина Мониша, вонзил свою терапевтическую бандерилью в тело пьяницы, дабы успокоить в нем брожение мирных на данный момент флюидов, готовых, однако, в любую минуту к неожиданному штормовому приливу, и провел с торжественностью епископа, совершающего миропомазание, ватой по ягодице клиента, как школьник, стирающий с классной доски решение слишком легкого для его акробатических способностей примера. Больной так резко дернул вверх веревку, служившую поясом, что порвал ее, и уставился на упавший на пол обрывок с изумлением астронавта, созерцающего лунную водоросль.

– Ну вот, испортил макаронину, теперь и пообедать нечем, – насмешливо прокомментировал медбрат, пряча доброту за сарказмом, слишком очевидным, чтобы быть истинным. Врач давно проникся уважением к этому парню, наблюдая, с какой отвагой тот доступными ему средствами борется с неумолимой концлагерной машиной больницы. Медбрат промыл шприц, несколько раз двинув поршень туда-сюда, положил его в стерилизатор, нагретый узким голубым газовым тюльпаном, и вытер руки рваным полотенцем, казненным через повешение на хирургическом зажиме. Он про-

1. Алоизий Гонзага (1568–1591) – святой Римско-католической церкви, монах из ордена иезуитов, умер, оказывая помощь больным во время эпидемии чумы в Риме.

делывал все это медленно и методично, как рыбак, для которого время не делится на часы, как линейка на сантиметры, а обладает непрерывной текстурой, придающей жизни неожиданную интенсивность и глубину. Он родился на побережье, в Алгарве, и в вечно голодном детстве его баюкали ветры, прилетавшие с мавританских берегов, он рос близ Албуфейры, где отлив оставляет на пляже запах сладкий, как дыхание диабетика. Забытый всеми алкоголик плелся к двери, шаркая растоптанными сандалиями.

— Анибал, — сказал психиатр медбрату, который исследовал карманы своего халата на предмет наличия спичек, подобно тому как пес роется в поисках места, где закопал сладкую косточку, — вы, когда звонили начальству, обещали, что, если я приду, получу чупа-чупс с малиновым вкусом. Это что ж за подстава, приятель? Ведь всем известно, что я уважаю только вкус мяты перечной.

Медбрат в конце концов нашел спички под стопкой циркулярных писем на белом столе, с которого краска облупилась и сыпалась, как перхоть.

— Там у нас старая история, — сказал медбрат, чиркая спичкой о коробок с непонятной яростью. — Святое семейство, желающее отыметь раком и в самой грубой форме младенца Христа. Одна коза-мамаша чего стоит! Поэму бы ей посвятил из хорошо размоченной розги. Так что крепче держитесь за поручни: вас дожидаются все трое в кабинете в конце коридора.

Врач стал рассматривать настенный календарь, окаменевший в каком-то далеком марте, когда он жил еще с женой и дочерьми, и каждая секунда была окрашена легким флером радости. Всякий раз, когда его звали в неотложку, он разочарованным пилигримом отправлялся в тот далекий март, безуспешно пытаясь возродить дни, о которых сохранилось воспоминание, как о тонкой суспензии или растворе счастья в однородном ощущении благополучия, позлащенном косыми лучами мертвой надежды. Обернувшись, он заметил, что медбрат тоже смотрит на календарь, на котором юная блондинка и неимоверно толстый негр в обнаженном виде вступают в некое сложное взаимодействие.

— Женщина или месяц? — спросил его психиатр.

— Женщина или месяц в каком смысле? — переспросил медбрат.

— Фары куда направил? — уточнил психиатр.

— Ни на то, ни на другое, — объяснил медбрат. — Я просто подумал, какого хрена мы здесь делаем. Серьезно. Может быть, когда-нибудь что-то изменится в лавочке, и можно бу-

дет глянуть на вещи незамыленным глазом. И портных не будут обязывать специальным декретом шить брюки пошире, чтобы никто не знал, у кого какие яйца.

И начал яростно перемывать уже помытые шприцы.

Чертов алгарвиец, подумал психиатр, ты точь-в-точь поэт-неореалист, уверенный, что изменишь мир написанными "в стол" стихами. А может, ты хитроумный селянин — знаток реки и всех ее проток, ожидающий сумерек, чтобы порыбачи́ть на свет керосиновой лампы, припрятанной под сетями на дне лодки. Он вспомнил пляж Прайи-ди-Роша в августе, в год своей женитьбы, вспомнил скалы, обтесанные Генри Мурами[1] бесконечных приливов и отливов, песчаные просторы без единого человечьего следа и как они с женой чувствовали себя Робинзонами Крузо, несмотря на квадратных немецких туристов, андрогинных англичанок, похожих на кастрированных сопрано, пожилых американок в немыслимых шляпах и дымчатые очки местных альфонсов, latin lovers[2] с пластмассовой расческой в заднем кармане брюк, голодными гиенами кружащих в непосредственной близости от женских ягодиц.

— Слышь, командир, — сказал он медбрату, — может, ради этого мы и живем. Но если усядемся и будем ждать сложа руки, сукины дети мы оба.

Он отправился в конец коридора, чувствуя, что был несправедлив к парню, и желая, чтобы тот понял, что нападает он на самом деле на пассивную часть самого себя, на ту свою ипостась, которая сдавалась без борьбы и против которой он сам бунтовал. Нравлюсь я себе или не нравлюсь, подумал он, до какой степени я себя принимаю, и в какой точке начинается на самом деле цензура моего протеста? Полицейские, уже выйдя из кабинета, сняли фуражки и показались теперь психиатру голыми и безобидными. Один из них нес смирительную рубаху помощника нотариуса, прижав ее к груди обеими руками, как дядюшка, согласившийся подержать пальто племянника, пока тот занимается в спортзале.

В кабинете Семейство изготовилось к атаке. Отец и Мать по обеим сторонам от стула, на котором сидел сын, замерли в грозной недвижности каменных псов у парадного подъезда, готовых разразиться оглушительным лаем злобных жалоб. Врач

1. Генри Спенсер Мур (1898–1986) — английский художник и скульптор.
2. Латинские любовники (*англ.*) — термин, отражающий стереотипное представление о латиноамериканцах и о представителях романских народов Европы как о необычайно страстных и искусных любовниках.

молча обошел стол и придвинул к себе стеклянную пепельницу, блокнот с эмблемой больницы, карту социального страхования и книгу регистрации больных, как шахматист, расставляющий фигуры перед началом матча. Младенец Иисус, рыжий, похожий на встревоженную птицу, отважно делал вид, что не замечает его присутствия, и напряженно рассматривал через открытое окно унылые дома проспекта Гомеша Фрейре, наморщив усыпанные прозрачными веснушками веки.

— Итак, в чем дело? — бодрым голосом произнес доктор, чувствуя, что его вопрос звучит, как сигнал арбитра к началу кровавой схватки. Если я не защищу мальчишку, подумал он, искоса бросая беглый взгляд на юнца, пока еще умело скрывающего панику, они в два счета разорвут его в клочья. Поколение cogitus interruptus[1], отметил он. Черт, как же не хватает поддержки Умберто Эко.

Отец выпятил манишку:

— Сеньор доктор, — воскликнул он таким тоном, с такой помпой, словно объявлял войну, — довожу до вашего сведения, что этот паршивец принимает наркотики.

И потер руки, будто уладил дельце с начальником отдела. На мизинце — любовно взрощенный длинный ноготь и, по соседству с обручальным кольцом, огромный черный камень в массивном перстне, на галстуке с золотыми разводами — коралловая булавка, изображающая футболиста из клуба "Беленсиш", пинающего золотой мячик. Вылитый автомобиль с кучей аксессуаров: покрывала на сиденьях, висюльки и побрякушки, разноцветные полоски на капоте, имя любимого футболиста, намалеванное на дверце. В карте социального страхования значилось: служащий Водопроводной компании (неумытым не ходит — и то хлеб, решил психиатр), изо рта у него несло съеденной накануне чесночной похлебкой.

— Пора бы перекрасить картотечные шкафы, — задумчиво заметил врач, указывая на три металлических параллелепипеда, загромождавшие жуткой массой пространство между дверью и окном.

— Даже моряка бы затошнило от этого зеленого, правда? — обратился он к парнишке, все еще ослепленному дивным зрелищем проспекта Гомеша Фрейре.

Однако губы у юнца уже дрожали, как грудка перепуганного воробья. Держись, посоветовал ему мысленно врач, дер-

1. Точнее: cogito interruptus, прерванный мыслительный акт (*лат*). Выражение, придуманное Умберто Эко и послужившее названием его статьи 1967 г., впоследствии включенной в книгу "На периферии империи".

жись, а то бычок ты — хиленький, а коррида еще и не начиналась. И произвел стратегическую рокировку, поменяв местами пепельницу с книгой учета и бормоча себе под нос: натянем поплотнее фирменные подштаники, эскадра НАТО на подходе.

Тут он услышал неожиданный шум: мать, склонив торс, облаченный в пиджак из пластикового леопарда, полная яростного негодования, вываливала на стол прямо перед его ошеломленным носом содержимое бумажного пакета, набитого упаковками самых разнообразных лекарств. Слова вылетали у нее изо рта, как пули-горошины из оловянной пушки, которую в детстве подарили психиатру во время одной из его бесчисленных ангин:

— Мой сын должен быть не-мед-лен-но госпитализирован, — распорядилась она тоном надзирателя исправительной колонии, обращаясь к набедокурившей Вселенной в целом. — Вот, это все — таблетки, в четвертом классе второй год сидит, родителей не уважает, если отвечает, цедит сквозь зубы, соседка снизу говорит, видели его у площади Рату, с какой-то девкой, не знаю, как еще вам объяснить, но и так все ясно. И это в шестнадцать лет, в апреле исполнилось, рожала через кесарево, чуть концы не отдала, под капельницей валялась, представьте себе. А мы-то к нему все добром, денег не жалели, книжки покупали, говорили ласково, буквально хоть ложкой нас ешь. Ну что, разве не так? А тут еще вы, доктор — у вас тоже, наверное, дети — со своими вопросами про цвет каких-то шкафов.

Передышка, чтобы наполнить воздухом понтоны-сиськи, между которыми приютилось сердечко из эмали на цепочке с портретом подкаблучника-мужа, помоложе, чем сейчас, но так же густо увешанного амулетами, и новый бросок в кипящие воды гнева:

— Несколько недель в больнице вправят ему мозги: у меня золовка в третьем работала, я знаю, какие тут методы. Несколько недель взаперти, без дружков, без аптек, откуда они лекарства тянут. Вот ведь некому прекратить все это безобразие: с тех пор, как умер Салазар, у нас вечно не понос так золотуха.

Врач вспомнил, как много лет назад, вернувшись с ужина у одной из многочисленных тетушек, они обнаружили в кабинете отца агента Пиде, поджидавшего брата — председателя Ассоциации студентов-юристов, и какое смешанное со страхом отвращение этот тип, рассматривающий в отстутствие отца хозяйским взглядом корешки его трактатов по неврологии, вызвал у них. Лишь самый младший смотрел на этого шу-

та без ненависти, потрясенный наглой профанацией святилища курительных трубок, к которому все всегда подходили с осознанием, почти благоговейным, его сакрального смысла, и восторженно следовал по пятам за святотатцем, ловя каждое его движение. Внезапно врачу захотелось схватить эту Деву Марию за крашеную в блондинистый цвет шевелюру и, не торопясь, несколько раз с толком приложить ее головой об угол раковины, той, что слева от стола, под косым зеркалом, в котором он со своего места видел только слепой и серый кусок стены, как будто шестиугольную поверхность, в которой он столько раз лицезрел самого себя, вдруг поразила катаракта; его ошеломило, что он не видит наклеенной на стеклянный зрачок, покрытый амальгамой, вопросительно изогнутой улыбки Чеширского кота.

— Больница или тюрьма, — внушительно проговорил муж гарпии, поглаживая чудовищную булавку на своем галстуке, — потому что слова для нас — пустой звук.

Жена потрясла рукой, сделав пальцы веером, будто стряхивая его ненужные слова: это она командовала операцией безраздельно, и никто не смел встревать со своими замечаниями. Внучка капрала жандармерии, подумал психиатр, моральная наследница ржавого ножа, которым ее дед спускал с народа шкуру.

— Доктор, вы уж решите этот вопрос, не откладывая, — сказала она, и леопардовый пиджак ощетинился искусственной шерстью. — Заберите его, будьте добры: дома он мне не нужен.

Мальчишка было дернулся, но она подрубила его порыв под корень, выставив грозный указующий перст:

— Не перебивай, гаденыш, когда я с доктором разговариваю. — И решительно — психиатру: — Вы как хотите, но мы с ним отсюда не уйдем.

Врач двинул вперед по доске письменного стола пешку степлера. Наколотые на ржавые гвозди графики дежурств, некоторые с его именем (наше имя в напечатанном виде перестает нам принадлежать, подумал он, становится чужим и безличным, не таким родным, как написанное от руки), украшали стены.

— Ждите в коридоре, пока я поговорю с мальчиком, — сказал он, ни на кого не глядя, бесцветным мертвым голосом. Друзья старались не спорить с ним в минуты, когда тон его становился нейтральным, лишенным красок, а глаза будто гасли. — И дверь прикройте.

Прикройте дверь, прикройте дверь: психиатр с женой держали дверь в спальню дочерей открытой, и иногда, во время

близости, путаные слова, которые девочки бормотали во сне, сплетались с их страстными стонами в единую звуковую нить, связывавшую их всех так тесно, что уверенность в том, что они никогда не смогут расстаться, побеждала страх смерти, подменяя его успокаивающим ощущением вечности: ничто не изменится, дочери никогда не вырастут, а ночь растечется огромной нежной тишиной со спящим котом, растянувшимся запрокинув голову у калорифера, с бельем, разбросанным как попало по стульям, в компании верных и привычных вещей. Он думал о том, как на покрывале становилось все больше белых пятен спермы и что подушка жены была вечно испачкана помадой, подумал о неповторимом выражении ее лица, когда она кончала или когда, сидя на нем верхом, заложив руки за голову и выпрямившись, двигалась то в одну, то в другую сторону, чтобы лучше ощущать пенис, а большие груди покачивались на ее стройном торсе. ЛТВ, — сказал он ей без слов, сидя за больничным столом, вспомнив морзянку, которой они изъяснялись так, что никто больше их не понимал, ЛТВ до конца времен, любимая, сейчас, когда мы с тобой — Педру и Инеш[1] в склепах Алкобасы, ожидающие неизбежного чуда. И он вспомнил, чтобы перебить подступающие слезы, что волосы каменных инфантов растут внутри головы и сплетаются в пыльные косы и что он сам писал об этом в одной из тетрадок со стихотворениями, которые время от времени рвал и выбрасывал, как некоторые птицы заклевывают собственных птенцов в приступе тошнотной жестокости. Сантименты раздражали его все сильнее: явный признак старения, отметил он, буквально исполнив пророчески торжественную сентенцию матери пациента:

— Будешь продолжать в том же духе, останешься один, как пес.

И портреты в рамках как будто подтверждали ее правоту, кивая в знак пыльного и выцветшего согласия.

Младенец Иисус, продолжавший с интересом рассматривать приклеенный снаружи к оконному стеклу пейзаж Ботелью[2], скользнул по врачу быстрым взглядом, и тот, оставив

1. Инес де Кастро родом из Кастилии (в Португалии звалась Инеш ди Каштру) — незаконная любовь инфанта дона Педру, от которой он имел четверых детей. Придворные, боясь, что из-за бастардов начнется гражданская война, добились казни Инес. Педру, став королем, жестоко отомстил убийцам своей возлюбленной, с которой он, как утверждал, успел тайно обвенчаться. Захоронения Педру и Инеш находятся в Алкобасе.
2. Карлуш Ботелью (1899—1982) — португальский художник, писавший много городских пейзажей.

свой внутренний сюжет ради сюжета, который привел его сюда, ухватился за враждебность мальчишки, как хватаются в последнюю минуту за поручни трамвая, вскакивая на ходу на подножку:

— Так что же у тебя с котелком-то творится? — спросил он.

По дрожи ноздрей он догодался, что мальчишка колеблется, и разом выложил все карты, вспомнив инструкции по спасению утопающих из своего детства, плакаты, вывешенные на пляже, с усатыми мужиками в плавках, стремительно рассекающими волны между пятью колонками набранных мелким шрифтом предупреждений и запретов.

— Слушай, — сказал он парню, — мне вся эта история противна не меньше, чем тебе, и я не играю тут в доброго дядю полицейского. И даже если твои старики направят мне ствол в лобешник, ты здесь не останешься, но тебе все же стоило бы хоть в общих чертах объяснить мне, в чем дело: вдруг вдвоем мы что-нибудь да нароем в этом дерьме, а может, и нет, но попытка не пытка.

Рыжий снова уставился в окно: он взвесил все, что услышал, и выбрал молчание. Его розовые ресницы блестели на солнце, как нити паутины между чердачных балок.

— Помоги мне помочь тебе, — настаивал психиатр. — По-одиночке мы ничего не добьемся. Я говорю с тобой совершенно откровенно. Ты один и в беде, твои родители там за дверью спят и видят, как бы тебя к нам упрятать; черт возьми, я прошу тебя только об одном: помоги мне этого не допустить, не столбеней, как испуганный хорек.

Младенец Иисус, сжав губы, продолжал изучать проспект Гомеша Фрейре, и психиатр понял, что продолжать глупо; он двинул назад степлер-пешку, почувствовав ладонью приятную прохладу металла, опираясь на зеленое сукно стола, поднялся с неохотой, как Лазарь, разбуженный некстати явившимся Христом. Выходя, пробежался пальцами по волосам мальчишки, и тот втянул голову в плечи, как черепаха, поспешно прячущаяся в свой панцирь: для этого пацана, как и для меня, мало что можно сделать, мы оба с ним, хотя и разными путями, докатились до самого дна, куда ни одна рука не дотянется, и как только кончатся запасы кислорода в легких, пиши пропало. Только бы с собой заодно кого-нибудь не утопить.

Он резко распахнул дверь и обнаружил, что родители мальчишки, согнувшись, подсматривают, как маленькие, в замочную скважину; оба поспешно выпрямились, с трудом возвращаясь к заученной роли взрослых, и врач испытал к ним чуть ли не жалость, ту самую, которую каждое утро ощущал

при виде бородатой физиономии в зеркале, в которой едва узнавал себя и которая казалась ему потертой карикатурой на него прежнего. Медбрат, возвращаясь с обеда, шел вдоль стены, шаркая шлепанцами, которые всегда носил на дежурстве. Храп алкоголика, которому недавно делали укол, мешался с шарканьев влажных подметок.

— Вы сейчас отведете мальчика домой, — сказал психиатр родителям рыжего. — Отведете сына домой тихо и мирно и вернетесь сюда в понедельник для долгой и обстоятельной беседы, потому что случай этот надо обсудить как следует и не торопясь. И воспользуйтесь воскресеньем, чтобы заглянуть поглубже друг другу в душу и в душу вашего чижика в клетке. Да-да, друг другу и чижику в клетке.

Спустя несколько минут он стоял в больничном дворе у своей маленькой исцарапанной машины, вечно грязной — мой крошечный самоходный бункер, моя защита. Когда-нибудь в недалеком будущем, решил он, я, окончательно сбрендив, приклею на капот фаянсовую ласточку.

* * *

Когда он вошел в ресторан, почти бегом, потому что часы на соседней подземной стоянке показывали час с четвертью, друг уже ждал его по ту сторону стеклянной двери, разглядывая детективы, теснящиеся на чем-то вроде крутящейся проволочной этажерки, на этакой металлической сосне, под которой прямо на полу в качестве навоза для удобрения валялись стопками газеты правого толка. Киоскерша с лисьим лицом под защитой стены, выстроенной из журналов, практиковалась в схематичном английском, рассыпаясь в любезных "камонах" перед парой англосаксов средних лет, с недоумением прислушивающихся к странному жаргону, в котором изредка попадались отдельные смутно знакомые слова. Лисица подкрепляла свою речь обильной пояснительной жестикуляцией в духе ярмарочной марионетки, собеседники в ответ подавали сигналы гримасами, и друг, отвлекшись от книг, завороженно наблюдал за этим исступленным танцем существ, остающихся безнадежно чужими друг другу, несмотря на героические попытки, размахивая руками, найти наконец общий язык. Психиатр отчаянно пожелал появления какого-нибудь эсперанто, способного преодолеть внешние и внутренние расстояния, разделяющие людей: пусть бы некий словесный агрегат прорубил окна в утро из глубокой ночи, царящей у каждого внутри, как от некоторых стихотворений Эзры Паунда открываются перед нами во внезапном озарении наши собственные чердаки и откуда ни возьмись

берется уверенность, что рядом, на, казалось, пустой скамейке — попутчик, и — радость от внезапного взаимопонимания. Среди тех вещей, которые особенно сближали его с женой, была и эта способность понимать друг друга, не закутываясь в оболочку фраз, с одного брошенного искоса взгляда, причем степень их знакомства не имела значения: это происходило с самой первой встречи, и они оба, совсем молодые тогда, были, словно молнией, поражены тайной мощью этого чуда, ведь ни с кем другим они не переживали единства настолько полного и глубокого, что, думал он, если бы дочери когда-нибудь достигли его, вышло бы, что не зря он их делал, да и для них все жизненные кори-скарлатины обрели бы смысл. Старшая особенно его беспокоила: он опасался хрупкости ее неуместного гнева, многочисленных страхов, напряженных и внимательных зеленых глаз на лице, сошедшем с портретов Кранаха; он воевал в Африке, и потому ему не пришлось почувствовать, как она шевелится в животе у матери, а сам для нее многие месяцы оставался фотографией в гостиной, плоским бесплотным изображением, на которое ей показывали пальцем. В их беглых поцелуях при встрече будто сохранялся остаток этой взаимной обиды, с трудом сдерживаемой на краю нежности.

Меланхоличный адмирал в отставке, влачивший свою обшитую галунами старость в мечтах о трепещущих на горизонте Индиях рядом с киоском у входа в ресторан, распахнул стеклянные двери и выпустил двух типов весьма ученого вида, причем оба были в очках, и один заявлял, обращаясь к другому:

— Я ему так все и выложил, ты ж меня знаешь. Рысью к нему в кабинет и с ходу: если вы, сукин сын, не отправите мне мой раздел обратно, не то что костей — рогов не соберете. Видел бы ты, как этот говнюк обосрался.

Что заставляет швейцаров-адмиралов, подумал врач, менять море на рестораны и гостиницы, где капитанский мостик скукожился до размеров потертого половика, и протягивать согнутую руку за чаевыми, как слон в Зоологическом саду тянет хобот за связкой морковок в руке служителя. Ну, слушай, Жорж, я покажу мою страну отважных моряков[1], бороздящих лицемерные воды смиренного раболепия. На тротуаре ученые мужи махали руками пустому такси, как жертвы

1. Цитата из стихотворения Антониу Нобре “Лузитания в Латинском квартале”. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой.

кораблекрушения равнодушно удаляющемуся кораблю. Та самая пара англичан среднего возраста рискнула, с помощью раскрытого на первых страницах грамматического катехизиса, издать какие-то восклицания на языке зулу, в которых слышались отдаленные отзвуки курса португальского для иностранцев Лондонского лингафонного института типа: Сад моего дяди больше, чем карандаш моего брата. Психиатр, воспользовавшись исходом жертв кораблекрушения, боком, как египтяне из "Истории" Матозу[1], протиснулся в вестибюль Галерей и удостоился воинского приветствия адмирала, больше похожего на неопределенный поклон, и, как всегда, поразился, что морской волк не плюнул на средний палец и не поднял его, чтобы определить направление ветра на манер корсаров с черной нашлепкой на глазнице из фильмов его детства. Мы оба с ним состарившиеся Сандоканы[2], подумал врач, пираты, для которых приключения ограничиваются чтением некрологов в вечерней газете и надеждой на то, что отсутствие нашего имени на этой странице означает, что мы живы. А между тем мы постепенно разваливаемся: сначала волосы, потом аппендикс, желчный пузырь, то один, то другой зуб; нас будто отправляют частями по почте. На улице ветер трепал ветви платанов, как врач недавно вихры мальчишки в больнице, а в небе за тюрьмой скапливалось нечто серое и угрожающее. Друг, который в этот момент тронул его за локоть, был высок, молод, слегка сутул, с мягким, древесно-травяным покоем в глазах.

— Мой дед провел здесь хрен знает сколько месяцев, — сообщил психиатр, указывая подбородком на здание тюрьмы и картонную стену вдоль улицы Маркиза да Фронтейры, мрачной из-за надвигающегося дождя. — Он сидел там уйму месяцев после мятежа в Монсанту[3], был офицером-монархистом, представляешь, даже выписывал "Дебати". Отец часто рассказывал нам, как они с моей бабушкой ходили навещать его в каталажку, шли вверх по проспекту летом, изнемогая от жары, он, одетый в матроску, как обезьянка шарманщика, она — в шляпе и с зонтиком, толкая перед собой огромный беременный живот, как грузчик Флорентину — фортепьяно на громадной тачке. Нет, серьезно, представь картинку: голубо-

1. Школьный учебник 40-х годов: Антониу Г. Матозу "Краткий курс всемирной истории".
2. Сандокан — герой серии пиратских романов итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862–1911).
3. Мятеж монархистов в 1919 г.

глазая немка, отец которой застрелился из двух пистолетов, сел за письменный стол — и бац!, с мальчишкой, упакованным в карнавальный костюм, шагают вдвоем на встречу с усатым капитаном, который вынес из форта раненого и тащил его на плечах вниз, пока не наткнулся на штыки карбонариев. На овальных старых фотографиях той бурной эпохи уже и лиц не разберешь, а к тому времени, как мы родились, Салазар успел превратить страну в стадо дрессированных семинаристов.

— Когда я ходил в школу, — сказал друг, — учительница с вонючими и вдобавок кривыми ногами задала нам нарисовать зверей из Зоосада, а я изобразил собачье кладбище, помнишь его? Как кладбище Сан-Жуан, только собачье? Мне кажется иногда, что вся Португалия — нечто в этом роде, убогая и безвкусная тоска о прошлом и лай, придавленный грубо отесанными могильными плитами.

— Нашему Барбосу в знак вечной памяти от его Лениньи, — провозгласил врач.

— Дорогой Жужу от хозяев Милу и Фернанду, которые никогда ее не забудут, — отозвался друг.

— Теперь, — сказал психиатр, — по случаю кончины любимой овчарки вместо торжественных похорон публикуют объявления с благодарностями Божественному Святому Духу и Младенцу Иисусу Пражскому в "Диариу ди Нотисиаш". Хреновая страна: если бы король дон Педру явился снова в этот мир, ему во всем его королевстве некого было бы оскопить[1]. У нас прямо так и рождаются членами "Ассоциации инвалидов торговли"[2], а амбиции сводятся к главному призу в лотерее "Лиги слепых имени Святого Иоанна Божьего" — наворованному "Форду Капри", выставленному в кузове грузовика, увешанного орущими громкоговорителями.

Друг задел своей светлой бородой плечо психиатра: он был похож на активиста-эколога, сделавшего буржуазному миру щедрую уступку, повязав галстук.

— Так начал ты писать? — поинтересовался он.

Что ни месяц, друг оглоушивал психиатра этим пугающим вопросом: для врача мусолить слова означало примерно то же, что предаваться постыдному тайному пороку, страсти, удовлетворение которой он вечно откладывал.

1. Именно так по легенде он поступил с убийцами своей возлюбленной Инеш.
2. Благотворительная организация, созданная португальскими коммерсантами в 1929 г.

— Пока я не начал, могу убеждать себя, что, если бы начал, писал бы хорошо, — объяснил он, — и тем компенсировать колченогость всех своих многочисленных конечностей хромой сороконожки. А если возьмусь за книгу всерьез, и при этом выдам на-гора дерьмо, где тогда искать оправдания?

— Можно не выдавать на-гора дерьмо, — заметил друг.

— С таким же успехом можно выиграть дом в рождественскую лотерею журнала "Ева", не покупая журнала. Или быть избранным папой римским. Или забивать штрафные "сухим листом" при полном стадионе. Ладно, так и быть, когда умру, ты опубликуешь все мое неизданное наследие с поучительным вступлением "Имярек, каким я знал его". Назовешь себя Макс Брод, а меня в интимные моменты можешь именовать Францем Кафкой.

Они покинули адмирала, шумно сморкающегося в парус носового платка, и поднялись на второй этаж: врачу здесь нравился приглушенный инкубаторный свет высоких трубообразных ламп, перехваченных металлическими кольцами. Посетители сидели плечом к плечу, как апостолы на Тайной Вечере, а по другую сторону подковообразных стоек бармены в белом метались с неистовством насекомых под присмотром типа в штатском, заложившего руки за спину, вылитого прораба на стройке, который, пожевывая зубочистку, наблюдает за каторжным трудом рабочих: врач никогда не понимал, зачем нужны эти молчаливые властные субъекты, следящие рыбьими глазами, облокотясь о гигантский "мерседес" цвета синих трусов, за тем, как остальные работают. Друг наклонился за меню, лежавшим на металлическом подносе поверх бутылочек с горчицей и соусами (кулинарная косметика, подумал врач), открыл его благочестивым кардинальским жестом и стал вполголоса читать названия блюд с монашеским ликованием в голосе: он никогда никому не уступал этого сладострастного занятия, тогда как психиатр интересовался в первую очередь ценами — наследие родительского дома, где нескончаемый суп чудесным образом множился и множился изо дня в день, становясь все более водянистым. Однажды, когда врач был уже взрослым, на столе появилась бутылка вина, и мать объяснила, обводя ясными глазами изумленное потомство:

— Сейчас, слава Богу, мы можем себе это позволить.

Старушка моя, подумал он, старенькая моя старушка, никогда мы не понимали друг друга как следует: едва родившись, я чуть не угробил тебя эклампсией, когда меня тащили из твоей утробы щипцами, и, с твоей точки зрения, я ковыляю по жизни, то и дело спотыкаясь и падая, навстречу неми-

нуемому окончательному провалу. Мой старший не в себе, объявляла ты гостям, чтобы оправдать странности (как ты считала) моего поведения, мою необъяснимую меланхолию, стихи, написанные тайком, сонеты — сосуды для хранения приступов бесформенной тоски. Бабушка, к которой я ходил по воскресеньям, влекомый округлой задницей ее прислуги, жившая под сенью славы и наград двух покойных генералов, за бифштексом горько упрекала меня:

— Ты убиваешь свою мать.

Тебя ли я убиваю или себя, старушка, так долго походившая на мою сестру, маленькая, красивая, хрупкая, пастушка из смальты и тумана Сардиньи[1], делившая время между Прустом и "Пари-Матч", без конца рожавшая наследников мужского полу, оставаясь все такой же узкобедрой и тонкокостной? Возможно, от тебя я унаследовал вкус к молчанию, а следовавшие одна за другой беременности не оставили тебе времени и сил, чтобы любить меня, как мне было необходимо, как я хотел, пока, оказавшись наконец лицом к лицу, ты, мать, и я, сын, не осознали, что стало слишком поздно для того, чего, по-моему, никогда и не было. И вот, когда мы молча глядим друг на друга, будто чужие, неотменимо далекие, что́ ты на самом деле думаешь обо мне, о моем невысказанном желании вернуться в твою утробу, чтобы выспаться там медленным каменным сном без сновидений, сделать паузу, улечься, как булыжник, забыв о пугающей гонке, будто навязанной извне, заставляющей мчаться в тоске и тревоге туда, где мерещится несуществующий покой. Я убиваю себя, мама, и никто, или почти никто, этого не замечает, болтаюсь на ниточке улыбки, а внутри у меня сыро от слез, как в пещере, где каплями стекает по стенам пот гранита и стоит невидимый туман, в котором я прячусь. Даже фоновая музыка в ресторане — не более чем молчание, записанные в скрипичном ключе пастилки Ренни, регулирующие пищеварение страусов, торопливо причащающихся пиццей, фоновая музыка, всегда напоминающая мне о тридцать вторых нотках — камбалообразных рыбках, затаившихся холмиками в песке нотного стана и разглядывающих медовыми глазками аквариум — колыбель смиренных кишок. Другу наконец удалось привлечь внимание одного из барменов, который вибрировал от нетерпения, пришпориваемый раздающимися отовсюду при-

1. Строка из сонета Антониу Сардиньи (1887–1925) "Готический напев", которую неизвестный поклонник написал когда-то на обороте фотографии матери Антониу Лобу Антунеша.

зывами, как конь, подгоняемый одновременными противоречивыми командами, потряхивая гривой поредевших от постоянной нервотрепки волос.

– Ты что возьмешь? – спросил друг у врача, оспаривающего свой метр стойки у необъятных размеров дамы, занятой разрушением столь же гигантского пирамидального мороженого в стиле барокко из замороженных фруктов, с которым она сражалась, нанося ему сокрушительные удары ложкой, и было непонятно, кто из них кого пожирает.

– Гамбургер с рисом, – сказал психиатр, не глядя в рыбно-мясной часослов, в котором латынь уступила место кухонному французскому, записанному под диктовку авторитетной дамы поварского сердца. – И пеммикан, о бледнолицый брат мой, прежде чем пуститься в путь к благословенным лугам вечной охоты.

– Гамбургер и свиную ножку, – перевел друг для бармена, едва не взрывающегося от нетерпения. Еще минута, подумал врач, и он треснет, как стена во время землетрясения, и обломки с грохотом рухнут на пол.

– Обморок старинного здания, – сказал он вслух, – обморок здания – лауреата премии виконта ди Валмора в области архитектуры, пораженного проказой и древоточцем.

Дама с мороженым бросила на него косой взгляд бродячей собаки, видимо, встревоженная возможной угрозой ее праву исследовать на собственной шкуре съедобный мусор: первым делом – взбитые сливки, а метафизика – уж потом, подумал психиатр.

– Так что? – спросил друг.

– Что что? – переспросил врач.

– Ты все треплешь языком, а я пока не услышал ни слова, – сказал друг. – Бормочешь, как последняя ханжа в церкви.

– Я тут вообразил, что писать – это почти то же, что реанимировать словарь Морайша[1], грамматику для четвертого класса и прочие залежи мертвых слов, и я то полон кислорода, то пуст и преисполнен сомнений.

Напротив них косоглазая девица, этакий сексуально озабоченный воробышек, что-то шептала, хихикая, на ухо сорокалетнему мужчине, согнувшемуся в три погибели, чтобы расслышать ее чириканье. Психиатр готов был чуть ли не биться об заклад, что это бывший падре, судя по округлости его жестов и по вялому изгибу толстых губ, между которыми он с четким ритмом метронома совал кусочки хлеба, в промежутках

1. Знаменитый толковый словарь XVIII в.

пережевывая их медленно и слегка брезгливо, как верблюд. С его тяжелых век стекали медленные и тусклые взгляды в сторону косоглазой, и она в восторге покусывала ему гнилыми зубами ухо, как жирафа, тянущаяся толстым языком поверх ограды к листьям эвкалипта.

Второй официант, вылитый Харпо Маркс[1], подтолкнул к ним, поставив на бумажные скатерти, ломтики жареной свинины и гамбургер. Занеся вилку, медик почувствовал себя теленком, силком влекомым к кормушке, которую он делит с другими телятами, стонущими под игом служебного рабства, не оставляющего времени ни радости, ни надежде. Работа, поездка по воскресеньям в автомобиле в пределах обязательного треугольника дом-Синтра-Кашкайш, снова работа, снова поездка, и так без конца, пока внезапно из-за угла наперерез не вылетит инфаркт и, завершая порочный круг, катафалк не подбросит нас до конечной остановки "Кладбище Празереш". Скорее, скорее бы, молил он всем существом бога своего детства, бородатого буку, закадычного друга тетушек, работодателя хромого ризничего из Нелаш, любителя голубей, хозяина ящиков для пожертвований и начальника Святых Экспедитов[2] из боковых алтарей, к которым, судя по всему, он относился, как к осточертевшим любовникам. Поскольку никто врачу не ответил, он съел единственный красовавшийся на гамбургере гриб, похожий на пожелтевший давно не чищенный зуб. По молчанию друга было понятно, что тот, как обычно терпеливый, словно дерево, дожидается объяснений по поводу утреннего звонка.

— Я дошел до ручки, — сказал врач, все еще с грибом во рту, вспоминая, как в детстве на уроках катехизиса ему объясняли, что говорить, не проглотив облатки, — великий грех. — До самой ручки. Если не сказать до ножки.

Сидящий рядом с косоглазой девицей старец в ожидании обеда читал "Ридерс Дайджест" с заголовками типа "Я — тестикул Иоанна". Подумал бы лучше, что ей толку от его шестидесятилетних тестикул.

— Я дошел до ручки, — продолжал психиатр, — и не уверен, что выберусь. Не уверен даже, что есть выход, понимаешь? Я, бывало, слушал пациентов и удивлялся: ну как вот этот или вот эта умудрились провалиться в колодец, откуда у меня руки

1. Адольф Артур Маркс, более известный как Харпо Маркс (1888–1964) — американский актер, комик, участник комедийной труппы Братья Маркс.
2. Два католических святых-тезки, оба мученики, дни поминовения которых — 18 и 19 апреля.

коротки их достать? Или — помнишь — нам в студенческие годы показывали раковых больных, которых на этом свете удерживает одна тонкая пуповина морфия. Я им от души сочувствовал, брал лекарства и слова с полки собственного страха, но чтобы стать одним из них — ну уж нет, потому что у меня, черт побери, были силы. У меня были силы: была жена, были дочери, были планы стать писателем, конкретные вещи, которые держат. Чуть возьмет тоска, знаешь, как это бывает по вечерам, идешь в комнату к малышкам, пробираешься среди разбросанного детского барахла, смотришь на их спящие мордочки, и успокаиваешься: мне было на что опереться, я ощущал опору, я был защищен. Как вдруг жизнь, сука, вывернулась наизнанку, и вот я валяюсь, как таракан, на спине, дрыгаю лапками, а опоры нет. Мы, видишь ли — я о себе и о ней, — мы очень друг друга любили, да и сейчас любим, но вся гадость в том, что я не могу перевернуться на брюхо, встать на ноги, позвонить ей, сказать: давай бороться, потому что, похоже, разучился бороться, руки опускаются, голос осип, шея голову не держит. Но, мать твою, я только того и хочу, на что не способен. Похоже, мы потому проиграли, что оба не умели прощать, не смогли смириться с тем, что не во всем согласны, и все равно, сколько мы друг друга ни раним, сколько ни получаем друг от друга тычков, наша любовь (да, вот так и надо говорить: наша любовь) не сдается и крепнет, и ни один порыв ветра не смог до сих пор ее загасить. Я как будто только и в состоянии любить ее издалека, и при этом так мечтаю, черт меня дери, любить ее лицом к лицу, любить врукопашную, как было у нас с самого начала, с тех пор как познакомились. Подарить ей то, чего до сих пор не смог дать, но что есть во мне, возможно, уснувшее, застывшее, оно во мне дышит, как ждущее своего часа зерно. То, что я хотел дать ей с самого начала, и хочу до сих пор, нежность, понимаешь? Нежность без эгоизма, повседневность без рутины, полное растворение в "мы", простое и теплое, как птенец в руке, как маленький дрожащий звереныш, наш.

Он замолчал: перехватило горло. А тем временем господин с "Дайджестом", предварительно загнув уголок страницы, наклонил пакетик с сахарным песком, осторожными щелчками помогая содержимому высыпаться в желтушный настой лимонной корки. Тучная дама прикончила мороженое и теперь слегка клевала носом, как сытый удав. Трое близоруких подростков что-то обсуждали, склонившись над бифштексами и искоса поглядывая на одинокую блондинку, застывшую с поднятым ножом, как журавль, задравший ногу и в этот миг застигнутый мыслью о вечном.

— Ни ты ей не найдешь замены, ни она тебе, — сказал друг, отодвигая пустую тарелку тыльной стороной ладони, — никто так не подходит каждому из вас, как ты ей и она тебе, но ты наказываешь и наказываешь себя, как алкоголик, переполненный чувством вины, сидишь в своем дурацком Эшториле, пропал, тебя нигде не видно, ты испарился. Я все еще жду, когда мы закончим работу об Acting-Out[1].

— У меня сейчас голова пустая, — сказал врач.

— Да ты весь пустой. Так почему бы тебе прямо сейчас не убиться об стену?

Психиатр вспомнил, что сказала ему жена незадолго до расставания. Они сидели на красном диване в гостиной под его любимой гравюрой Бартоломеу[2], кот грелся, примостившись между ними, и тут она подняла на него свои большие и решительные карие глаза и заявила:

— Я не согласна, чтобы — со мною или без меня — ты сдался, потому что я верю в тебя, я сделала на тебя ставку.

Он вспомнил, как это пронзило его, какой болью отозвалось, как он прогнал кота, чтобы обнять стройное смуглое тело жены, повторяя в тоске и отчаянии ЛТВ, ЛТВ, ЛТВ: она была первой, кто полюбил его целиком, со всем гигантским грузом недостатков. И первой (и единственной), кто побуждал его писать, чего бы ему ни стоили эти, как каждый раз представлялось, бесцельные и мучительные попытки впихнуть стихотворение или рассказ в границы прямоугольного листа. А я, спросил он себя, что я-то для тебя сделал, в чем действительно тебе помог? В обмен на твою любовь — эгоизм, в обмен на заинтересованность — равнодушие, пораженчество в обмен на стойкость.

— Я кричащий караул засранец: я так обосрался, что ножки не держат. Все требую внимания от других, а сам другим — ни шиша. Лью крокодиловы слезы, которые меня самого не утешают, да, похоже, я только о себе и думаю.

— Попробуй для разнообразия побыть мужчиной, — сказал друг, ловя одного из братьев Маркс за рукав, чтобы заказать двойной кофе. — Попробуй побыть мужчиной хоть чуть-чуть. Может, это тебя удержит в вертикальном положении.

1. Психоаналитический термин, часто употребляемый без перевода, однако имеющий несколько синонимов на русском языке: отыгрывание [вовне]; отреагирование вовне; разрядка — психический механизм защиты, состоящий в бессознательном провоцировании развития тревожной для человека ситуации.
2. Бартоломеу Сид душ Сантуш (1931–2008) португальский художник, проживший большую часть жизни в Лондоне.

Врач опустил глаза и наткнулся взглядом на свой нетронутый гамбургер. От вида остывшего мяса, политого жирным соусом, его мучительно замутило, внезапный водоворот поднялся от внутренностей к горлу. Он сполз с табуретки, как с жесткого, неожиданно неустойчивого седла, мышцами живота сдерживая тошноту и подставив ладони к подбородку. Ему удалось добежать до уборной, и, согнувшись, он начал потоками изрыгать в ближайшую к двери раковину остатки вчерашнего ужина вместе с ошметками сегодняшнего завтрака, белесые скользкие отвратительные куски, сползавшие в отверстие слива. Когда он очухался настолько, что смог сполоснуть рот и руки, то увидел в зеркале, что друг стоит у него за спиной и смотрит на его осунувшееся и бледное лицо, все еще кривящееся от удушья и колик.

— Вот надо же, — сказал он отражению ангела-хранителя своей тоски, запечатленного, будто на изразцах, на фоне кафельной плитки, — вот надо ж, блядь, пизда с ушами, триппер ей в жопу, до чего хуево быть мужчиной, а?

* * *

Тень от туч, ночным колпаком накрывших будто вырезанный из картона силуэт тюрьмы, простиралась аж до середины парка, когда врач отправился на поиски своего автомобиля, оставленного по обыкновению неизвестно где под золотисто-зеленой сенью платанов, окружавших огромное, но отнюдь не внушительное пустое пространство, подступавшее к самой реке. Кучка цыган, сидя на корточках на тротуаре, вела громогласную дискуссию о праве собственности на дряхлые настенные часы с агонизирующим маятником, болтавшимся, как свисающая с каталки рука больного, издававшие время от времени еле слышное тик-так, подобное последнему вздоху умирающего. Еще не настал час, когда силуэты гомосексуалов в выжидательных позах заполняют промежутки между деревьями, и дорогие автомобили, в которых тихо угасают важные сеньоры подобно горько-сладким увядающим фиалкам, не принялись еще, как голодные коты, оглаживать их своими лоснящимися боками. Именно здесь произошла первая встреча психиатра с проституткой, меявшей широкими хозяйскими шагами восемь метров известняка, величаво красуясь в фальшивых жемчугах и ужасающих кольцах со стекляшками; эта гигантская пекарша из Алжубарроты спасла его решительными ударами дамской сумочкой от зазывных улыбок двух сирен-трансвеститов, затянутых в красные шелка, но при этом обутых в здоровенные армейские башмаки, видимо, каптенармусов, восполнявших скуд-

ное денежное довольствие этаким маскарадом, чтобы властно увлечь его в комнату без окон, украшенную изображениями пьяных монахов и портретом Кэри Гранта в кружевной рамке на комоде. Разрываясь между вожделением и страхом, будущий врач наблюдал, стоя в одних носках и прижав к животу одежду, которую не знал, куда деть, за преображением этой дешевой Маты Хари в монстра с геркулесовыми сиськами, рвущего одним движением толстую телефонную книгу, из того самого цирка, который выгуливал каждое лето по пляжу шелудивых тигров и артистов в костюмах, усыпанных тусклыми блестками. Женщина улеглась меж простыней, как кусок ветчины между половинами булки, и он, совершенно обалдевший, осторожно приблизился и робко коснулся покрывала, как боязливый купальщик в позе продрогшей балерины пробует пальцами воду в бассейне. Потолок являл собой карту неведомых континентов, писаных сыростью по штукатурке. Нетерпеливый окрик: ну, до завтра управимся или как? — швырнул его на кровать с нездешней силой волшебного пенделя, и психиатр лишился девственности, нырнув целиком в огромный мохнатый тоннель и уткнувшись носом в подушку, усыпанную, как новогодняя елка клочьями ваты, шпильками, к которым прилипли жирные и плоские, словно лезвия, чешуйки перхоти. Два дня спустя, обнаружив в трусах капли жгучего стеарина, он обрел через уколы аптекаря уверенность в том, что любовь — опасная болезнь, которая лечится коробкой ампул и омовениями теплым раствором марганцовки в биде горничной, чтобы скрыть жар преступной страсти от вопрошающего взгляда матери.

Но нынче невинной дневною порой парк был населен только жизнерадостными, попугайски щебечущими что-то друг другу японцами, которым цыгане впаривали настенные часы не менее решительно, чем мамаша, лопатой запихивающая еду в глотку непослушным отпрыскам, и японцы разглядывали этот странный сундук, набитый минутами, снабженный маятником за стеклянной дверцей, напоминавшим сердце Христа, отштампованное на бумажных образках, со смесью удивления и ужаса, с которым смотрели бы на доисторического предка, лишь отдаленно смахивавшего на хромированные НЛО, посылавшие световые сигналы с их тонких запястий. Психиатр внезапно ощутил себя ископаемым рядом с этими существами, чьи узкие глаза щурились объективами фотоаппарата “Лейка”, а на место желудков давным-давно были пересажены карбюраторы “Датсун”, навсегда свободные от изжоги и от газов, норовивших вырваться наружу то ли вздохом, то ли отрыжкой: кто знает, несварение

это или печаль, не раз думал доктор, когда грудь его теснил и подступал к горлу как бы шар, надутый из жвачки, но без жвачки, вырываясь изо рта с тихим свистом пролетающей кометы, и предпочитал думать, что разыгрался эзофагит, тогда как на самом деле это искала выхода его заблудившаяся тоска.

Машина оказалась зажатой между двумя громадными "универсалами", слонами цвета слоновой кости, этакими подпорками для книг на полке у двоюродной бабушки, вынужденными нехотя подпирать какую-то жалкую брошюрку. В ближайшие же дни куплю себе восьмиосный грузовик и тут же стану волевым до умопомрачения, решил врач, втискиваясь в свой маленький автомобильчик с бардачком, заваленным неиграющими кассетами и упаковками давно просроченных лекарств: он хранил это барахло, как другие хранят в ящике письменного стола склянку с камнями, извлеченными из собственного желчного пузыря, в трогательной надежде расставить в прошлом вешки теми предметами, которые поток жизни за ненужностью оставляет валяться на берегах, и время от времени перебирал коробочки с медикаментами, подобно арабу, ласкающему свои таинственные четки. "Я человек уже не молодой"[1], процитировал он вслух, как делал всегда, когда Лиссабон, неторопливым и задумчивым жестом лангуста в виварии смыкал клешни у него на горле, и дома́, деревья, площади и улицы толпой ломились в его мозг, отплясывая, как на картинах Сутина[2], сумасшедший хищный чарльстон.

Крутя руль, как штурвал корабля, то в ту, то в другую сторону, он ухитрился прошмыгнуть между двумя дремлющими гиппопотамами-"универсалами", чьи ленивые глаза-фары едва виднелись над поверхностью асфальтовой реки, между этими гигантскими млекопитающими, чьи погонщики, сладкоречивые коммивояжеры, в поисках охотничьих трофеев мотались по провинции, то останавливаясь в туземных поселках, то взбираясь на помосты, покрытые псориазными пятнами ржавчины, вокруг которых старички, опираясь на палки, с авторитетным видом сплевывали между грубых кожаных сапог, и влился в нескончаемый всхлипывающий муравьиный поток автомобилей, регулируемый равнодушным

1. Первая фраза из рассказа американского писателя Германа Мелвилла (1819–1891) "Писец Бартлби".
2. Хаим Соломонович Сутин (1893–1943) – французский художник парижской школы, уроженец Минска.

миганием светофоров. Ярко-зеленый был похож на цвет радужек старшей дочери, когда она радостно улыбалась из-под взлохмаченной светлой челки, маленькая ведьма, оседлавшая вместо метлы деревянную зебру карусели, и все скакавшая, скакавшая на ней в бешеном восторге. Психиатру представлялось тогда, будто она гораздо старше, чем на самом деле, и он, облокотившись на железные перила и меланхолически отсчитывая деньги за очередной билет кассиру, ощущал себя престарелым рыцарем, запутавшимся в собственных кальсонах, на пути к близкому финалу в виде рака простаты и последнего в жизни катетера — аттракционам, так часто кладущим конец множеству безвестных судеб.

Мотор чихал и задыхался: бесконечная вереница капотов еле двигалась вперед рывками по страдающей несварением проезжей части, тем временем доктор на ходу высматривал среди лауреатов премии виконта ди Валмора в стиле барокко, монастырей Жеронимуш в миниатюре, скрывавших в чреве династии полковников запаса и ярких громогласных восьмидесятилетних полковничих, дом, где вел прием его дантист; психиатр по пятницам работал только до обеда, так что старался обставить пустой туннель безразмерных выходных мелкими второстепенными занятиями, как в свое время его тетушки, вооружившись четками, добрым словом и мелкими монетами, заполняли удобное утреннее время посещением тех, кого они с гордостью именовали “наши подопечные”, покладистых бедняков, которым неуемный жупел коммунизма не внушил еще сомнений в непорочности девочки-святой, отучавшей их собратьев материться. Будущий врач иногда сопровождал теток во время этих жутковатых благотворительных рейдов (“Не подходите к ним близко: еще подхватите заразу!”), от которых сохранил мучительное воспоминание об остром запахе голода и нищеты и о паралитике, ползающем в грязи между бараками и тянущем руку к тетушкам, твердо обещавшим ему, потрясая в воздухе молитвенниками, вечное блаженство при условии безграничного почтения к нашему фамильному серебру.

По возвращении домой будущий психиатр, в свою очередь, получал урок Закона Божьего (“Молитесь, дитя, чтобы не было революции: этот народец вполне способен перебить нас всех, как мух”), ему объясняли, что Бог, существо по определению консервативное, обеспечивает институциональное равновесие, одаривая тех, кто не имеет прислуги, эффективной скоротечной чахоткой, освобождая их от ежедневной монотонной работы по дому и приливов в начале менопаузы, тех мучительных моментов, когда, внезапно

густо покраснев, тетушки вынуждены были со стыдом вспоминать о том, что и у них под юбкой имеются, хоть и придушенные, однако все еще теплящиеся сексуальные потребности. И тут ему вспомнилось, что, когда он начал мастурбировать, мать, озадаченная, пошла показывать мужу пятно на трусах, после чего будущий психиатр получил официальное приглашение в отцовский кабинет, в домашнюю святая святых, где отец вечно изучал, посасывая трубку, загадочные болезни по немецким книгам. Вызовы в кабинет сами по себе были наиболее торжественными и страшными эпизодами его детства, так что он просачивался в монаршие покои, заложив руки за спину, причем язык сам принимал форму, удобную для извинений, сердце при этом колотилось, как у теленка, посланного на убой. Отец, писáвший что-то, примостив доску на коленях, бросил на него косой строгий взгляд, похожий на черное платье, из-под которого виднеется как знак тайного понимания краешек кружевной нижней юбки, и красивым глубоким голосом, каким он декламировал детям, когда те валялись с ангиной, сонеты Антеру[1], присев на край кровати с книгой в руке, произнес торжественно, будто проводил обряд инициации:

— Будь аккуратнее и не забывай мыть руки.

И только тогда, подумал врач, он впервые физически ощутил, что и отец тоже был когда-то молодым и ему, тому самому, в чье серьезное, худое, будто выточенное лицо, в чьи светящиеся карие глаза сын сейчас всматривался, в свою очередь приходилось сталкиваться с тоскливой неизбежностью перехода от метаморфоза к метаморфозу по пути к идеальному насекомому, в которое так и не суждено перевоплотиться. Я не справлюсь, не справлюсь, не справлюсь, твердил он про себя, стоя на ковре в отцовском кабинете и созерцая строгий силуэт отца, склонившийся над бумагами сосредоточенно, будто вышивальщица. Будущее представлялось ему жадной и мрачной соковыжималкой, готовой засосать его тело в свою ржавую горловину, путешествием кувырком по сточным канавам к безысходному морю старости, оставляющему на песке во время отлива зубы и волосы как свидетельства отнюдь не величавого возраста патриарха, а бесславного одряхления. Портрет матери улыбался с полки меланхоличе-

1. Антеру Таркиниу ди Кентал (1842–1891) — португальский лирик, публицист, основатель португальской секции первого Интернационала. Одна из его книг так и называется — “Сонеты”.

скими розовыми отблесками, как будто радостное солнечное утро с трудом пробивалось сквозь витражную смальту ее губ: она ведь тоже не справилась, не в силах выбрать между корзинкой с вязанием и романами Эсы, одиноко забившись в уголок дивана, погруженная в загадочные размышления; да, возможно, и с остальными, с оставшейся частью семейной стаи, произошло то же самое, все они остались одинокими, если не вовсе всеми покинутыми, безнадежно отрезанными от мира пропастью отчаяния. Он будто вновь увидел деда на веранде дома в Нелаш в те вечера, когда закат тянет по горам лиловый туман из экранизаций Библии, увидел, как дедушка созерцает каштаны с горечью адмирала, замершего на мостике тонущего корабля, увидел вновь бабушку, шагающую туда-сюда по коридору, сжигаемую лихорадкой никому не нужной энергии, увидел дядюшек, задавленных повседневностью, вспомнил вялое смирение гостей, услышал молчание, внезапно прерывавшее разговоры, увидел, как в эти мгновения все испуганно дергались, ерзали, пораженные невысказанным ужасом. Кто же справился, вопрошал сам себя врач, пытаясь припарковать машину у кабинета дантиста и наконец пристроив ее задом к шелудивой бакалейной лавке, удушенной вместе со своими рисом и картошкой гигантским супермаркетом, предлагавшим портясенным покупателям заранее пережеванную американскую пищу, упакованную в целлофановый голос Энди Уильямса, вырывающийся клубами соблазнительного пара из расставленных повсюду с хитрым расчетом громкоговорителей, кто же умудрился явить себя себе идеальным румынским гимнастом, застывшим в воздухе во время упражнения на кольцах, роняя хлопья талька из тарзаньих подмышек? Возможно, я мертв, подумал он, почти наверняка, я умер, и ничего важного со мной уже не случится, гангрена жрет внутренности, в голове — пустота, а там наверху, над землей, мягкая рука ветра шелестит в тщетных поисках не пойми чего кронами кипарисов, будто перелистывая мятую газету.

В прихожей у дантиста в полутьме незримо парило жужжание бормашины, готовое жадной мухой спикировать на сладкий сахарок зазевавшегося зуба. Худая и бледная регистраторша, похожая на страдающую гемофилией графиню, протянула ему через стойку прозрачные пальцы:

— Что у нас хорошенького, сеньор доктор?

Она принадлежала к особой разновидности португальцев, переплавляющих события жизни в пугающую цепь уменьшительно-ласкательных суффиксов: так на прошлой неделе врач был буквально раздавлен подробнейшим рассказом о гриппе ее сына, маленького извращенца, любителя по-

играть со штекерами хозяйского телефонного коммутатора, направляя в Бостон или Непал стоны боли от лиссабонских абсцессов:

– Бедняжечка страдал животиком, я ему градусничек под мышечку, а глазики у малышечки вот такусенькие от воспаленьица, целую неделю сидел на куриных бульончиках, я даже думала позвонить вашему папочке, сеньор доктор, в таком возрасте никогда не знаешь, не отразится ли это на головке, но уже, слава Богу, идет на поправочку, я обещала поставить свечечку Святой Филомене, а сейчас оставила его в кроватке, он там сидит спокойненько и играет в телефонисточку: раз уж здесь не может отвечать на звоночки, делает вид там, что отвечает, вот только что инженер Годинью, такой полненький симпатичный господин, звонил, что его, мол, беспокоит зуб мудрости, и очень удивился, что не слышно моего Эдгарушечки, он так к нему привык, даже вот прямо и говорит мне: дона Делмира, а мальчик-то где? А я ему: волей Божьей через недельку будет тут как тут, сеньор инженер; не потому что он мой сынок, мне даже неудобно из-за этого, но вы не представляете, как он ловко управляется с наушниками, когда вырастет, точно устроится в Радиокомпанию Маркони, моя сестра так и говорит: никого не видала, кто как Эдгар Филипи (она его называет Эдгаром Филипи, потому что его так зовут: Эдгар по отцу и Филипи по крестному), так вот она говорит: Никого не видала, кто так ловко, как Эдгар Филипи управляется с коммутатором, и это правда, моя сестрица замужем за электриком, и тут ее не проведешь, только бы, Боже и Пресвятая Богородица, грипп не дал ему осложнения на ушки. Но я даже думать об этом не хочу, а то мне плохо станет, вот видите: эффортил принимаю, меня доктор из поликлиники предупредил: сеньора, следите за давлением, с почками у вас все в порядке, но за давлением следите, так что вот вам, доктор, талончик на следующую пятницу.

Подобные речи, смахивающие на сувенирные каравеллы, сплетенные из филиграни, подумал психиатр, приводят меня в такой же восторг, как кружевные напероны и расписные карусели — амулеты народа, агонизирующего среди пейзажа, состоящего из сплошных кошек на подоконниках и подземных писсуаров. Сама река астматически, а отнюдь не величаво вздыхает из глубины отхожих мест: обогнув мыс Бохадор, море непоправимо разжирело и стало ручным, как собаки консьержек, трущиеся о наши щиколотки с раздражающей покорностью кастратов. Опасаясь нового потока жалоб на нездоровье, врач скрылся в глубине пещеры-приемной, подобно крабу, убегающему от настойчивого ловца морских де-

ликатесов. Там стопка миссионерских журналов под железной кованой лампой, изливающей мутный свет своим скошенным глазом, гарантировала ему безгрешный покой за чтением отче наш на языке зулу. Примостив свои кости на изрядно потертом сотнями или тысячами предыдущих носителей кариеса черном кожаном сиденье, этаком коне, забальзамированном в форме стула, однако еще способном на пару-тройку неловких антраша, он выудил из стопки благочестивой периодики остатки еженедельника со смеющейся монахиней-мулаткой на обложке, где священник-шотландец в длинной статье, иллюстрированной фотографиями зебр, повествовал об успешной христианизации племени пигмеев, двое из которых, диакон М'Фулум и субдиакон Т'Локлу, работают в настоящее время в Ватикане над революционной диссертацией, в коей приведут расчет реальной высоты Ноева ковчега, исходя из средней длины шеи жирафы: этно-теология ниспровергает катехизис. Скоро какой-нибудь каноник из Саудовской Аравии станет доказывать, что Адам был верблюдом, змей — движущимся конвейером, Бог-Отец — шейхом в очках "Рэй-Бэн", погоняющим стадо ангелов-евнухов не вылезая из своего шестидверного "мерседеса". Иногда психиатру казалось, что Ага Хан[1] на самом деле и есть воплощение Христа, отыгрывающегося за крестные муки скоростным спуском на лыжах со швейцарских вершин в компании Мисс Филиппины, а истинные святые — это загорелые парни, рекламирующие "Ротманс-Кинг-Сайз", застыв в мужественных позах ветеранов эротического фронта. Он мысленно сравнил себя с ними, и воспоминание об отражении, которое он время от времени внезапно ловил в зеркалах кондитерских, отражении тощего, хилого типа, слегка даже забавного, заставило его в миллионный раз с горечью вспомнить о своем земном происхождении, и, следовательно, бесславном будущем. Упорная нудная боль терзала его челюсть. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным, вынужденным играть в какие-то безумные шахматы по неведомым ему правилам. Срочно требовалась нянька, которая учила бы его ходить, нависая над ним щедрыми горячими сосцами капитолийской волчицы, затянутыми в шелковистый розовый бюстгальтер. Никто и ни-

1. Принц Карим Ага-хан IV (р. 1936) — духовный лидер, имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов, мультимиллионер, основатель курорта Порто-Черво. В 1964 г. принимал участие в горнолыжных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Инсбруке.

где не ждал его. Никто о нем особенно не беспокоился. И черный кожаный стул нес его, как плот после кораблекрушения, по пустынному городу.

Эта ошеломляющая уверенность в том, что кругом ни души, посещавшая его чаще всего по утрам, когда он мучительно сгребал сам себя в кучу вязкими и склизкими движениями астронавта, очнувшегося по возвращении со звезд в двух метрах от сбитых в комок простыней, слегка ослабла при звуке шагов из коридора и слов приветствия от бледной жертвы гемофилии ("Добрый день, барышня Эдит, боюсь, вам придется немнжечко подождать в приемной"), доносившихся из ее каморки с интонацией слезной мольбы, подобной заунывному чтению Корана за решетчатым окошком мечети. Оторвав взгляд от благочестивых пигмеев, постигших свет христианства на поучительном примере жития святого Алоизия Гонзаги, он узрел юную блондинку, которая подошла и села на стул — точную копию его стула, только по другую сторону лампы, и, сначала искоса бросив на врача быстрый и проницательный оценивающий взгляд, как бы лизнув языком прожектора, остановила на нем ясные глаза и захлопала ресницами, как горлицы хлопают крыльями, пристраиваясь в локтевом сгибе статуи. В доме напротив какая-то толстуха вытрясала половик, протиснувшись между зарослями гераней, а ее сосед сверху, сидя в одной майке на складном брезентовом табурете посреди балкона, уткнулся в газету с новостями спорта. Было четверть третьего. Блондинка достала из сумки книгу из серии "Вампир", заложенную билетом на метро, скрестила ноги, как лезвия ножниц, и свод ее стопы выгнулся, как у балерин Дега, застывших в мгновенно-извечном движении и окутанных ватным паром нежности художника: у летучих существ всегда найдется восторженный почитатель.

— Привет, — сказал врач таким тоном, каким Пикассо обращался, должно быть, к своей голубке.

Брови блондинки двинулись навстречу друг другу и сошлись, образовав фигуру, напоминающую очертаниями крышу беседки, которую слегка задевают, подобно ветвям платанов, непослушные пряди:

— Это случилось в те давние времена, когда зубная боль умела говорить, — сказала она.

Тембр голоса у нее был такой, каким представляется голос Марлен Дитрих в юности.

— У меня ни один зуб не болит, потому что все вставные, — сообщил врач. — Я просто пришел заменить их на акульи, чтобы сподручнее было заглатывать рыбок из аквариума крестной.

— А я пришла убить дантиста, — заявила блондинка. - Только что в конторе у Перри Мейсона мне подсказали, как провернуть это дело.

В школе ты наверняка мгновенно щелкала квадратные уравнения, решил психиатр, опасавшийся прагматичных женщин: его вотчиной всегда был смутный блуждающий сон или мечта, которую не расчислишь с помощью таблицы логарифмов, он с трудом мог свыкнуться с идеей геометрической упорядоченности жизни, и оттого чувствовал себя заблудившимся и растерянным муравьем без компаса. Отсюда его ощущение, что дни ползут в обратном порядке, как старинные часы, чьи стрелки движутся в обратную сторону, пытаясь оживить покойников с портретов, становящихся все отчетливее с каждым возвращенным часом. Бороды дедушек из Бразилии торчали из семейного альбома, юбки с кринолинами топорщились в ящиках, набитых фотографиями, кузены в гамашах вели светские беседы в гостиной, сеньор Барруз-и-Каштру необыкновенно выразительно декламировал стихи Антониу Гомеша Леала[1]. Сколько мне лет? — спросил сам себя врач, приступая к очередной самопроверке, позволявшей ему кое-как разобраться с внешним миром, этой вязкой субстанцией, в которой тонули его растерянные шаги. Дочери, удостоверение личности и работа в больнице еще привязывали его к повседневности, но такими тонкими нитями, что он парил, как семечко одуванчика, готовое улететь прочь с каждым порывом ветра. Расставшись с женой, он потерял опору и направление: брюки болтались на поясе, на воротничках не хватало пуговиц, он постепенно становился похожим на бродягу, в тщательно выбритой бороде которого угадывался пепел прошлой достойной жизни. В последнее время, глядя на себя в зеркало, он стал замечать, что знакомые черты — и те его покидают: на месте мимических складок от улыбки он замечал морщины отчаяния. Лба на лице становилось все больше и больше, так что скоро впору будет делать пробор у самого уха и зачесывать на лысину липкие от фиксатуара пряди в смешных потугах выглядеть моложе. Внезапно он вспомнил ностальгический вздох матери:

— Мои сыновья все такие красивые лет до тридцати.

И ему отчаянно захотелось вернуться к началу, на старт, где обещания победы не просто уместны, но категорически при-

1. Антониу Дуарте Гомеш Леал (1848–1921) — португальский поэт-декадент и литературный критик.

ветствуются: область вовеки неосуществленных планов всегда казалась ему родиной, родным кварталом, домом, в котором он знал на память каждый уголок, каждую скрипящую доску.

– Хотите, вечером поужинаем вместе? – спросил он у блондинки, совершенствующей свои преступные замыслы, опираясь на бездарную дедукцию Перри Мейсона – мастера выстраивать перед ошеломленным судьей силлогизмы, исполненные непробиваемой тупизны.

Гемофиличка позвала его из коридора; он поспешно записал номер телефона на странице, вырванной из миссионерского журнала, на которой ризничие-каннибалы с явным аппетитом причащались плоти и крови Христовой ("В семь? В полвосьмого? В полвосьмого вернетесь из парикмахерской?) и направился в кабинет дантиста, воображая ляжки блондинки, небрежно раскинутые на простынях в приятной истоме после жаркой любви, веснушчатый лобок, запах кожи. Садясь в пыточное кресло, окруженное устрашающими инструментами: сверлами, крюками, зондами, щипцами, искусственными челюстями на тарелке, – он предавался возбуждающим фантазиям о ее квартире: ковры на полу, книги, распространяемые "Кружком книголюбов"[1], на полках, плюшевые игрушки, которые помогают иным женщинам возвращать себе иллюзорную невинность, фотографии в память о невозвратно почивших романах, подруга в очках и с угреватой кожей, обсуждающая проблемы левого движения, антибуржуазно затягиваясь сигаретой "Три двадцатки". В припадке женоненавистничества врач имел обыкновение классифицировать женщин по сорту потребляемого ими табака: дама породы неконтрабандного "Мальборо" читает Гора Видала, лето проводит на Ибице, душек Жискара д'Эстена и принца Филиппа "так бы и съела", интеллект представляется ей неким досадным недоразумением; дама разряда контрабандного "Мальборо" интересуется дизайном, бриджем и Агатой Кристи (на английском), посещает бассейн с морской водой в гостиничном комплексе Мушашу и считает культуру довольно забавным феноменом, особенно в сочетании с игрой в гольф; представительницы же племени, курящего "СГ-Гигант", обожают Жана Ферра[2], Трюффо и "Нувель обсерватер", голосуют за социалистов и поддерживают с мужчинами одновременно свободные и иконоборческие отношения; у представительниц класса "СГ" с фильтром на стене висит портрет Че Гевары, духовной пищей

1. Существующий с 1971 г. клуб и одновременно книготорговая сеть.
2. Жан Ферра (1930–2010) – французский композитор и поэт-песенник.

им служат труды Райха[1] и журналы, посвященные дизайну интерьера, они не могут уснуть без снотворного, выходные проводят в кемпинге у озера Албуфейра за тайными переговорами о создании марксистского кружка; женщины в стиле "Легкие португальские" не красятся, коротко стригут ногти, изучают антипсихиатрию[2] и мучаются тайной страстью к уродливым авторам-исполнителям песен протеста в расстегнутых до пупа рубахах в стиле рыбаков из Назаре, которые горой стоят за социальную справедливость, имея о ней довольно схематичное представление, и, наконец, девицы-люмпены, курящие самокрутки, изнемогающие под песни "Пинк Флойд" в исполнении проигрывателя на батарейках, стоящего на земле около мотоцикла "Сузуки" случайного приятеля, подростка, с рекламой амортизаторов "Кони" на спине клеенчатой куртки. Особняком в этой поверхностной таксономии стояла группа пользующихся мундштуком: то были дамы в менопаузе, хозяйки бутиков, антикварных лавок и ресторанов в Алфаме, позвякивающие марокканскими браслетами и переходящие прямо из объятий салонов красоты в руки кавалеров, либо слишком молодых, либо слишком старых, лелеющих их меланхолию и исполняющих любые прихоти в дуплексах на Кампу-ди-Орики, наполненных голосом Лео Ферре[3] и уставленных фигурками работы Розы Рамалью[4], где лампы, предусмотрительно повернутые в сторону, погружают увядшие груди в спасительный целомудренный полумрак. Ты, мысленно обратился психиатр к жене, в то время как дантист, сей саркастический Мефистофель, поворачивал в его сторону беспощадно бьющую в глаза лампу, более годную для освещения боксерского ринга, ты, подумал он, умудрялась не подставляться под мои насмешки, под мою иронию, маскирующие нежность, которой я стесняюсь, и любовь, которая пугает меня, возможно ты просто с самого начала догадалась, что за вызовом, за агрессивностью, за надменностью прячется отчаянный призыв, вопль слепого, сверлящий взгляд глухонемого, который не слышит, но пытается угадать по губам окружающих слова утешения, так

1. Вильгельм Райх (1897–1957) – австрийский и американский психолог, один из основоположников европейской школы психоанализа. Идеи Райха оказали влияние на "новых левых" на Западе.
2. Антипсихиатрия – международное движение и теоретические концепции, сформировавшиеся на фоне социальной нестабильности в начале 60-х гг. XX в. и представлявшие радикальную оппозицию психиатрии; антипсихиатрия направлена на демифологизацию, разоблачение и радикальную перестройку современной психиатрии как массовой формы насилия.
3. Лео Ферре (1916–1993) – франко-итальянский поэт, переводчик, певец и композитор.
4. Роза Рамалью (1888–1977, наст. имя Роза Барбоза Лопеш) – португальская керамистка, знаковая фигура в португальском народном творчестве.

нужные ему. Ты всегда приходила без зова, всегда утоляла мою боль, мой страх, мы вырастали бок о бок, учась друг у друга причащаться одиночества на двоих, как когда я уезжал под дождем в Анголу, а твои сухие глаза — камни, вобравшие в себя эссенцию любви, — молча смотрели мне вслед. И он как будто вновь пережил послеобеденные часы в Маримбе, под огромными манговыми деревьями, на которых несметные полчища летучих мышей дожидались ночи, повиснув вверх тормашками, как плотоядные зонтики (мышиными ангелами называла их одна знакомая), и вновь увидел старшую дочь, только-только научившуюся ходить, которая спотыкалась о нас, хватаясь за стены. Мы не приспособлены для испытаний, решил психиатр в тот миг, когда дантист вешал ему аспиратор в уголок рта, мы плохо выдерживаем испытания и чаще всего с появлением первых затруднений спасаемся бегством, побежденные еще до боя, тощие псы, мелкой рысью шныряющие у задней лестницы отеля в надежде утолить голод. Жужжание сверла вернуло его к неизбежности боли, и, когда это крошечное произведение фирмы "Блэк-энд-Декер" коснулось его коренного зуба, он вцепился обеими руками в подлокотники кресла, втянул живот, зажмурился и, как делал всегда в преддверии боли, прилива тоски или бессонницы, вообразил себе море.

* * *

Улица с одним ярко освещенным и другим затененным тротуаром походила на хромого в разных ботинках. Врач задержался на крыльце дантиста, пощупал ноющие челюсти, чтобы убедиться, что от глаз и ниже он по-прежнему существует: с тех пор как увидел в Африке глаза крокодила, плывущего по течению в надежде наткнуться на какую-никакую заблудшую плоть, он боялся выпрыгнуть из себя и поплыть, лишившись балласта внутренностей, мимо слепых аккордеонистов, вносящих ноту фальши в каждый перекресток, играя на своих ревматических инструментах Шопена в ритме пасодобля. Этот город, его город, своими площадями и проспектами являл ему всегда бесконечно изменчивое лицо капризной любовницы, с конусообразными тенями угрызений совести, ползущими из-под деревьев. Ему случалось внезапно наткнуться на статую Нептуна посреди мелкого озерца, как пьяный, выйдя из-за фонарного столба, внезапно утыкается в жесткий подбородок сурового полицейского, чей культурный багаж пополняется исключительно грамматическими ошибками начальника отделения. Все статуи показывали пальцем в сторону моря, призывая отправиться в Индию или тихо утопиться, смотря по состоянию духа и по уровню готовности к приключениям, накопленному в детстве: врач смотрел на буксиры, похо-

жие на грузчиков, толкающих перед собой огромные танкеры пианино, и мысленно передавал им право на физические и духовные усилия, от которых отказался, забившись внутрь самого себя, как старый эскимос, брошенный во льдах и ничего не чувствующий, кроме поселившегося внутри него северного сияния. Вернувшись с войны, врач, привыкший жить в лесу или среди подсолнуховых плантаций, привыкший к тому, что для африканцев время — это вечность и терпение, когда минуты, вдруг становятся растяжимыми, превращались в недели спокойного ожидания, вынужден был ценой мучительных усилий приспосабливаться, вновь привыкать к украшенным изразцами домам, убеждая себя, что именно так выглядят его родные пенаты. Бледность лиц заставляла его диагносцировать коллективную анемию, португальский язык без акцента казался ему не менее унылым, чем рабочий день письмоводителя. Вокруг него толклись субъекты, полупридушенные власяницами галстуков, постоянно болтающие о каких-то сводящих скулы пустяках: бог Зомби, властелин Судьбы и Дождей, не стал переходить вслед за ним экватор, подавшись очарованию континента, где даже смерть окрашена в цвета ликующих триумфальных родов. Утратив Анголу и не обретя вновь Лиссабона, психиатр чувствовал себя сиротой вдвойне, и эта безродность-бесплеменность мучительно длилась и длилась, потому что многое поменялось за время его отсутствия: на улицах стали вдвое чаще толкаться локтями, телевизионные антенны на крышах распугали голубей и прогнали их в сторону реки, обрекая на участь чаек, неожиданные морщины придавали ртам тетушек выражение разочарованных Монтеней, обилие семейных новостей отправляло его в какие-то доисторические главы фамильного сериала, из которого он знал только страницы, посвященные эпохе палеолита. Кузены, которых он оставил в коротких штанишках, бурчали себе в пробивающиеся бороды что-то куда более бунтарское, чем когда-либо приходило в голову ему, отмечались годовщины смерти родственников, которых он оставил увлеченными коллекционированием облигаций Казначейства — занятием, выросшим из детской привычки собирать блестящие крышечки от бутылок: словом, похоже было, что в его лице вернулся в этот мир брат Луиш ди Соуза[1], только почему-то в пиджаке.

1. Мануэл ди Соуза Коутинью, известный под монашеским именем брат Луиш ди Соуза (1555–1632) — классик португальской литературы. Стал писателем только после принятия монашеского сана (в 1613 г.). Много путешествовал, был в плену в Алжире, где познакомился с другим пленником — Мигелем де Сервантесом, жил в Испании, несколько лет провел в Латинской Америке.

Так что в свободные вечера, оседлав маленький исцарапанный автомобиль, он методично возобновлял знакомство с городом, район за районом, церковь за церковью, при этом паломничество всегда заканчивалось на Скале Графа Обидуша, откуда началось когда-то его путешествие навстречу вынужденным приключениям, и до сих пор с графом его связывало, несмотря ни на что, почтительно-мазохистское дружеское чувство, какое питают обычно жертвы к палачам на пенсии. Кабинет дантиста располагался в ничем не примечательной, как диета при гепатите, части города, где продавцы цветов расставляли на тротуарах корзинки со своей агонизирующей весной, отчего в воздухе веяло похоронами, и это напомнило ему тот поздний вечер, когда он зашел поужинать во французский ресторан неподалеку от замка Святого Георгия, где при виде цен рука сама тянулась к пилюлям от изжоги, стихавшей, впрочем, стоило только отведать нежное филе миньон. Был июнь — месяц празднеств в честь народных святых[1], и Лиссабон напялил карнавальный костюм в мистическо-богохульном стиле, как если бы голая женщина увешалась стеклянными драгоценностями: отзвуки маршей клокотали в водостоках, нотариусы в приступе загробного веселья наводнили Алфаму, копируя жесты Дракулы. Площадь, где был ресторан, нависавшая над рекой наподобие цепеллина, застроенного низкими домишками, корчащамися от колик, как на картинах Сезанна, поросла деревьями, вобравшими в себя немыслимое количество мрака, теней, которыми ветер бренчал, как мелочью в кармане, как монетами ветвей и листьев, чреватых спящими птицами. Англичане, тощие, как восклицательные знаки, неторопливо высаживались из такси, двигатели которых раздраженно ревели, будто почуяв в себе призвание работать на рыболовных траулерах. Сквозь кружево шума проглядывала, как предчувствие, вогнутая сеть тишины, той самой угрожающей тишины, которая живет в унаследованном от детских приступов паники опасении, внушаемом темнотой, и психиатр, заинтригованный, принялся искать взглядом ее источник от окна к окну, пока не обнаружил на нижнем этаже распахнутую дверь в пустую комнату, без картин, без занавесок, меблированную одним только гробом под черным сукном, стоящим на двух скамейках, да женщиной средних лет со слезами, застывшими на щеках — воплощением персонажа “Броненосца Потемкина”, трагической статуей горя.

1. Народные святые — Святой Антоний, Святой Иоанн и Святой Петр; все праздники в июне.

Возможно, это и есть жизнь, думал врач, перепрыгивая через корзину хризантем, чтобы оказаться около своей машины, тонущей в цветах, как труп командора: в центре — покойник, а вокруг — празднество в честь Святого Антония, карета скорби, окруженная веселым водоворотом жареных сардин и фейерверков, и обнаружил, что зубная боль пробудила в нем презренные образы "Модаш и Бордадуш"[1], которые и составляли истинную суть его души: стоило ему опечалиться, и они воскресали в нем как ни в чем не бывало: дурной вкус, вера в муки Христовы и желание примоститься, как кенгуренок в сумке, на коленях у кого угодно — вот подлинные материалы, вылезающие наружу, едва поскребешь тонкий лак снобизма. Он завел мотор, чтобы покинуть остров золотистых лепестков, из-под которых вынырнул с кривошипно-шатунным всхлипом, как дельфин из озера, и спустился к площади Мартина Мониша[2], разбрасывая растения, как Венера Ботичелли, вновь воплощенная поэтом Сезариу Верде: "Мир чувств западного человека" был отчасти его нижним бельем, кальсонами александрийского размера, никогда не снимаемыми, даже в жаркие минуты случайной связи.

Проспект Алмиранти Рейш, вечно серый, дождливый и грустный под июльским солнцем, размеченный, словно бакенами, продавцами газет и инвалидами, трусúл, прихрамывая, в сторону Тежу между двумя деснами пораженных кариесом зданий, как опаздывающий господин в новых ботинках спешит к трамвайной остановке. Предприимчивые ребята, настороженно зыркая по сторонам, активно впаривали контрабандные часы посетителям открытых кафе, где чистильщики обуви, скорчившиеся на деревянных подобиях ночных горшков, создавали неожиданно детсадовскую атмосферу. В гигантских обеденных залах, похожих на бассейны без воды, одинокие безработные, застыв в терпеливых позах, дожидались Страшного суда перед доисторическими кружками пива и гренками третичного периода. Парикмахерские, кишащие тараканами, предлагали домохозяйкам с больным воображением неожиданные варианты причесок, к которым пыльные галантерейные лавки готовы были добавить последний штрих в виде кружевного бюстгальтера — грудной москитной сетки, способной путем чудодейственного подъема бюста резко омолодить любую жертву чет-

1. "Модаш и Бордадуш" — журнал, выходивший с 1912-го по 1977-й. Возник как приложение к газете "Секулу", адресованное женщинам. Помимо кулинарных рецептов и публикаций, посвященных моде и рукоделию, там публиковались и литературные произведения.
2. Мартин Мониш (погиб в 1147 г.) — соратник короля Афонсу Энрикеша (1112–1185), участвовал вместе с ним в отвоевании Лиссабона у мавров.

вертьвекового супружеского смирения. Психиатру нравились переулки, питающие эту величавую медленную реку, полную мелких галантерейных лавок и сапожных мастерских простецки-загородного вида, по которой в сторону Байши сплавлялись фрагменты провинциальной вселенной, куски Повуа-де-Санту-Адриан, дрейфующие по Лиссабону, и неожиданно всплывающие пивные, устланные, будто ковром, шелухой от бобов люпина: ему легче дышалось вдалеке от больших магазинов с кассирами-всезнайками, одетыми лучше, чем он сам, и от конных цареубийц, устремленных вперед в бронзовом порыве. В детстве он часами стоял перед угольной лавкой по соседству с родительским домом, где чумазый титан, прессуя уголь в брикеты, грозился отыметь свою жену с грандиозным размахом, и, бывало, во время обеда будущий врач застывал с вилкой в руке, прислушиваясь к глухим отзвукам энергичной любовной схватки: если бы он мог, непременно забаррикадировался бы комодами в стиле королевы Анны и кувшинами с букетами пластмассовых роз, а заболев, попросил бы, чтобы кислород в больнице ему подавали с чесночной отдушкой. На площади Фигейра, где близость чаек угадывается по беспокойству воробьев точно так же, как тень улыбки свидетельствует о неминуемом примирении, зуб окончательно перестал болеть, укрощенный маневрами дантиста, сделавшего его вновь неприметным и анонимным. В этом профессионале бор-машины было что-то от школьного надзирателя, всегда готового посредством хорошей взбучки загнать в рамки любого оригинала. Король Жуан IV, сомнительный герой[1], созерцал пустыми глазницами вереницу веранд, представительств и контор, не способных справиться с атакующей их плесенью, табачным перегаром и влажностью. За каждой стеной угадывались неисправные сливные бачки, в каждом вихрастом подростке — член Ассоциации инвалидов торговли, в каждой женщине-полицейской — безнадежность грядущей менопаузы. Врач добрался до Золотой улицы, очищенной от менял до полной стерильности, прямой, как мысли благочестивого каноника, и направился к стоянке у реки, где всегда прогуливал свое одиночество, ибо принадлежал к типу людей, страдающих не по средствам. Тут на деревянной скамье он, бывало, целыми вечерами читал Марка Аврелия и Эпиктета, заклиная далекую потерянную любовь. Волны по-братски лизали ему собачьими языками ноги, и казалось, что так, начи-

1. Некоторые историки считали короля Жуана IV (1604–1656), при котором произошло освобождение Португалии от власти Испании, не достойным звания героя.

ная от щиколоток, можно смыть с себя всю несправедливость мира.

Он остановил машину около трейлера с немецкими номерами, настолько грязного, что от него явно веяло духом приключений, слегка смягченным уютными занавесочками в горошек, и опустил стекло, чтобы вдохнуть запах ила, стоя в котором по колено, мужчины и женщины собирали наживку в ржавые консервные банки. Жнецы отлива, сказал он сам себе, взращенные фашизмом цапли, длинноногие птицы голода и нищеты. Барабанная дробь крови в венах привела ему на память стихи Софии Андрезен:

Вот люди чьи лица
Умеющие то радоваться
То злиться

То на рабов похожие
То на царей

Заставили возродиться
Надежды и силы мои
И я не боюсь сразиться
Ни с гадюкой ни с коброй
Не устрашусь я в битве
Ни коршуна ни свиньи.

За спиной его грохотали машины, подчиняясь властным взмахам рукавами, которыми со своих цирковых тумб подгоняли их регулировщики, укротители с воздушной пластикой танцоров. Лавки, где торгуют птицами, порхали среди продовольственных и хозяйственных магазинов, в которых связки веников лохматыми плодами свисали с потолка, взмывали прямиком в небо мансарды, отчаянно маша крыльями развешенных между балконами выстиранных рубах, выцветавших на фоне щек-фасадов. Мощное здание Арсенала ощетинилось водорослями, грезя о немыслимых кораблекрушениях. Чуть дальше кладбище расстилало белую скатерть могил, похожих на молочные зубы, над строем деревьев и шпилями церкви: четыре пополудни постепенно созревали на часах, чей бой, казалось, со времен Фернана Лопеша[1] оставался все

1. Фернан Лопеш (между 1380 и 1390 — около 1460) — один из крупнейших хронистов Португалии периода раннего этапа португальских географических открытий. Носил статус королевского хрониста при дворе короля Дуарте I. Автор труда "История Португалии", дошедшего до нашего времени лишь во фрагментах.

таким же: спокойным и размеренным, как мертвая трагедия. Поезда, отходившие от набережной Содре́, влекли в Эшторил первых игроков и последних туристов, норвегов с указательным пальцем, заблудившимся в карте города, улицы и река начали стекаться в единый летний горизонтальный покой, который дымящиеся трубы заводов Баррейру окрашивали в пролетарский пурпур — предвестник заката. Грузовое судно входило в гавань в ореоле прожорливых чаек, и психиатр подумал, как бы рады были дочери стоять в этот миг с ним на этом самом месте, осыпая его дождем нетерпеливых вопросов. Тоска по дочерям постепенно смешалась с тоской, навеваемой обликом перекликавшихся прибрежных жнецов, чьи возгласы долетали до него искаженными и приглушенными, преломленными в воздухе, почти сведенными на нет, низведенными до слабых отблесков эха, из которого ветер ткал звуковые вуали; на спину давил всей своей тяжестью Лиссабон, будто горб из домов, среди которых бродячие псы тщетно вынюхивали метку идеального пекинеса. Крошечные лица дочерей были в его глазах обведены болезненными линиями раскаяния, которые по выходным он тщетно пытался стереть щедрыми подачками и вязкой нежностью, играя роль расточительного волхва, подносящего бесчисленные шоколадки, о которых его не просили. Думая о том, что вечером он не поцелует их сонные физиономии и не пожелает спокойной ночи, что не придет на цыпочках отгонять их ночные кошмары, не будет шептать им на ухо слова любви из секретного словаря утенка Дональда и Белоснежки, что, не обнаружив его утром в постели рядом с мамой, они не удивятся, ведь уже начали привыкать, он чувствовал себя злодеем, совершившим чудовищное преступление: бросившим собственных детей. В будние дни он мог только тайно шпионить за ними, быть Жозе Матиашем этих двух безвозвратно потерянных Элиз[1], шедших другой, своей дорогой, двух крошечных капелек его крови, за которыми он, раздираемый горем, шел, отставая все больше и больше. Наверняка они разочаровались в нем, были ошарашены его дезертирством, и все еще ждали, что он вернется, что они услышат его шаги на лестнице, что он их обнимет, засмеется

1. Жозе Матиаш — герой одноименной повести Эсы де Кейроша, всю жизнь любивший красавицу Элизу издалека. Возлюбленная была замужем, но, когда она овдовела, Жозе Матиаш отказался жениться на ней и предпочел продолжать платонический роман, следить за ней из окна, стоять под дверью, терзаясь ревностью ко второму мужу, а после смерти второго мужа — к любовнику.

знакомым смехом. Кружили по спирали в голове слова отца: жаль мне в этой истории только твоих дочерей, — заряженные сдержанным волнением, в котором угадывалась скрытная любовь, замеченная и оцененная будущим медиком, только когда он вышел из подросткового возраста. Он почувствовал себя злобным ничтожеством, больным животным, запертым в удушающем пространстве настоящего без прошлого и будущего. Надо ж было соорудить из собственной жизни смирительную рубаху, в которой невозможно шевельнуться, надо ж было обмотать себя ремнями недовольства собой, запереть в клетку одиночества, наполнявшего его беспросветной горькой тоской. Где-то часы пробили полпятого: если ехать достаточно быстро, можно успеть к концу школьных занятий, и это будет истинным освобождением, победой радости над тупой усталостью: что-то в нем, что-то, пришедшее из самых глубин памяти, настойчиво уверяло, противореча устрашающему официальному гнету таблицы умножения, что существует где-то некий черный квадрат, то ли на чердаке чердака, то ли в подполе подпола, где дважды два — не четыре.

* * *

Скорчившись между витриной кондитерской и ларем-холодильником с мороженым, рокочущим, будто сонный белый медведь, психиатр наблюдал за воротами школы подобно краснокожему, из засады под скалой подкарауливающему бледнолицых разведчиков. Верного вороного он до этого оставил в трех-четырех сотнях метров у рощи, что в Бенфике, населенной жирными горлицами — этакими модифицированными соколами, приспособленными к выживанию в городской среде, вынуждающей Великого Маниту маскироваться под Христа с картины “Страсти Спасителя” и ползти чуть ли не по-пластунски от платана к платану под недоуменными взглядами бродячих мелочных торговцев, краснокожих братьев, также вступивших на тропу войны, но ограничивающих боевые действия беспорядочным бегством при виде полиции, подхватив подносы со скальпами, замаскированными под кошельки, носки и тесьму. Сейчас, за бруствером из шоколадных пломбиров, обшаривая горизонт близоруким орлиным взором, психиатр подавал сигаретным дымом сигналы, в каждой букве которых отчетливо читалась безмерность его тревоги.

В доме напротив жила в окружении кошек и портретов популярных епископов с их же автографами престарелая тетушка и ее неразлучная слепая на один глаз прислуга — поч-

тенные скво семейного племени, посещаемые на Рождество делегациями скептически настроенных родственников, потрясенных их воинствующим долголетием. Втайне психиатр не мог простить родственницам того, что они пережили бабушку, которую он очень любил и до сих пор вспоминал с нежностью: когда ему было плохо, он шел к ней, входил в комнату и без церемоний заявлял:

– Я приласкаться пришел.

Он клал ей голову на колени, и ее пальцы, прикасаясь к его затылку, усмиряли беспричинный гнев и утоляли жажду нежности. С шестнадцати лет и до сего времени единственными серьезными потрясениями для него стали смерти двух-трех человек, питавших к нему неизменную привязанность, которую не могли разрушить даже его неожиданные выходки. Эгоизм психиатра измерял пульс мира в соответствии вниманием, которое уделил ему мир: о других он вспоминал слишком поздно, когда они уже давным-давно отвернулись от него, утомленные его дурацкой спесью и презрительным сарказмом, маскирующими застенчивость и страх. Лишенный доброты, терпимости и мягкости, он беспокоился лишь о том, чтобы о нем самом беспокоились, и был единственной темой своей заунывной симфонии. Он даже спрашивал друзей, как они умудряются существовать вне его эгоцентрической орбиты, в пределах которой стихи и романы, прожитые, но так и не написанные, тянулись за ним нарциссическим шлейфом, не имевшим никакой связи с жизнью, сотканным из пустых словесных конструкций, из изысканных фраз, не обремененных чувством. Упоенный созерцатель собственных страданий, он мечтал переформулировать прошлое, раз уж не удавалось бороться за настоящее. Трусливый и тщеславный, он не решался прямо взглянуть себе в лицо, понять, что он никчемный труп, начать мучительно учиться быть живым.

Группки матерей – его ровесниц (каковой факт каждый раз несказанно удивлял психиатра, никак не желавшего признавать, что и он стареет) – заклубились у школьных ворот, квохча, как стая несушек, и врач решил было подняться к престарелой тетушке, чтобы оттуда, укрывшись за портретом Кардинала Патриарха[1], похожего на разбогатевшего клоуна, наблюдать за воротами школы с удобной снайперской позиции, стреляя снарядами тоски из обеих усталых

1. Патриарх Лиссабона, наряду с патриархом Венеции и патриархом Иерусалима – один из трех епископов католической церкви, носящих титул патриарха.

глазниц. Но слепое око служанки, которое преследовало бы его от епископа к епископу и от кошки к кошке, просвечивая весь его внутренний мир млечным светом катаракты, заставило его отказаться от проекта “Ли Харви Освальд”: он знал, что ему не по силам выдержать молчаливый допрос, смягченный показной радостью старушек, которые наверняка упорно повторяли бы ему в тысячный раз мучительную историю его появления на свет: ребенок весь фиолетовый, захлебнувшийся собственными выделениями, а рядом — мать с эклампсией. Смирившись и затаившись в траншее у кондитерской, чья кофейная машина с громким ржанием пускала пар из нервных породистых алюминиевых ноздрей, он облокотился об электрический айсберг холодильника, как эскимос о свое иглу и остался ждать рядом с безногим нищим, сидящим на одеяле, протянув руку к коленям прохожих.

Как в Африке, подумал он, точно как в Африке, в ожидании благословенного наступления сумерек в беседке жангу в Маримбе, когда тучи накрывали Камбу, а Байша-ди-Кассанжи наполнялась отзвуками грома. Ожидание сумерек и почты, прибывающей с колонной грузовиков, ожидание твоих длинных влажных писем о любви. Ты, больная, в Луанде, дочь далеко от обоих, и солдат-самоубийца в Манганду, который прилег на койку в казарме, приставил автомат к подбородку, пожелал всем спокойной ночи, и — бац: осколки зубов и костей, впечатавшиеся в цинковый потолок, кровавые пятна, мясо, хрящи и жуткая дыра на месте нижней половины лица; он агонизировал четыре часа, бился в судорогах, как жаба, на кушетке в лазарете, капрал держал над ним керосиновую лампу, бросавшую на стены огромные смутные тени. Манганду, лай дворняг из темноты, скелетообразных собак с ушами как у летучих мышей, ночные небеса с незнакомыми звездами, вождь из Далы и его больные сыновья-близнецы, очередь на прием на ступенях медпункта, вся трясущаяся от малярии, следы укусов, разбухшие от дождя. Однажды после обеда мы сидели у колючей проволоки на плите, вроде могильной, на которой намалеваны эмблемы батальонов, как вдруг откуда ни возьмись на дороге в Шикиту грохочущий американский грузовик, весь в пыли, а там — лысенький человечек, гражданский, один, не агент Пиде, не начальник, не охотник, не член бригады по борьбе с проказой, а фотограф, фотограф со всей своей амуницией и немыслимо старинной треногой, как на пляже или на ярмарке, и давай предлагать всех сфотографировать, по одному или вместе, чтобы послать в письме родным бледные улыбки изгнанников на память о войне. В Маланжи не было детского питания, и наша дочь вернулась в

Португалию бледненькая, желтушная, как все белые в Анголе, ржавая от лихорадки, проспав целый год в казарме в колыбели из пальмовых ветвей рядом с нашими койками; я вскрывал труп на полянке, чтобы не задохнуться от вони, когда меня позвали к тебе: обморок, ты сидела на стуле, сколоченном из обломков старой бочки, я закрыл дверь, присел на корточки рядом с тобой и заплакал, повторяя: до конца дней, до конца дней, до конца дней, уверенный, что ничто не может разлучить нас, морской волной к тебе мое тело стремится, воскликнул Неруда[1], и так было с нами, да и когда я один, когда не могу сказать тебе, то есть говорю, обезумев от любви, но ты не можешь услышать: слишком много ран нанесли мы друг другу, слишком часто терзали друг друга, пытались убить в себе друг друга, и все равно, гигантской подземной волной к тебе, как к берегу, пшеница моего тела клонится, колосья пальцев ищут тебя, стремятся тебя коснуться, цепляются за твои волосы, твои стройные ноги сжимают мой торс, поднимаюсь по лестнице, открываю двери, вхожу, матрас еще хранит мой сонный отпечаток, вешаю одежду на спинку стула, морской волной, морской волной стремится к тебе мое тело.

Тереза, наша помощница по хозяйству, вышла со стороны проспекта Гран Вашку, где листья шелковиц превратили солнце в зеленую аквариумную лампу, рассыпающую рассеянные блестки, так что люди в этом свете, казалось, плыли в расслабленных рыбьих позах, и прошествовала мимо него медленной походкой священной коровы, которая могла бы казаться слишком торжественной, если бы не самая добродушная на свете улыбка. Если уж Тереза меня не застукала, никто не застукает, подумал врач, еще сильнее вжимаясь в айсберг и начиная чувствовать животом гладкую прохладу эмали: еще чуть-чуть, и он просочится сквозь стенку холодильника, кокона, в котором человеческие личинки рискуют превратиться в торт из мороженого “Кассата” – перспектива быть съеденным ложкой во время семейного ужина вдруг показалась ему приятной. Нищий на одеяле, подсчитывавший выручку, решил, что угадал его намерения:

– Если собираешься тибрить, то и мне прихвати рожок. Ванильный, а то язва, чтобы ее черти драли.

Сеньора, увешанная пакетами, выходя из кондитерской, с ужасом покосилась на странную пару бандитов, планирую-

1. Цитата из стихотворения “Так и есть, любимая, сестра моя, так и есть” (1923).

щих дерзкое ограбление холодильника, и тут же бросилась со всех ног в сторону Дамайи, испугавшись, видимо, что они начнут угрожать ей леденцовым пистолетом. Нищий, эстет в душе, восхитился широтой ее бедер:

— Ишь какой бубен. — И добавил автобиографический штрих: — До аварии я каждое воскресенье такой причащался. Девки с Арку-ду-Сегу дешевше полушки, а нынешние-то бляди дороже трески выходят.

Шумная стайка детей появилась у ворот школы — верный знак, что уроки окончены: нищий злобно заерзал на своем одеяле:

— Бессовестная малышня больше ворует, чем подает.

А нет ли, прикинул врач, в этой раздраженной реплике зародыша вечной истины, и эта мысль заставила его взглянуть на соседа иными глазами: скажем, Рембрандт в конце жизни едва ли был намного состоятельнее, и что мешает увидеть Паскаля в сборщике платы за пользование водой? Антониу Алейшу[1] продавал лотерейные билеты, Камоэнс на улице писал письма по заказу неграмотных прохожих, Гомеш Леал испи-сывал александрийским стихом бланки с печатью нотариуса, на которого работал. Десятки гениев, достойных Нобелевской премии, в застиранных джинсах дразнят полицию на демонстрациях маоистов: в наше странное время ум кажется глупостью, а глупость — умной, и, похоже, на всякий случай лучше не слишком доверять ни тому, ни другой, как в детстве ему советовали держаться подальше от подчеркнуто любезных господ в странно блестящих очках, осаждавших мальчиков и девочек у школьного забора.

Бульвар наполнялся ребятишками, которых, как торговцы стаю рождественских индюшек на площади Фигейра, чьи-то руки гнали домой, и врач предался меланхолическим размышлениям о том, как трудно воспитывать взрослых, никак не желающих осознать жизненную необходимость жвачки или коробки пластилина и настолько озабоченных такой идиотской ерундой, как правила поведения за столом, выцарапывающих неприличные надписи на мраморе общественных уборных и ругающих за безобидные каляки карандашом на стене гостиной. Нищий, который без сомнения понял бы и эти, и другие плоды напряженного мыслительного процесса, в это время прятал выручку в карман жилета подальше от загребущих рук учащейся молодежи и разворачивал справку

1. Антониу Фернандеш Алейшу (1899–1949) самый известный португальский поэт из народа, сочинял стихи и куплеты в духе народной поэзии.

о туберкулезе, чтобы склонить на свою сторону колеблющихся благодетелей.

Тут врач в группе девочек, одетых в одинаковые форменные клетчатые юбки, заметил дочерей: старшую, блондинку с прямыми волосами, и младшую с каштановыми кудряшками. Они пробирались сквозь толпу к Терезе, и внутренности отца, вдруг ставшие слишком большими, вздулись грибами нежности. Ему хотелось бежать к ним, схватить их за руки и уйти с ними вместе, как в финале "Большого Мольна"[1] навстречу невероятным приключениям. Будущее, словно снятое камерой "Панавижн" простиралось перед ним, истинное и выдуманное, как волшебная сказка, укутанная голосом Пола Саймона[2]:

We were married on a rainy day
The sky was yellow
And the grass was gray
We signed the papers
And we drove away
I do it for your love

The rooms were musty
And the pipes were old
All that winter we shared a cold
Drank all the orange juice
That we could hold
I do it for your love

Found a rug
In an old junk shop
And I brought it home to you
Along the way the colors ran
The orange bled the blue

The sting of reason
The splash of tears
The northern and the southern
Hemispheres
Love emerges

1. Фильм 1967 г., снятый режиссером Жан-Габриэлем Албикокко по одноименному роману Алена-Фурнье.
2. Пол Фредерик Саймон (р. в 1941) – американский рок-музыкант, поэт и композитор, обладатель трех премий "Грэмми" в номинации "Лучший альбом года".

And it disappears
I do it for your love
I do it for your love[1]

Пока Тереза надевала им на головы красно-белые береты, психиатр заметил, что у младшей с собой любимая кукла, тряпичное существо, с глазами, грубо намалеванными на голом лице, и с разинутым в зловещей лягушачьей гримасе ртом: они спали в кровати вместе и поддерживали сложные родственные отношения, судя по всему, изменявшиеся в зависимости от настроения девочки; я получал о них смутные сведения из отдельных случайно брошенных фраз, заставлявших меня постоянно тренировать воображение. Старшая, отличавшаяся тревожным взглядом на мир, с помощью неодушевленных предметов вела отчаянную битву Чарли Чаплина с грозными шестернями жизни[2], заранее обреченная на героический провал. Скрючившись от пронзивших его колик любви, врач представил себе, будто оформил на дочерей страховку мечтами, проценты за которую вносил колитом и неосуществленными планами, истощавшими его организм, надежда, что они пойдут дальше, чем

1. Мы поженились дождливым днем.
Небо было желтым,
А трава — серой.
Мы подписали бумаги
И уехали.
Все это ради твоей любви.

Комнаты пахли плесенью,
Трубы проржавели.
Всю ту зиму мы делили холод на двоих,
Мы выпили весь апельсиновый сок,
Который могли бы сберечь.
Все это ради твоей любви.

Я нашел плед
В лавке старьевщика
И принес его домой к тебе,
По дороге он полинял,
Оранжевый цвет сочился печальным синим.

Ожог оправданий
Всплеск слез
Северное и южное
Полушария
Любовь появляется

И исчезает
Все ради твоей любви
Все ради твоей любви

2. Один из эпизодов фильма “Новые времена”.

он, наполняла его ликованием первопроходца, верящего, что дочери усовершенствуют жалкий папенов котел[1] его желаний, из трещин в котором струями хлещет горячий пар. Тереза распрощалась с коллегой, стойко выдерживающей атаку малолетнего классового врага, яростно щиплющего ее за голени и обещавшего в будущем превратиться в сурового босса, и направилась вместе с девочками в сторону проспекта-аквариума, с домами, дрожащими в светлой тени деревьев.

The sting of reason
The splash of tears
The northern and the southern
Hemispheres
Love emerges

And it disappears
I do it for your love
I do it for your love

Согбенный, как поэт Шиаду[2] на своем бронзовом табурете, врач мог бы при желании прикоснуться к ним, когда они проходили почти вплотную к нему по пути домой, не сводя завороженных глаз с железного утенка над входом в табачную лавку, которого за несколько мелких монет можно было заставить качаться из стороны в сторону и трястись, как эпилептик. От волнения врач закашлялся, и нищий, повернув к нему свой щетинистый череп, разразился саркастическим смехом:

— Что, заводят тебя? Ну ты проказник.

И во второй раз за день психиатр почувствовал, что ему хочется проблеваться до дна, выблевать весь запас дерьма, которое в нем накопилось.

* * *

Врач пристроил машину на одной из улочек, расходящихся в разные стороны от Шелковичного сада[3], как ножки насекомого, у которого вместо панциря трава и деревья, и отпра-

1. Герметичный котел с клапаном, изобретенный французским физиком Дени Папеном (1647–1712).
2. Антониу Рибейру по прозвищу Шиаду (1520?–1591) — поэт-сатирик, современник Камоэнса. Прозвище получил по названию улицы в Лиссабоне, на которой жил. Памятник поэту Шиаду выполнен в виде сидящей, сильно наклонившейся вперед фигуры.
3. Неофициальное название сада имени Марселину Мешкиты, португальского драматурга конца XIX — начала XX вв.

вился в бар: у него было еще два часа до сеанса психоанализа, и он подумал, что, может быть, удастся отвлечься от себя, наблюдая за другими, особенно за той категорией других, которые разглядывают свое отражение в рюмке виски, вечерних рыб алкогольного аквариума, для кого кислородом служит двуокись углерода из пузырьков газировки "Каштеллу". Интересно, чем — думал он — вечерние завсегдатаи баров занимаются по утрам? И решил, что с уходом ночи пьяницы, должно быть, испаряются и рассеиваются в разреженной дымной атмосфере, как джинн из лампы Аладдина, а как только начинает смеркаться, вновь обретают плоть, улыбку и неторопливую мимику анемоны, руки-щупальца тянутся к первой рюмке, опять включается музыка, жизнь встает на привычные рельсы и крупные фаянсовые птицы пускаются в полет над ламинатными небесами печали. Каменные арки изогнулись над садом, словно брови, изумленные своим соседством с анархией и путаницей людского муравейника на площади Рату, и психиатру почудилось лицо, которому несколько сотен лет, удивленно и серьезно созерцающее затерянные между деревьями качели и горку, на которых врач ни разу не видел ни одного ребенка, такие же с виду заброшенные, как карусели с мертвой ярмарки: он не смог бы объяснить причину, но Шелковичный сад всегда представлялся ему воплощением одиночества и глубочайшей меланхолии, даже летом, и впечатление это преследовало его с той далекой поры, когда он приходил сюда на час раз в неделю брать уроки рисования у чудаковатого толстяка, чья квартира на втором этаже была вся забита пластмассовыми моделями самолетов: материнская тревога, подумал врач, вечная тревога матери за меня, ее постоянный страх, что в один прекрасный день она увидит, как сын с мешком за плечами бродит по помойкам, собирая пустые бутылки и тряпье, превратившись в профессионального нищего. Мать не слишком верила, что он когда-нибудь станет взрослым ответственным человеком: все, что он делал, она воспринимала как игру, даже за относительной профессиональной стабильностью сына ей чудилось обманчивое затишье перед катастрофой. Она часто рассказывала, как привела будущего психиатра на приемный экзамен в лицей имени Камоэнса и, заглянув со двора в окно класса, увидела, что все остальные ребятишки, склонились над своими билетами, и только психиатр, задрав голову и полностью отключившись от происходящего, рассеянно изучает лампу на потолке.

— И этого мне было достаточно: я тут же поняла, что его ожидает в жизни, — подытоживала мать с победоносно-

скромной улыбкой пророка Бандарры[1], только гораздо более проницательного.

Для успокоения совести, однако, она пыталась бороться с неизбежным, прося каждый год директора сажать ее сына за первую парту "прямо перед учителем", чтобы врач волей-неволей впитывал премудрости разложения многочленов, классификации насекомых и прочую жизненно необходимую информацию, вместо того, чтобы заниматься такой ерундой, как стихи, которые украдкой он писал в тетрадях для изложений. Полный перепетий процесс обучения и воспитания психиатра обрел для нее масштабы изматывающей войны, где обеты Деве Марии Фатимской перемежались с наказаниями, горестными вздохами, трагическими пророчествами и жалобами тетушкам, безутешным свидетельницам несчастья, считавшим, что малейшее семейное потрясение непосредственно касается их. Сейчас, глядя на окно третьего этажа, где обитал учитель рисования, врач вспомнил о своем грандиозном провале на практическом зачете по анатомии, на котором ему дали в руки подернутый тиной сосуд с выкрашенной в красный цвет подключичной артерией, прячущейся среди переплетения прогнивших сухожилий, вспомнил, как у него воспалялись веки от формалина и как, взвесив на домашних кухонных весах все четыре тома Трактата о костях и мускулах, суставах, нервах, сосудах и внутренних органах, торжественно объявил сам себе перед этими шестью килограммами восемьюстами граммами концентрированной научной мысли:

– Хуй мне в рот, если я буду изучать все это говно.

В то время он мучился над созданием крайне слабой поэмы, навеянной "Бледным огнем" Набокова, и верил, что обладает размахом Клоделя периода великих од, смягченным сдержанностью Т. С. Элиота: отсутствие таланта – благодать, как он убедился позднее, только вот трудно бывает с этим смириться. И приняв свою заурядность, поняв, что он обычный человек, иногда позволяющий себе, как куропатка, вспорхнуть в каком-нибудь случайном стихотворении, и спину его не тяготит гигантский горб бессмертия, он почувствовал, что может себе позволить страдать без оригинальничанья, молчать, не окружая себя стеной печальной сосредоточенности, которая ассоциировалась у него с гениальностью.

Психиатр обошел Шелковичный сад, пройдя вдоль пахнущих солнцем домов, впитывающих штукатуркой фруктовый

1. Гонсалу Аннеш Бандарра (1500–1556) – португальский сапожник-пророк, автор стихов, в которых предсказывал приход мессии и превращение Португалии во всемирную монархию.

сок света. На одной стене, где остатки сорванных плакатов болтались, как тряпье на лысом затылке, он прочел надпись углем:

НАРОД
ОСВОБОДИЛ
ТОВАРИЩА
ЭНРИКИ
ТЕНРЕЙРУ[1]

И логотип анархистов внизу: ироничное А, заключенное в круг. Шедший впереди него слепой стучал по камушкам тротуара тростью, будто отбивая ритм неуверенными кастаньетами: мертвый город, подумал врач, мертвый город в гробу из изразцов, ожидающий без надежды всякого, кто еще явится, будь то слепые, пенсионеры, вдовы, Салазар, который, бог его знает, может, и не умер. В больнице, где работал врач, был пациент, алентежанец, серьезный, очень сдержанный сеньор Жоакин, всегда в шляпе с мягкими полями и в идеально чистом и отглаженном комбинезоне, постоянно находившийся на прямой телепатической связи с бывшим председателем Совета министров, которого он почтительно именовал “наш профессор” и от которого получал указания о том, как следует организовать работу государственных учреждений. Он служил в республиканской гвардии где-то в затерянном поселке на равнине, когда в один прекрасный день стал, угрожая ружьем односельчанам, сгонять их на строительство тюрьмы в городе Кашиаш, повинуясь инструкциям, которые ему нашептал на ухо наш профессор. Время от времени психиатр получал письма из родного поселка сеньора Жоакина, подписанные настоятелем местного собора или начальником пожарной бригады, с просьбой ни в коем случае не выпускать на волю этого грозного эмиссара призрака. Однажды врач вызвал сеньора Жоакина к себе в кабинет и сказал ему то, что не осмеливались сообщить санитары:

— Сеньор Жоакин, наш профессор скончался полтора месяца назад. Вот и в газете фотография.

1. Энрики Эрнешту Серра душ Сантуш Тенрейру (1901—1994) — офицер португальского флота, дослужившийся до контр-адмирала, получил известность как один из руководителей Центрального совета Домов рыбаков (профессиональных объединений рыбаков, возникших в период правления Салазара, когда диктатор проводил политику так называемого “Нового государства”). Сразу после Революции гвоздик (1974) попал под суд по обвинению в финансовых нарушениях, был оправдан, уехал в Бразилию.

Сеньор Жоакин выглянул за дверь, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, вернулся в кабинет, наклонился к психиатру и прошептал:

– Это все понарошку, сеньор доктор. Он подсунул им труп двойника, и оппозиция проглотила наживку; ну сами посудите: он вот только минут пятнадцать назад назначил меня министром финансов. Наш профессор переиграет всех.

Салазар, каналья, так ты вообще никогда не помрешь, подумал тогда врач, не зная, как справиться с одержимостью сеньора Жоакина: сколько же еще на свете таких сеньоров Жоакинов, готовых вслепую следовать за бывшим хромым семинаристом с душой скаредной экономки, пересчитывающей мелочь в чулане? На самом-то деле, рассуждал врач, огибая Шелковичный сад, Салазар лопнул, и из его живота выскочили сотни Салазарчиков, готовых продолжать его дело с тупым усердием бездарных учеников, сотни Салазарчиков, сотни кастратов-извращенцев, возглавляющих редакции газет, организующих митинги, плетущих заговоры под юбками своих дон Марий[1] или вопящих в Бразилии о великих достоинствах корпоративизма. И это в стране, где случаются закаты, идеальные по цвету и освещенности, как картины Матиса, сияющие строгой красотой монастыря Алкобаса, в стране, где народ так закален в баталиях, что аж яйца закоптились, и сколько бы при Новом Государстве их ни пытались спрятать под сутаны, но все равно, ах, Мендеш Пинту[2]: твердя "Аве Мария" и паля из пушек, мы ринулись на них и не успели прочесть "Верую", как всех их уложили.

Он вошел в бар, как будто в жаркий день нырнул под влажную сень беседки, увитой виноградными лозами, и, прежде чем глаза привыкли к полумраку, разглядел в темной мгле лишь смутные отблески ламп на стекле бутылок и на металле, похожие на рассеянные огни Лиссабона, когда смотришь на него со стороны моря туманными ночами. Спотыкаясь, он инстинктивно добрел до стойки, как близорукий пес, отыскивающий кость, которую должен был оставить хозяин, но тем временем смутные фигуры приобретали очертания, зубы, оскаленные в улыбке, плавали где-то рядом, рука, сжимающая рюмку, качнулась слева, и мир столов и стульев и ка-

1. Намек на Марию ди Жезуш Фрейри Каэтану (более известную как дона Мария), экономку Салазара, у которой по слухам была с ним интимная связь.
2. Фернан Мендеш Пинту (1509–1583) – португальский путешественник, писатель, автор знаменитого "Странствия" – книги воспоминаний о путешествиях автора по странам Востока, в которой немало батальных сцен.

ких-то людей возник из ничего, обрел объем и плотность, окружил его, и стало так, как будто солнце, светящее там, снаружи, и деревья, и каменные арки Шелковичного сада вдруг оказались далеко-далеко, затерялись в нереальном измерении прошлого.

— Одно пиво, — попросил врач, оглядываясь кругом: он знал, что его жена часто заходит в этот бар, и искал ее следы на пустых скамейках, ждал, что они, как вмятина на матрасе, обозначат отсутствие ее тела, подадут знак, что она была здесь, и это позволит ему воссоздать ее рядом с собой во плоти, в улыбающейся, теплой, дружественной плоти. Какая-то парочка, почти касаясь друг друга головами, перешептывалась в углу, добродушный великан изо всех сил хлопал приятеля по беззащитному плечу, превращая его суставы в братскую манную кашу.

С кем же ты сюда ходишь, спросила себя вспыхнувшая в груди врача ревность, о чем говоришь, с кем ложишься в незнакомые мне постели, кто сжимает руками твои стройные бедра? Кто занимает место, прежде бывшее моим, оставшееся моим для меня, кто заполняет пространство нежности моих поцелуев, кто занял палубу, где мачтой служил мой пенис? Кого несет попутным ветром по твоему животу? Вкус пива напомнил ему Портиман, вонь над Скалистым пляжем, похожую на запах изо рта диабетика, море, дрожащее в ознобе от женственного дыхания восточного ветра, их первую близость в гостинице в Алгарве, сразу после свадьбы, когда оба они трепетали от страха и желания. Совсем юные, они тогда учились друг у друга находить тропинки, нащупывать пути к наслаждению, новорожденные жеребята, жадно бодающие головой материнский сосок, прижавшиеся друг к другу в великом изумлении от того, что открыли истинный цвет радости. Когда влюбленными мы встречались дома у твоих родителей, сказал себе врач, под страшными рожами китайских масок, я ждал, когда услышу твои шаги на лестнице, стук высоких каблучков по ступеням, и во мне рос порыв ветра, ярость, рвотный позыв наоборот, жажда тебя, живущая во мне постоянно, заставлявшая меня возвращаться пораньше из Монтижу, чтобы нам скорее упасть рядом на матрас в спешке, как будто мы вот-вот умрем, вызывавшая внезапные эрекции, стоило только подумать о твоих губах, о твоей сладострастной манере отдаваться, о ракушечном изгибе твоих плеч, о твоих больших, нежных и мягких грудях, заставляла меня жевать и жевать твой язык, путешествовать по твоей шее, ослепнув от твоего блеска, входить в тебя единственным и неповторимым движением, как шпага входит в ож-

ны. Ни разу не встречал я тела, настолько созданного для меня, как твое, сказал себе врач, наливая пиво в кружку, по всем человеческим и античеловеческим меркам, по всем реальным и выдуманным критериям, которые не становятся менее критериями оттого, что выдуманы, никогда не встречал я такой огромной и прекрасной возможности единения с другим человеком, настолько абсолютного совпадения, такой способности быть понятым без слов и самому понимать молчание, чувства и мысли другого; мне всегда казалось чудом, что мы познакомились на пляже, где я впервые увидел тебя, стройную, смуглую, хрупкую, твой серьезный и до того античный профиль, подбородок, упирающийся в согнутые колени, увидел сигарету, которую ты курила, кружку пива (такую же, как эта) на скамейке сбоку от тебя, твое пристальное звериное внимание, множество серебряных колец у тебя на пальцах, вечная жена моя, моя единственная жена, мой светоч во тьме, портрет моих глаз, сентябрьское море, любовь моя.

Ну почему я умею любить, спросил он себя, рассматривая пузырьки газа, прилипшие к стеклу, почему я умею говорить о любви только этими завитушками перифраз, метафор и образов, почему я вечно в заботе о том, чтобы приукрасить, пришпилить к чувствам кружевную бахрому, излить восторг и тоску в пошлом ритме минорного фаду, чтобы душа раскачивалась под душещипательные мелодии а-ля Коррейя ди Оливейра[1] в рясе, тогда как все это чисто, ясно, прямо, не нуждается в красивостях, строго, как статуя Джакометти в пустом зале, и так же скромно-красноречиво: возлагать слова к ногам статуи — все равно что класть бесполезные цветы на грудь покойнику, все равно что дождю танцевать над полным воды колодцем. Черт меня побери вместе с моим романтическим сиропом в венах, вместе с вечным неумением произносить сухие и точные, как камень, слова. Он запрокинул голову, сделал глоток и почувствовал, как жидкость сернистым стеарином медленно струится по горлу, взбадривая вялые нервы; он злился на самого себя и на вычурные пассажи из журнала "Кроника феминина"[2], каленым железом запечатленные в

1. Антониу Коррейя ди Оливейра (1879–1960) — португальский поэт, убежденный монархист, получил признание в годы так называемого Нового государства (диктатуры Салазара), когда его стихи вошли в школьные хрестоматии.
2. "Crónica Feminina" ("Женская хроника") — журнал, основанный в 1956 г., известен своими фотосериалами, предшественниками радио- и телесериалов.

мозгу, он считал себя архитектором собственной пошлости, пренебрегшим образцовым высказыванием Ван Гога "С помощью красного и зеленого цветов я пытался выразить все самые отвратительные страсти рода человеческого"[1]. Грубая откровенность фразы художника вызвала у него физическое ощущение щекотки, как бывало, например, когда он слушал "Реквием" Моцарта или саксофон Лестера Янга[2] в "Этих глупых вещах"[3], когда ощущаешь музыку телом, как будто мудрые пальцы легко пробегают по затекшей ягодице.

Он заказал еще пива и попросил телефон у официанта, объяснявшего коллеге суть своих претензий к учительнице французского языка в школе, где учился его отпрыск, и набрал номер, записанный под диктовку блондинки на странице, выдранной из миссионерского журнала: девять или десять гудков — и никакого ответа. Он положил трубку и набрал номер снова, надеясь, что на телефонном узле перепутали провода и что голос Марлен Дитрих, тихий, но отчетливый, как голосок сверчка Пиноккио, вот-вот донесется до него через дырочки в черной пластмассе. Однако в конце концов пришлось вернуть телефон официанту.

— Тетушки нет дома? — поинтересовался тот с добродушной иронией капитана алкогольного судна, готового к долгому ночному рейсу.

— Возможно, конгресс Дочерей Марии[4] несколько затянулся, — предположил праздный гуляка, принимавший на борт четвертый стакан джина и начинавший замечать, что пол под ним накренился.

— Или она на уроке катехизиса объясняет, что такое обрезание, — встрял приятель, который был явно из тех, кто не желает отставать и отчаянно пытается попасть в ногу с остальными.

— Или ей на меня насрать, — произнес врач, обращаясь к непочатой бутылке пива.

Что хорошо в барах, так это возможность беседовать с горлышком бутылки, не рискуя нарваться на ссору или драку:

1. Цитата из письма Винсента Ван Гога брату Тео, в котором художник дает пояснения к своей картине "Ночное кафе".
2. Лестер Янг (1909–1959) — американский тенор-саксофонист и кларнетист, один из крупнейших музыкантов эпохи свинга.
3. "Эти глупые вещи напоминают мне о тебе" — песня, написанная в 30-е гг. прошлого века английским композитором Джеком Стрейчи (1894–1972) на стихи английского поэта Альберта Эрика Машвица (1901–1969), который иногда подписывался псевдонимом Хольт Марвелл. Ее исполняла Элла Фицджеральд и многие другие прославленные джазовые музыканты.
4. Дочери Марии Заступницы — одна из конгрегаций католической церкви.

и вдруг буквально за секунду он понял пьяниц, не теоретически, через объяснения извне внутрь Психиатрии, слишком точные, и потому ошибочные, но просто нутром, через желание сбежать и спрятаться, которое и сам испытывал не раз.

Указательный палец бездельника деликатно коснулся его плеча:

– Браток, мы одни на палубе.

– Но есть малышки в скафандрах, ожидающие нас в Сингапуре, – добавил приятель, боясь, что взвод ушагает куда-то без него.

Бездельник бросил на него уничижительный взгляд, полный королевского высокомерия, навеянного джином:

– Заткнись, тут мужской разговор.

И – врачу по-братски на ухо:

– Вот выйдем отсюда и прямиком в "Рысью нору"[1], утолим тоску на сиськодроме.

– Бляди, – заворчал раздосадованный приятель.

Железная клешня гуляки сжала его локоть до хруста:

– Не более, чем твоя мамаша, говнюк. – И обращаясь к пустым столам, властным тоном: – Кто при мне позволит себе плохо отозваться о дамах, тому мало не покажется.

Лицо его угрожающе и зло кривилось, глаза искали жертву, но, за исключением парочки в углу, увлеченной сложной игрой в шлепки и обжимания, и тускло светящихся ламп, народу на борту не наблюдалось, таким образом оставшиеся были обречены довольствоваться компанией друг друга, точно как, подумал психиатр, за колючей проволокой в Африке: к концу командировки даже в кинга играли со сжимавшимся от злобы горлом, мурашками в пальцах от желания отхлестать по физиономии, с гневом, готовым выстрелом вырваться изо рта. С чего это я то и дело вспоминаю тот ад, спросил он себя, то ли потому, что я еще не вырвался из него окончательно, то ли потому, что заменил его другой, новой пыткой? Он проглотил полбутылки пива, как принимают горькое лекарство, и изорвал на клочки такие мелкие, как смог, номер телефона блондинки, которая, должно быть, в эти минуты рассказывала любовнику, как подшутила над неким идиотом в приемной дантиста: он вообразил, как они оба хохочут, и под их смех, звеневший в ушах, уговорил оставшиеся полбутылки пива, высосав из стакана последний потек пены: улитка, улитка забродившей ржи, высунь пьяные рожки, помоги

1. Ресторан, существовавший на проспекте Либердади в 70-е гг., по ночам превращавшийся в бордель.

мне удержаться на плаву, потому что плавать я не умею. И он вспомнил одну историю — жемчужину семейной хроники — о бабушкиных друзьях, паре по фамилии Фонсека, где жена, дама крупная, тиранила своего низенького мужа: к примеру, чуть сеньор Фонсека что-то слабо вякнет, как она кричит: Фонсека не разевает рта, потому что Фонсека — дурак, соберется сеньор Фонсека закурить, а она: Фонсека не курит, и так постоянно. Как-то вечером бабушка разливала чай гостям, и, когда очередь дошла до Фонсеки, спросила: — Сеньор Фонсека, вам зеленый или черный? Жена сеньора Фонсеки, чуткая, как страдающая желчекаменной болезнью сторожевая собака, тут же взвилась: Фонсека чаю не пьет; и в наступившей вслед за тем тишине случилось немыслимое: сеньор Фонсека, до тех пор все сорок лет супружеской диктатуры остававшийся кротким, безответным и покорным, ударил кулаком по подлокотнику кресла и изрек голосом, шедшим, казалось, из его наконец размороженных тестикул:

— И зеленого хочу, и черного тоже.

Пора, сказал себе врач, расплачиваясь за пиво и разжимая лапы гуляки, который дошел уже до фазы объятий, пора стартовать отсюда на всех парах, как малофья из яиц.

На улице вечерело: возможно, ближе к ночи его жена придет в этот бар и даже не глянет на каменные арки сада.

* * *

Как всегда, опаздываю на психоанализ, подумал психиатр, останавливаясь на красный сигнал светофора, на который в этот момент готов был целиком взвалить ответственность за все несчастья мира и в первую очередь, разумеется, за свои собственные. Он стоял в крайнем правом ряду на проспекте Республики, за грузовиком и, дрожа от нетерпения, созерцал перпендикулярный поток машин, ползущий со стороны Малой Арены, несуразной кирпичной мечети, храма бычьих рогов. Две юные красавицы, увлеченные беседой, прошли мимо, и врач, пока они удалялись, следил за движением их лопаток и бедер, гармоничными, как движения птицы в полете, за жестами, за тем, как одна из них убирала волосы с глаз: когда я был моложе, вспомнил он, то был уверен, что ни одна женщина не заинтересуется мной, моим широким подбородком, моей худобой, и вечно застревал в заикающейся застенчивости, когда на меня смотрели, чувствовал, что краснею, борясь с сильнейшим желанием умчаться галопом прочь; в четырнадцать то ли пятнадцать лет меня впервые привели в сотый дом по улице Мунду, до этого я никогда не был в Байрру Алту ночью, не видел такого скопления узких

теней и неподвижных фигур, я вошел в дом терпимости полный любопытства и страха, едва переставляя ноги от желания пописать в баночку для анализа. Я сел в зале, полном зеркал и кресел, рядом с женщиной в комбинации, настолько занятой вязанием, что она даже не подняла головы от спиц, и напротив пожилого господина, ожидавшего своей очереди, положив на колени папку, на которой отпечатался след от обеденной чашки кофе с молоком, и вдруг увидел себя умноженного до тошноты в граненых зеркалах, десятки растерянных меня, в ужасе уставившихся друг на друга: ясно, что причиндал в моих трусах тут же сократился до размеров, которые он принимал после ледяной ванны, превратившись в гармошку из сморщенной кожи, способную разве что пописать и то наискось, и я затрусил жалкой трусцой побитого пса к выходу, где хозяйка, у которой варикозные вены выпирали из тапочек, ругалась с пьяным солдатом, ломившимся в дверь в облеванных сапогах.

Светофор переключился на зеленый, и тут же за спиной требовательно взвыло такси: ну вот отчего, черт побери, таксисты, спросил он сам себя, — самые вредные существа на свете? Да еще и люди без лица: один затылок и плечи, как гвозди, торчащие из спинки переднего сиденья, а если повезет, еще и пара пустых глаз в прямоугольничке зеркала заднего вида, стеклянные невыразительные зрачки, как у ослов или мулов с водокачки. Может быть, непрерывная езда по Лиссабону вызывает у людей что-то вроде взрывной эпилепсии, возможно, от этого города тошнит и зло берет, если вынужденно колесить по нему во всех направлениях, а возможно, людскому роду вообще свойственна накатывающая волнами человеконенавистническая экзальтация, и мы, сдержанные люди, всего лишь прикидываемся любезными. Он обматерил таксиста, который в ответ показал ему здоровенный кулак, как будто два бойскаута помахали друг другу флажками, и свернул на улицу Иоанна XXI[1], по левой стороне которой, повернувшись задними фасадами, стояли его любимые закопченные дома с маркизами, торчащими, будто бородавки над шаткими семейными гнездами, в которых он мысленным взором видел гладильные доски и меланхоличных домработниц. Друг Сезариу, с нежностью мысленно проговорил психиатр, на прошлой неделе я видел сцену, способ-

1. Иоанн XXI — единственный папа римский португальского происхождения. Взошел на папский престол в XIII в.

ную вдохновить тебя на пару веселых александрийских строф: я искал, где бы поужинать, и, проходя мимо твоего освещенного бюста, воздвигнутого на газоне времен королевы Стефании[1], заметил сидящую на ступенях у подножия памятника старушку в черном с большой корзиной у ног и тут же понял, что разница между тобой и Эсой такая же, как между объятиями с каменной статуей девственницы и теплым прикосновением живого существа, вышедшего во плоти и крови из твоих стихов.

Он пересек улицу, состоящую из гаражей и мастерских, уже погрузившихся в нерабочую темноту, с баром в самом конце, принадлежавшим бразильцам (Португальцы — дураки, говорил водовоз-галисиец из рассказа матери, мы приезжаем и продаем им их собственную воду), и припарковал машину у мебельного магазина на углу проспекта Ошкара Монтейру Торреша[2] и улицы Аугушту Жила[3], где были выставлены на всеобщее обозрение отвратительные комоды и писаные маслом букеты в овальных резных рамах. На витрине красовался пастельный портрет борзой на фоне "Инфанты" Веласкеса; казалось, собака улыбается с многозначительным выражением, которое иногда внезапно удается криворукому художнику как бессознательная насмешка бездарности над собою. Врач, остолбенев, некоторое время созерцал феноменальную алюминиевую люстру, думая о том, что безвкусица по-своему тоже требует неслабого воображения, потом ему захотелось прилечь на кровать, извлеченную из кошмарных снов доктора Мабузе, привидевшихся ему во время ночного несварения желудка, чтобы узнать, какие бредовые метаморфозы произойдут с его телом к изумлению только что приехавшей из провинции прислуги, которую его отец водил в Зоосад. Это слон, объяснял отец, и горничная ошеломленно разглядывала животное, изучала его ноги, голову, хобот; вот носорог, говорил отец, вот бегемот, тут горилла, там страус, горничная переживала потрясение за потрясением: глаза на лоб, рот открыт, руки прижаты к груди, и вот когда они наконец добрались до вольера жирафы, удив-

1. Стефания Гогенцоллерн-Зигмаринген (1837–1859) — супруга короля Педру V. Умерла 22 лет от роду всего через год после того, как вышла замуж за короля Португалии. Площадь ее имени и одноименная улица находятся рядом с садом имени Сезариу Верде, где установлен его бюст.
2. Ошкар Монтейру Торреш (1889–1917) — первый португальский военный летчик, погиб в Первую мировую войну.
3. Аугушту Сезар Феррейра Жил (1873–1929) — португальский адвокат и поэт.

ление девушки достигло апогея. Несколько минут она, обомлев, рассматривала пятнистую длинную шею и голову там, наверху, потом подошла к отцу и шепотом спросила:

– Сеньор доктор, а это как называется?

– Это жирафа, – объяснили ей.

Горничная долго переваривала новое слово, не сводя со странного зверя глаз, и наконец, восторженно выдохнула:

– Жирафа... Имя – ну прямо в точку.

Тем временем окончательно стемнело, и в непроглядной тени у подъезда психиатр разглядел группу парней из Кабо-Верде в темных очках, яростно спорящих о чем-то, размахивая светлыми рукавами. Внезапно из-под мышки у одного из них радиоприемник на батарейках изрыгнул струю оглушительной музыки, как будто бачок унитаза смыл рвоту, разразившись беспорядочными тридцать вторыми. Чуть дальше в рюмочной завсегдатаи, как по команде, повернули головы в сторону телевизора под потолком, изливающего на них голубоватый флуоресцентный рентгеновский свет, обнажая скелеты улыбок; по энтузиазму, с которым дискутировали выходцы из солнечного Кабо-Верде, врач заключил, что их громогласный юмор был предварительно подкреплен изрядной дозой красного вина, присутствие которого угадывалось в каждом восклицании и взрыве хохота. Толстуха с нижнего этажа дома напротив с интересом наблюдала сцену из окна, вывалив груди на подоконник: наверняка на шее у нее болтается эмалированный портретик падре Круша[1], побился сам с собой об заклад психиатр, поднимаясь по лестнице на сеанс психоанализа, еще имеется жирная собачонка по кличке Бенфика, сын работает в банке, а внучка Соня-Мариза носит очки с заклеенным левым стеклом для исправления косоглазия.

Сочиняй, сочиняй, сейчас с тебя всю скорлупу-то облупят, предупреждал он сам себя по пути в кабинет для групповых занятий, после того как дверь с сухим щелчком затвора открылась: в последнее время, как ему казалось, он слишком много получал по шапке от психоаналитика, и, как в детстве, когда его наказывали по его мнению незаслуженно, в нем росла огромная обида на психолога, казалось, с наслаждением разрушавшего один за другим его воздушные (но необхо-

1. Католический священник Франсишку Родригеш да Круш, или падре Круш (1859–1948) при жизни приобрел славу святого. В народе его так и называли: святой падре Круш. В годы первой республики, когда церковь была крайне непопулярной и подвергалась гонениям, вопреки запрету открыто носил сутану, проповедовал веру, исповедовал грешников и активно занимался благотворительностью.

димые?) замки: здесь чувствуешь себя ручным быком на бойне, отметил про себя врач, мясники-садисты колют тебя в обрубки ног булавками, а ты терпишь, надеясь только на то, что от этого мясо твое станет нежнее; тут тебя укрощают, кастрируют, вынимают мозг, превращают в антиматерщинную девочку-святую в мирском варианте за две с лишним тысячи в месяц. Что это за хренотень, что за зверская умственная клизма, если я выхожу отсюда скрюченным, как старый ревматик, страдающий заодно люмбаго, ишиасом, шпорами на пятках и зубной болью, поскуливаю по дороге домой, как побитая собака, но все равно каждый раз возвращаюсь, являюсь сюда аккуратно через день, чтобы получить очередную взбучку или полное равнодушие и никакого ответа на то, что именно сейчас меня терзает, никакой подсказки, как выбраться из ямы или хотя бы учуять капельку свежего воздуха там, наверху, ни одного жеста, который бы указал направление хоть к какому-то покою, к какому-то миру, к мало-мальской гармонии с самим собой: Фрейд, еб твою еврейскую мать, засунь себе в жопу своего Эдипа. Он открыл дверь в кабинет и, вместо того чтобы послать всех присутствующих куда подальше, поздоровался и дисциплинированно занял единственный свободный стул.

Группа была в полном составе: пять женщин, трое мужчин (вместе с ним) и специалист по групповой терапии, развалившийся в обычном своем кресле, закрыв глаза и вертя на подлокотнике снятые с руки часы: ах ты козел, подумал психиатр, ах ты козел хуев, как-нибудь во время сессии надо бы дать тебе пинка по причиндалам, чтобы проверить, живой ли ты вообще, и, будто прочитав его мысли, психоаналитик поднял на него сонные равнодушные веки, тут же переведя взгляд на картину на стене, изображавшую сельский пейзаж: разноцветные черепичные крыши, церковная колокольня, предгрозовое небо; в открытое окно доносился приглушенный спор кабовердцев и музыка из приемника, достигшая крейсерской мощности; сквозь занавески можно было разглядеть очертания соседних домов, признак того, что жизнь продолжается за пределами этого внешне застойного сосуда концентрированных страстей.

Одна из женщин говорила о своем отце, о том, как ей сложно сблизиться с ним, и врач, уже десятки раз слышавший эту старую песню и считавший ее особо скучной и монотонной, постепенно отвлекся на стены, которые стоило бы покрыть новым слоем краски, на большие черно-белые стулья, похожие на жирных пингвинов, на стол в углу, покрытый красной скатертью, с телефоном и двумя пришпиленны-

ми над ним ободранными списками: на этот стол терпевт клал конверты для гонораров, в которые вкладывал записки с числами от 1 до 31, обведя шариковой ручкой те, что соответствовали датам очередных сессий. Один из мужчин, казавшийся врачу довольно симпатичным, дремал, подпирая ладонью подбородок: сегодня у нас прямо парламент, подумал психиатр, которого тоже клонило в сон и обволакивало вялой пеленой равнодушия, не дававшей сосредоточиться. Женщина, говорившая об отце, вдруг замолчала, и другая начала долгую историю о подозрении на менингит у сына: диагноз в конце концов не подтвердился, но прежде пришлось проделать крестный путь по приемным покоям больниц и выслушать кучу противоречивых мнений, причем каждый доктор с презрением опровергал предыдущий вердикт своего коллеги; тут дремавший проснулся, потянулся и попросил у врача сигарету. Справа от него девушка с сиротским видом сосала пастилки от боли в горле, время от времени тихонько пощелкивая языком, уголки рта были у нее горько опущены, как брови у очень печальных людей.

Я хожу сюда бог знает сколько лет, подумал врач, оглядывая попутчиков, большая часть которых пустилась в плавание по волнам психоанализа еще раньше, чем он, но до сих пор вас толком не знаю и не могу понять, как познакомиться с вами, как узнать, чего вы хотите от жизни, чего от нее ждете. Бывает, что вдали от вас, я о вас думаю и скучаю, а потом спрашиваю себя, что вы для меня значите, и не нахожу ответа, потому что у меня почти ни на что нет ответа, и я то и дело спотыкаюсь то об один, то о другой вопрос, как Галилей перед тем, как открыл, что Земля движется, и эта истина дала ему ключи ко всем вопросам. И еще врач подумал: что за объяснение найду в один прекрасный день я, что за инквизиция его осудит, и кто заставит меня отречься от моих маленьких личных побед, от мучительных побед дерьма над дерьмом, из которого я создан? Он взял со стола, что стоял в центре, треснутую пепельницу и закурил сам, дым рванулся в легкие с жадностью, с какой сжатый воздух наполняет воздушный шар, и пронзил его тело чем-то вроде тихого ликования; психиатр ясно вспомнил свою первую сигарету, выкуренную в одиннадцать лет тайком от матери перед окошком ванной с восторгом оттого, что это — настоящее приключение. “Честерфилд”. Мама закуривала их под конец обеда, сидя у подноса с кофеваркой в окружении мужа и детей, и будущий врач следил за дымом, вьющимся вокруг железной люстры на потолке, то растекаясь, то образуя синеватые прозрачные завитки, плывущие медленно, как облака в летнем

небе. Отец стучал своей трубкой по серебряной пепельнице с надписью “Дым рассеется, а дружба останется” в серединке, безграничный покой царил в столовой, и психиатра посещала умиротворяющая уверенность, что никто из тех, кто сейчас сидит за столом, никогда не умрет: шестнадцать пар светлых глаз вокруг серебряной вазы, объединенные общностью черт и более или менее долгим совместным прошлым.

Некоторые члены группы расспрашивали женщину о подробностях болезни ребенка, врач заметил, что психоаналитик, казавшийся застывшим в каталепсии, потихоньку скребет ногтем пятнышко на черно-красном галстуке с узором: этот хрен, подумал он, мало того, что уродлив, так еще и одевается из рук вон плохо: вон, даже носки у него со звездочками, просто идеальная униформа для того, чтобы попить водички в кондитерской на Парижском проспекте в компании дамы с жирными боками, затянутыми в шелка цвета сливы, и чернобуркой, сделанной из псориазного кролика, на шее; в глубине души ему хотелось, чтобы психоаналитик одевался в соответствии с его, врача, критериями элегантности, тоже, кстати, спорными и размытыми, когда дело касалось его собственного гардероба: один из братьев любил повторять, что он, психиатр, напоминает остолбеневшего деревенского жениха в необъятном пиджаке и с плохо заглаженными стрелочками на брюках с портрета, сделанного уличным фотографом. Хожу расфуфренный, как Белый Кролик из “Алисы”, и требую от тех, кто хочет заслужить моего уважения, чтобы они появлялись в костюме Безумного Шляпника; так, возможно, мы удостоимся крокета с Червонной Королевой, одним ударом отрубим голову повседневности Повседневья и сиганем прямо в Зазеркалье. Однако он тут же предостерег себя: Вашему Величеству не следует рычать так громко, и все-таки на что похоже пламя свечи, когда свеча погасла?

Третий мужчина в группе, очкарик, похожий на героя “Эмиля и сыщиков”[1], признался, что его бы обрадовала смерть дочери, потому что тогда жена уделяла бы ему больше внимания, чем вызвал ропот различной степени возмущения у присутствующих.

— Твою мать, твою мать, — пробормотал, раскачиваясь на стуле, тот, что недавно дремал.

— Нет, правда, — настаивал третий. — Бывает, так и тянет опрокинуть в кроватку кипящий кофейник.

1. Книга немецкого писателя Эриха Кестнера (1899–1974) и снятый по ней одноименный фильм.

— Боже мой, — проговорила та, что рассказывала о менингите, шаря в сумочке в поисках платка.

Последовало молчание, которым психиатр воспользовался, чтобы закурить новую сигарету, а отец-душегуб снял очки и тихонько предположил:

— Возможно, всем нам хочется убить тех, кого мы любим.

Психоаналитик начал заводить часы, и психиатр вообразил себя присутствующим на звериной ассамблее под председательством Додо: какая странная внутренняя механика всем этим управляет, подумал он, и какой подземный кабель соединяет несвязные фразы, придавая им ускользающий от меня смысл и плотность? Может, мы стоим на пороге молчания, как в некоторых стихотворениях Готфрида Бенна[1], в которых фразы приобретают неожиданный вес и таинственный и вместе с тем очевидный смысл сновидений? Или мы, как Альберти, "этой ночью я чувствую, как умирают от ран слова"[2], и питаюсь тем, что в промежутках между ними сверкает и бьется? Когда плоть превращается в звук, где плоть и где звук? И где ключ, с помощью которого можно расшифровать эту азбуку морзе, сделать ее простой и конкретной, как голод, желание помочиться или жажда другого тела?

Он открыл рот и произнес:

— Я скучаю по жене.

Одна из девушек, которая еще ничего не говорила, сочувственно улыбнулась, это придало ему смелости, и он продолжил:

— Я скучаю по жене и не могу сказать об этом ни ей, никому другому, кроме вас.

— Почему? — неожиданно спросил психоаналитик, как будто тайно и без предупреждения вернувшись из долгого странствия по своему ледяному нутру. Его голос, казалось, открыл некое притягательное пространство впереди, и психиатру захотелось туда нырнуть.

— Не знаю, — поспешил он ответить, боясь, что отклик, которого ему удалось добиться, быстро угаснет и он окажется перед восемью скучающими или враждебными физионо-
миями. — Не знаю, или нет, на самом деле знаю. Думаю, меня слегка пугает любовь других ко мне и моя любовь к другим, и я боюсь проживать ее до конца, целиком, отдаваться этому и

1. Готфрид Бенн (1886–1956) — немецкий эссеист, новеллист и поэт-экспрессионист, врач. Лауреат премии Георга Бюхнера.
2. Последняя строка из стихотворения Рафаэля Альберти "Ноктюрн".

бороться за это, пока хватает сил, а когда сил не остается, находить в себе еще силы, чтобы продолжать битву.

И он рассказал об огромной любви, связавшей почти на пятьдесят лет бабушку и дедушку со стороны отца, так что детям и старшим внукам приходилось громко топать ногами, подходя к комнате, где они уединились. Он будто снова увидел, как старики сидят за столом, держась за руки, во время семейных обедов, как дедушка гладит бабушку по головке и называет "моя Старушка" с глубокой и очевидной нежностью. Рассказал и о том, как умирал дедушка и как стойко бабушка перенесла его болезнь, агонию и смерть, не проронив ни слезинки, и как угадывалось ее безмерное страдание под маской абсолютного спокойствия без слез и жалоб, и как она шла, вся дрожа, но выпрямив спину, за его гробом, как принимала с вежливой улыбкой соболезнования командира воинского эскорта, сопровождавшего погребальную церемонию ее мужа-офицера, как раздавала детям личные вещи отца и тут же организовала всю жизнь таким образом, как – мы были уверены – дедушке бы понравилось: за обедом стала садиться во главе стола, и мы приняли это как должное, и так и оставалось до тех пор, пока восемнадцать лет спустя не настал ее черед умирать, и она пожелала, чтобы в гроб ей положили ту фотографию, которую он подарил ей на серебряную свадьбу. Врач рассказал и о том, что произнес отец на панихиде, а речь его была буквально такова: Мы все потеряли мать, и врач долго думал над этой фразой, сказанной о бабушке, чья черствость раздражала его, и пришел наконец к выводу, что это правда и что он, прожив тридцать лет, не сумел оценить по достоинству эту женщину и в очередной раз ошибся, как часто ошибался, когда судил о людях, но теперь уже, как всегда, поздно и ничего не исправишь.

– Прошлое не перепишешь, но можно лучше прожить настоящее и будущее, а вы мандражируете – аж поджилки трясутся, – сказала девушка, которая раньше ему улыбалась.

– Так и будет, пока у вас остается потребность наказывать себя, – добавил психоаналитик, внимательно изучая ноготь большого пальца своей левой руки, к которому, похоже, были приклеены микрофильмы с полным собранием трудов Мелани Кляйн[1].

1. Мелани Кляйн (урожд. Райцес; 1882–1960) – британский психоаналитик, стоявшая у истоков детского психоанализа, игровой психоаналитической терапии и теории объектных отношений.

Психиатр откинулся на спинку стула, стараясь нащупать в кармане третью за эту сессию сигарету; выходит, я себя так наказываю, подумал он, но если я это делаю, то зачем? И за какой смутный и непостижимый для меня грех? Или я просто ни на что большее не способен, и таков мой особый способ ощущать, что я на этом свете, как алкоголику необходимо выпить, чтобы почувствовать, что он существует, а бабник должен совокупляться, чтобы убедиться, что он мужчина? И тут мы приходим к основному вопросу, и вопрос этот, с вашего позволения, А Кто Я Такой? Спрашиваю я сам себя, и ответ, неизменный, упорно повторяющийся, всегда одинаков: говно.

– Почему вы так не любите себя? – спросил отец-убийца.

– Возможно, потому же, почему мой дядя Жозе въезжал верхом на кухню к моей бабушке, – ответил врач.

И рассказал, как дядя Жозе, с которым ему не довелось быть знакомым, месяцами абсолютно неподвижно просиживал у окна, ни с кем не разговаривая, но в один прекрасный миг вдруг вскакивал, цеплял на лацкан фрака гвоздику, седлал кобылу и окунался в лихорадочную деятельность, носясь по магазинам и кабаре, а в перерывах рысью со старческим донкихотским ликованием скакал верхом по буфетным племянников и друзей.

– Дядя Жозе сам не знал, зачем гарцует среди кастрюль под вопли возмущенных кухарок, вот и я не знаю, отчего себя не перевариваю, – сказал психиатр. И добавил тихо тоном человека, завершающего некий внутренний путь: – Мой прадедушка застрелился из двух пистолетов, обнаружив, что у него рак.

– Вы не ваш прадедушка, – заметил психоаналитик, почесывая локоть, – и этот ваш Германт – всего лишь некий Германт[1].

– Вы живете в мире мертвых, чтобы не жить в мире живых, – сказала девушка, которая не могла поладить с отцом. – Вы похожи на голос за кадром, дающий пояснения к фотографиям из семейного альбома.

– Почему бы вам не посмотреть на нас, на тех, кто дышит? – поставил вопрос ребром отец-убийца.

– И на себя как на того, кто дышит, – предложила та, которая улыбалась. – Вы – как ребенок в кроватке, который боится темноты и лезет с головой под одеяло.

1. Намек на роман Марселя Пруста “У Германтов”.

Какого хрена эти рожи все разом на меня взъелись? – мысленно спросил себя врач.

– Хулиганы обижают слепенького калеку, – пожаловался он вслух, как мог, выдавив из себя улыбку.

– Пока слепенький калека, который вовсе не слепенький и никакой не калека, не заморочил голову хулиганам и самому себе, чтобы продолжать извлекать выгоду из того, что он слепенький и калека, – ловко ввернула меланхоличная дева с ангиной, – давайте не станем поддаваться песням сирен и заражаться его жалостью к самому себе: если вам нравится пидарасить собственную душу – на здоровье, только нам-то этот спектакль зачем?

Воцарилось гробовое молчание, и стал слышнее шум транспорта снизу, ночной шум, будто шаги кота, скользящего бочком по освещенным улицам города: всего несколько минут – и я буду стоять один под неоновым светом, подумал психиатр, и ломать голову, в каком бы ресторане поужинать, а каждого из этих прохиндеев дома кто-то ждет; это последнее умозаключение подняло в его душе дикую злобу на них за то, что им лучше удается справляться с липкой пылью депрессии.

– Хорош кудахтать с насеста! – взревел он, изобразив непристойные знаки обеими руками.

– Один дочь хочет убить, другой нас посылает, – возмутилась с улыбкой одна из девушек. – Выдумщики вы курам на смех: сочиняете себе картонные страдания.

– Котята с крыши, которые вместо того, чтобы звать кошку в течке, мяукают о тоске и печали, – уточнила та, что говорила про менингит.

Психоаналитик громко высморкался и, скомкав платок, сунул его в карман брюк: казалось, он остался совершенно безразличен к разговору, отдавшись пассивному пережевыванию каких-то растительных мыслей. Внутренний мир этого молодого еще толстяка представлял собою для психиатра абсолютную загадку, хотя уже не первый год они встречались трижды в неделю в этой комнате, такой же неухоженной, как и ее хозяин, с портьерой, будто из ризницы, при входе и коричневым от дыма бесчисленных сигарет потолком, в комнате, где многое из жизни врача стояло на кону. Он незаметно покосился на часы на руке у сонного мужчины: еще несколько минут, и аналитик, упираясь пальцами в подлокотники кресла, поднимется и объявит об окончании сеанса. Спуститься по лестнице, выйти на улицу, начать все с начала: вынырнуть из колодца, выбраться на зеленую поляну, выжать мокрую одежду и отправиться в путь, как тогда, когда вернул-

ся из Африки и не знал, что делать, и оказался в длинном-длинном коридоре без единой двери, а тут еще дочь и беременная жена и дикая усталость в костях, гремящих от непосильной работы. Он вспомнил могилу Зе из Тельяду[1] в Дале и хижину сеньора Гашпара с крышей из дерна среди высоких деревьев, по которым скакала огромная белолицая ручная обезьяна, привязанная длинным ремнем к железному столбу, вспомнил как в горящем грузовике погиб капрал Перейра, вспомнил фантастическое зрелище ночных пожаров: с тех пор, как меня возили в Падую[2] к первому причастию, я многое повидал.

— Извините за картонные страдания, — сказала девушка, которая недавно смеялась над ним. — Я знаю, что вам приходится не сладко.

Психиатр быстро погладил ее по руке, пока психоаналитик приступал к процессу подъема с кресла, и бросил на нее косой голгофский взгляд:

— Дочь моя, — заверил он, — еще сегодня ты будешь со мной в раю.

* * *

Оставшись один в ночи на улице Аугушту Жила, сидя в машине с неработающим двигателем и погашенными огнями, психиатр положил руки на руль и заплакал, изо всех сил стараясь не издать ни единого звука, так что плечи у него содрогались, как у актрисы из немого кино, прячущей локоны и слезы в объятиях старичка с бородкой: блядь, блядь, блядь, блядь, повторял он про себя, потому что внутри у меня не осталось ничего, кроме этого слова, этого жалкого протеста против переполнявшей меня непролазной печали. Я чувствовал себя абсолютно беззащитным и очень одиноким, но не желал в этот миг никого звать на помощь, потому что (я знал это) есть тропинки, которые надо пройти в одиночестве, без подмоги, даже рискуя отдать концы в одну из бессонных ночей, превращающей нас в Педру и Инеш в склепе в Алкобасе, обреченных лежать каменными изваяниями до конца света. И

1. Жозе Тейшейра да Силва по прозвищу Зе из Тельяду (1818–1875) — португальский военный, ставший впоследствии знаменитым разбойником, о котором ходили легенды, будто он грабит богатых и делится награбленным с бедняками (португальский Робин Гуд). В конце концов был схвачен и отправлен в ссылку в африканскую колонию, где занялся торговлей, женился на местной женщине и вел довольно беззаботную жизнь. Похоронен в Анголе.
2. Вероятно, главный герой, как и автор, назван в честь святого Антония Лиссабонского и Падуанского (1195–1231).

я вспомнил рассказ одного человека о том, как в детстве мама водила его в гости, а было это в те времена, когда люди общались друг с другом как бы на цыпочках, деликатничая без меры; и он вспоминал, как входил в дома, вытянувшиеся по стойке смирно, населенные огромными часами и пианино с канделябрами, чья музыка, дрожа, склонялась под порывами сквозняка, слушал жалобы дам, задыхавшихся от тяжести штор из дамасского шелка и от вздохов мертвецов с развешанных по стенам портретов, и думал: как должно быть в этих домах грустно в три часа пополудни. Так что год за годом он сливал аптечный спирт в цветочные вазы и тайком пил его, чтобы полдень для него никогда не кончался.

Ночь на улицах и площадях в эту пятницу напомнила врачу те ночи детства, когда он уже в постели слушал доносившиеся из кабинета те самые оперные дуэты, которые до его спальни долетали в форме ужасающих ссор: папа-тенор и мама-сопрано орали друг на друга под зловещий аккомпанемент оркестра, усугубленный ночной темнотой, пока один из них не душил другого удавкой до-диеза, вслед за чем наступала глубокая тишина — знак свершившейся трагедии; кто-то валялся на ковре в луже хвостатых восьмушек, забитый до смерти бемолями, и четверо маэстро из похоронного бюро, одетых в черное, вот-вот должны были внести по лестнице гроб, похожий на футляр контрабаса, с распятием из двух скрещенных дирижерских палочек на крышке. Горничные в наколках и накрахмаленных передниках исполняли в столовой "Хор охотников"[1] с акцентом жителей Бейры, являлся падре в костюме Хозе, окруженный испанской стайкой Дочерей Марии Заступницы. Вой немецкой овчарки с соседней кожевенной фабрики разносился над землей подобно стонам собаки Баскервилей в аранжировке Сен-Санса.

По ночам в Лиссабоне кажется, будто живешь внутри романа Эжена Сю, где целая страница отведена Тежу, а улица Барона Саброза — растрепанная закладка, отмечающая место, докуда он дочитан, и это несмотря на заросли антенн на крышах[2], похожих на кусты с картин Миро. Психиатр, который никогда не пользовался платком, утер сопли и слезы куском зеленой ткани, которым обычно вытирал стекло, запотевшее от его теплого коровьего дыхания, включил свет

1. Из оперы "Волшебный стрелок" Карла Марии фон Вебера (1786–1826).
2. В Португалии нет коллективных антенн, от каждого телевизора на крышу проведена отдельная.

(освещенная приборная панель представлялась ему всегда празднично украшенной деревушкой в провинции Алентежу, на которую смотришь издалека) и завел мотор своего маленького автомобиля, чья вибрация передавалась его телу так, как будто он сам был деталью отполированного сцепления. В дверном проеме как раз рядом юная девушка целовалась с лысым господином; ее спина была столь чувственна и гармонична, что напоминала некоторые быстрые наброски Стюарта[1], и врач отчаянно позавидовал невзрачному мужичку, который ее гладил, вращая глазами навыкате, как у вареного леща. Желтая американская машина с зелеными стеклами, припаркованная тут же, наверняка принадлежала ему: пластмассовый скелет, подвешенный к зеркалу заднего вида, излучал волны той же длины, что и перстень на его мизинце с золотой монетой в один фунт, удерживаемой тремя серебряными зубчиками. Женись я на дочери моей прачки, был бы, может, и счастлив[2], процитировал вслух врач, глядя на субъекта, из приоткрытого рта которого вырывались звуки, похожие на кипение, как бывает, когда кто-то со вставной челюстью прихлебывает слишком горячий кофе. Когда доживу до его лет, буду есть поцелуи, как суп, и зубочисткой выковыривать застрявшие между зубами остатки нежности; и, возможно, какой-нибудь девушке, вроде этой, покажется, что я элегантен, как менгир.

Oh darkness darkness darkness[3]: бесформенная ночь, вытекающая из домов, зарождающаяся на поверхности земли, берущая начало из асфальта, из луж, из деревьев, из неподвижного молчания реки, из сундуков и комодов в коридорах старых домов, набитых одеждой покойников; врач уже добрался до проспекта Дефенсореш-ди-Шавеш и продолжал потихоньку ехать вперед в безрассудной надежде, что время промчится очень быстро и через три квартала он окажется, счастливый и сорокалетний, в собственном домике в Эшториле в окружении борзых с отличной родословной, безупречно одетый и со светловолосыми детками, тогда как на самом деле знал, что впереди тревожная грусть, беспокойство, которому не видно конца, если он вообще возможен. Обычно он боролся с таким состоянием, проводя ночь то в одном,

1. Скорее всего, Юлиус Леблан Стюарт (1855–1919) – американский художник, бóльшую часть жизни проживший во Франции.
2. Цитата из стихотворения “Табачная лавка” Алвару ди Кампуша (гетероним Фернандо Пессоа).
3. О, тьма, тьма, тьма (*англ.*). Цитата из песни “Daylight & Darkness” (“Свет и тьма”) Смоки Робинсона (р. 1940), американского автора-исполнителя.

то в другом отеле (из “Рекса” в “Импалу”, из “Импалы” в “Пенту”, из “Пенты” в “Импалу”), и поутру чувствовал себя странно огорошенным, проснувшись в незнакомой безликой комнате, подходил к окну и видел там все тот же город, все те же машины, все тех же людей (а я — будто апатрид в родной стране), мыл подмышки образцом мыла “Португальское сено”, предоставленным администрацией, и оставлял ключи на стойке с фальшивой непринужденностью отпускника.

Психиатр обогнул прощадь Жозе Фонтана, где в первый раз, возвращаясь из школы, увидел двух собак в любовном слиянии, преследуемых в праведном пуританском гневе торговкой каштанами, которая летом разъезжала на трехколесном велосипеде с ящиком мороженого, демонстрируя таким образом завидную гибкость, свойственную отечественным политикам; семь лет подряд врач ежедневно проходил между деревьями этого парка, населенного в равной пропорции пенсионерами и детьми, с подземным туалетом под эстрадой, охраняемой муниципальным цербером, с самой зари распространявшим колеблющиеся пары́ хронического перегара: врач всегда воображал, что сторож тайно женат на каштанщице-мороженщице, с которой сразу после наступления сумерек совокупляется со звуком, подобным чмоканью присоски, мешая алкогольную отрыжку с морозным ванильным выдохом, в брачных покоях уборной, украшенной пояснительными рисунками, подобными тем плакатам, которые со стен медпунктов посвящают нас в секреты искусственного дыхания способом изо рта в рот. Пожилой гомосексуал с нарумяненными щеками прохаживался между скамейками, бросая на учащихся взгляды липкие, как карамель. И некий достойный господин с портфелем, стоя у фонтана, торговал порнографическими фотографиями с таким же миссионерским жаром, как если бы у дверей церкви вручал картинки с изображениями святых отрокам, идущим к первому причастию.

При въезде на проспект Дуки-ди-Лоулé светящиеся вывески китайских ресторанов, кулинарная клинопись на потребу обжорам, чуть не соблазнили его экзотическими названиями блюд, но он тут же подумал, что, сидя один за столиком, еще сильнее почувствует свое одиночество и что придется балансировать, не помогая себе даже зонтиком, на канате собственной скорби на глазах у равнодушной публики, так что он оставил машину ниже, почти вплотную к телефонной будке, точно такой же, как та, фотографию которой он видел несколько недель назад в одном журнале: та была битком набита улыбающимися людьми, и подпись гласила: НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД: ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ АНГЛИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

В ОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ БУДКЕ. Лежащая на рычаге трубка вызывала желание позвонить жене (Я люблю тебя, я никогда не переставал тебя любить, давай вместе бороться за нас с тобой), и поэтому он побежал прочь чуть ли не галопом, бросился вниз по ступенькам торгового центра "Ночь и день" к закусочной в полуподвале и, опередив привратника, похожего на его учителя в четвертом классе, сам толкнул входную стеклянную дверь.

В забегаловках с длинными стойками возникало что-то вроде братства Тайной Вечери, которое помогало психиатру худобедно держаться, как будто локоть справа и локоть слева скрепляли разбитые в щепки кости его отчаяния, не давая им рассыпаться по полу, подобно палочкам в игре микадо. Он устроился между не по годам серьезным парнишкой, одетым как грустный библиотекарь, и парой в разгаре кризиса, ощетинившейся безмолвной супружеской ненавистью и нервно курившей, устремив взор к горизонту неминуемого бракоразводного процесса, заказал бифштекс и стакан воды и стал рассматривать сотрапезников за стойкой напротив, в основном, девушек для определенного рода услуг из соседнего кабаре, застывших над своим кофе, как священники, окаменевшие при совершении причастия. В их пальцах с огромными алыми ногтями дымились контрабандные американские сигареты, которыми они по традиции окуривали чашечки, и врач развлекался тем, что пытался на их лицах под слоем дешевого грима и за искусственными гримасами, заимствованными из фильмов, шедших в кинотеатре "Эдем", разглядеть морщины, которые навеки оставляет в уголках рта и глаз полное лишений детство, эти нестираемые иероглифы нищеты. До женитьбы он захаживал иногда в бары, предлагавшие услуги проституток, на окраинах Байрру-Алту в горбатых переулках, темных, как пустые глазницы, чтобы выслушать фантазии о невинном отрочестве в духе романов Корин Тельядо[1], рассказанные за кружкой теплого пива в преддверии катастрофического будущего, не оставляющего ни одной жертвы в живых. Хуев капитализм, подумал он, даже об этих несчастных ты не забыл; да погибнем мы, и да здравствует чертова система, и да множатся мировые войны, которыми ты лечишь свои регулярные припадки-кризисы: снизим уровень безработицы за счет гибели миллионов, снова перемешаем карты и опять начнем игру, ведь, как срифмовал тут один: мол, в конце концов не важно, что кто-то голодает, ведь

1. Корин Тельядо (наст. имя Мария дель Сокорро Тельядо Лопес; 1927–2009) – испанская писательница, автор любовных и эротических романов.

и тех, кто ест, на свете пока еще хватает[1]. Ему случалось отвозить этих девушек на такси в каморки без лифта, где они обитали, и поражаться мебели, сколоченной из ящиков, портретам в проволочных рамках и картонным чемоданам, оклеенным изнутри голубой бумагой со звездочками, как на внутренней стороне конвертов; эти бедолаги, удивлялся про себя психиатр, сохраняют в неприкосновенности вкусы и привычки провинциальных горничных, которыми они, возможно, когда-то и были, несмотря на помаду из аптеки и духи с запахом инсектицида, которыми они маскируются; в них по-прежнему живет атавистическая подлинность, до которой мне, выросшему среди месс седьмого дня[2] и приличных манер, далеко, и, когда они стирают наволочку в эмалированном умывальнике и ложатся спать в постель, лампочка без абажура под потолком, похожая на вылезшее из орбиты глазное яблоко, напоминает светильник над Герникой, освещающий картину разорения. И я здесь, предаваясь смертному греху, чувствую себя так, будто, не исповедавшись, принимаю причастие.

Пережевывая бифштекс, склонившись над тарелкой, врач ощущал, как напряжение в семействе слева, закипая, переходит в газообразное состояние яростной ссоры, в приливную волну, смывающую с песчаного берега прошлого остатки приятных воспоминаний, тягот, пережитых вместе, тревожных бессонных ночей над кроваткой больного ребенка.

Мужчина терзал ключи от автомобиля, раздувая ноздри и потирая их дрожащими руками, женщина с вызывающей усмешкой отбивала чайной ложкой по пивной кружке ритм боевого барабана; ее профиль, напряженный, как у кошки, готовящейся к прыжку, напоминал скульптурные маски в фонтанах, застывшие в каменном гневе. Мальчик-нотариус с другой стороны пересказывал полной женщине содержание "Кузена Базилиу"[3] с полным достоинства самодовольством чрезвычайно глупого человека: в нем уже угадывался будущий член Верховного суда или председатель генеральной ассамблеи спортивного клуба, произносящий с глубокомысленным видом помпезную ерунду, и психиатр ощутил к бедняге прилив искреннего сострадания, которое всегда испытывал к людям, не замечающим присутствия других, ибо сами они окру-

1. Цитата из стихотворения "Кондитерская" Мариу Сезарини ди Вашконселуша (1923–2006), поэта и художника, представителя португальского сюрреализма.
2. Заупокойная месса. В католической церкви мессы служат в первый, седьмой и тридцатый день после смерти.
3. Роман Эсы де Кейроша.

жены непроницаемыми стенами неизлечимого идиотизма. Двое иностранцев спустились по лестнице и уселись рядом с девушками из кабаре, которые тут же взбодрились, как легавые, почуявшие дичь: блондинка с огромной грудью, обтянутой тесной футболкой, вызывающе улыбнулась пришельцам, и врач почувствовал, как в штанах у него набухает солидарная эрекция, между тем иностранцы шепотом принялись обсуждать, какой стратегии следует придерживаться: было видно, что они колеблются между смущением и желанием и что мнения их разделились. Блондинка вытащила из сумки полуметровый мундштук и, не сводя глаз с одного из иностранцев, попросила у него прикурить; грудь у нее надулась под тесной майкой, как голубка, распушившая перья в брачном танце, иностранец отпрянул в испуге перед этим нацелившимся на него плотоядным растением, пошарив в карманах, он нащупал коробок спичек с рекламой авиакомпании, и вот закачался жалкий язычок пламени: ах, ты только прилетел, мой голубчик, подумал врач, принимаясь за мусс и разглядывая ошеломленную физиономию иностранца, только явился, и вот-вот кончишь так, как тебе и не снилось в твоей блядской жизни, как тебе никогда не кончалось во время тех асептических коитусов, которых ты до сих пор удостаивался, шляясь по своей иностранщине. И он вспомнил о мгновении перед самой эякуляцией, когда тело, обратившись волной, растущей с каждым новым порывом наслаждения, становясь все сильнее, все тяжелее, все гуще, вдруг рассыпается пенным взрывом размером с целый мир, и наши клочья летят отдельно от нас во все четыре стороны простыни, и мы засыпаем, разливаясь жидкостью, бесцветной мякотью, блаженные жертвы нежности. Ему привиделись выходные, которые он провел с женой, уже после того, как они разошлись, в гостиничке у пляжа Гиншу, прилепившейся к склону с наветренной стороны, вспомнились ночные чайки и песчаные пощечины ветра, и комната, в которой они поселились, с окнами на море и узким балконом, паривším над волнами. Там, на матрасе, они любили друг друга, потрясенные тем, что вновь открывают один другого пора за порой с каждым прикосновением, с каждым долгим поцелуем, с каждым любовным заплывом; и опять именно он не нашел в себе сил для продолжения, именно он отступился, испуганный, не захотел бороться за то, чтобы остаться вместе. Послушай, произнес он, выскребая ложкой остатки мусса со дна вазочки, послушай: ты так глубоко во мне, ты пустила столько мощных корней, что никому и ничему, даже мне, не обрубить их, и, когда я сумею одолеть свою трусость, свой эгоизм, эту сортирную грязь, не даю-

щую мне отдавать, отдаваться и брать, когда я добьюсь этого, когда я этого действительно добьюсь, я вернусь.

Блондинка и один из иностранцев вышли, держась за руки, на проспект Дуки-ди-Лоуле, второй же, в свою очередь, переживал осаду со стороны брюнетки, крошечной и худощавой, похожей на муху-дрозофилу, пытавшейся объясниться с ним размашистыми нетерпеливыми жестами из неистовой комедии дель арте. Пара в ссоре удалилась, сопя от гнева. Они шагали осторожно, будто несли носилки с фигурой святого во время процессии, боясь расплескать хоть каплю взаимной ненависти. Мать (или жена?) мальчика-библиотекаря попросила счет. Официанты болтали с поваром около электрической кофеварки. Кто выходит последним, гасит свет, подумал врач, вспоминая о том, как в детстве боялся темноты. Если сейчас же не смотаю удочки, дело дрянь: кроме меня, здесь никого и не осталось.

* * *

Каждую ночь примерно в это время психиатр проделывал путь по автостраде и по Маржиналу, возвращаясь в Монти-Эшторил, где его никто не ждал, в маленькую квартирку без мебели, нагло вскарабкавшуюся на верхний этаж здания такого роскошного, что становилось неловко. У стойки портье в просторном вестибюле из стекла и металла с искусственным водоемом, с растениями из ботанического сада и несколькими каменными уступами имелась панель с кнопками, посредством которых бесплотный трубный глас, достойный звучать во время Страшного суда, с величественным тембром дырявого ведра или ночной подземной автостоянки доносил до каждого этажа отеческие наставления по ведению домашнего хозяйства. Сеньор Феррейра, хозяин наводящего трепет голоса, занимал апартаменты в нижнем этаже за запертой дверью в стиле несгораемого шкафа, которая, вероятно, по мнению архитектора, гармонировала с общей обстановкой этого претенциозного бункера: скорее всего, тот же творец был автором незабвенного портрета борзой с витрины мебельного магазина и фантастической алюминиевой люстры оттуда же: эти три плода неустанных творческих бдений явно несли печать одного и того же гения. Не менее замечательной была и гостиная сеньора Феррейры, куда врач иногда заходил, когда надо было срочно позвонить по телефону, и где, помимо диковин меньшего масштаба (как то: фарфоровый студент из Коимбры, играющий на гитаре, бюст папы Пия XII с накрашенными глазами, черный бакелитовый осел с пластмассовыми букетами в седельных сумках),

красовался громадный настенный ковер, на котором была выткана парочка тигров с добродушными физиономиями коров, как те, что на треугольных обертках плавленого сыра, с брезгливостью истых вегетарианцев обедавших газелью, схожей размерами и физической формой с тощим кроликом, устремив взор на каменные дубы на горизонте в апатичном ожидании чуда. Врач каждый раз замирал с телефонной трубкой в руке, забыв о том, что собирался кому-то звонить, и, потрясенный, не мог оторвать глаз от этой несусветной красоты. Жена сеньора Феррейры, питавшая к психиатру безотчетную симпатию, которую всегда испытывают к несчастным и сирым, приходила с кухни, вытирая руки о передник:

— Знаю, вам тигрики нравятся, доктор.

И становилась рядом с психиатром, склонив голову на бок, и разглядывала с гордостью своих зверушек, а потом являлся сеньор Феррейра и произносил своим знаменитым трубным гласом фразу, казавшуюся ему высшим выражением восторга перед творением художника:

— Ах, подлецы, прямо вот-вот заговорят.

И действительно, врач ожидал, что с минуты на минуту один из тигров, обратив к нему вышитые крученым шелком глаза, с горестным стоном прорычит: О Боже!

Ведя машину по автостраде, внимательно наблюдая за сгустками мрака, которые фары, вскрыв один за другим, мгновение спустя пожирали, глядя на трагически ирреальные деревья, вырванные из темноты, на непролазные кустарники, на извилистую и дрожащую ленту мостовой, психиатр подумал, что, кроме ковра сеньора Феррейры, у него с Эшторилом ничего общего: он родился в роддоме для бедных, вырос и всегда жил, пока не ушел из дому несколько месяцев назад, в бедном районе без роскошных особняков с бассейнами, без отелей для иностранцев. Пивная “Яркая звезда” была его кондитерской “Гарретт”[1], где вместо пирожных подавали поджаренные кусочки цыпленка и бобы люпина, а вместо дам из Красного Креста, восседали водители городских трамваев, которые, снимая фуражки, чтобы вытереть пот со лба, казались голыми. Этажом ниже квартиры его родителей жила Мария Фейжока, хозяйка угольной лавки, а в соседнем доме — дона Мария Жозе, торговавшая какой-то смутной контрабандой. Он знал лавочников по именам, а всех соседей —

1. Знаменитая кондитерская в Эшториле, открытая в 1934 г., славится своими пирожными.

по прозвищам, его бабушки величаво приветствовали рыночных торговок, словно титулованных особ. Флорентину, вечно пьяный легендарный носильщик, чьи лохмотья топорщились на теле, будто перья, то и дело напоминал с фамильярностью, удесятеренной хорошей дозой красного вина: мы с вашим папашей ближайшие друзья, маша ему рукой от столика в таверне, что по пути к кладбищу, над которой красовалась вывеска "На обратном пути не забудьте зайти", сводившая смерть к поводу для выпивки. Тут же агентство "Молот" ("Зачем так упорно цепляться за жизнь, когда всего за пятьсот эскудо мы вам организуем шикарные похороны?") выставляло урны и восковые ручонки, расположившись в стратегически правильном месте между кладбищем и питейным заведением. Врач относился с бесконечной нежностью к Бенфике своего детства, превращенной в Повоа-ди-Санту-Адриан из-за алчности строителей: с такой нежностью встречают старого друга, изуродованного множеством шрамов, в лице которого тщетно силятся найти родные черты из прошлого. Если снесут дом Пиреша, сказал он сам себе, думая об огромном старом здании напротив родительского дома, по какому магнитному полюсу я буду ориентироваться, у меня ведь осталось так мало ориентиров, и так трудно стало заводить новые? И он вообразил себя плывущим по городу без штурвала и без компаса, плутая в лабиринтах улочек, ведь Эшторил для него навсегда останется чужим, заграничным островом, на котором он не сможет обжиться, ни звуками, ни запахами не напоминающим родные чащобы. Из его окна был виден Лиссабон, и, глядя на размазанное пятно города, он ощущал его и далеким, и близким одновременно, мучительно далеким и близким, как дочери, как жена, как мансарда со скошенным потолком, где они жили ("Поющий дворик"[1] называла его она), полная картин, книг и разбросанных детских игрушек.

Он въехал в Кашиаш, где волны, ударяясь о стены форта, взлетали вертикальными гардинами. Ночь стояла безлунная, и река смешивалась с морем в единое черное пространство слева от него, в гигантский пустынный колодец, где не светились огни ни одного корабля. Красные люстры ресторана "Монако" за влажными оконными стеклами напоминали анемичные маяки в бурю; я ужинал там после свадьбы, подумал психиатр, и никогда больше не случалось в моей жизни тако-

1. Название популярной португальской кинокомедии, вышедшей на экраны в 1942 г.

го чудесного ужина: даже в жареном мясе был какой-то удивительный привкус; когда мы допили кофе, я вдруг понял, что в этот раз впервые не надо отвозить тебя домой, и эта мысль пробудила в моих внутренностях такую бурную радость, как будто именно с этого момента началась моя настоящая взрослая мужская жизнь, открытая, несмотря на неизбежность войны в ближайшей перспективе, мощному потоку надежды. Он вспомнил о машине, которую одолжила им бабушка на медовый месяц: это была последняя машина ее мужа, поршни ее мотора двигались медленно, как колыбель, вспомнил о странном ощущении от кольца на пальце, о новом костюме, который он впервые надел в этот день, и о том, как старательно берег стрелочки на брюках. Я люблю тебя, повторял он вслух, вцепившись в руль, как в разбитый штурвал, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю твое тело, твои ноги, твои руки, твои трогательные звериные глаза, он говорил так, как говорил бы слепец, обращаясь к человеку, который потихоньку вышел из комнаты, слепец, орущий, обращаясь к пустому стулу, хватая воздух руками, ловя ноздрями исчезающий запах. Если поеду сейчас домой, мне хана, сказал он, я не в силах сейчас выдержать встречу с зеркалом в ванной, со всей этой тишиной, которая затаилась в ожидании меня, с кроватью, схлопнувшейся, как липкий моллюск в своей ракушке. И он вспомнил о бутылке самогона на кухне и о том, что можно сесть на деревянную скамью на балконе со стаканом в руке и смотреть, как дома гурьбой сбегают вниз, к пляжу, волоча за собой свои террасы, деревья, свои изувеченные сады; случалось, что он и засыпал под открытым небом, уткнувшись головой в штору, пока корабль выходил из гавани и отправлялся в плавание под его усталыми веками, и так он обретал какое-то подобие покоя до того часа, когда лиловый луч зари вперемешку с воробьиным чириканьем будил его, вынуждая ковылять к постели, как ребенок, который, не проснувшись толком, идет среди ночи пописать. К скамейке на балконе прилипли окаменелые птичьи экскременты, он отколупывал их ногтями, на вкус они были как известка в детстве, пожираемая тайком, в тот момент, когда кухарка, абсолютная владычица царства кастрюль, на минутку вышла.

Машин по пути попадалось мало, и психиатр ехал медленно по правой стороне полосы у самой пешеходной дорожки; он не разгонялся с тех пор, как на прошлой неделе утром какая-то заблудшая чайка мягко, как комок перьев, шмякнулась о ветровое стекло, и врач увидел уже за спиной дрожащую на асфальте агонию ее крыльев. Следующая за ним машина затормозила перед птицей, и врач, уезжая, заметил, глянув в зерка-

ло, как водитель вышел и направляется к белому холмику, так отчетливо очерченному на гудроне, но постепенно становившемуся все меньше и меньше. И вот сейчас волна вины и стыда, которым он не находил объяснения (вина в чем? стыд за что?), хлынула из желудка в рот изжогой, и ему отчего-то пришла на ум суровая фраза Чехова: "Людям давай людей, а не самого себя"[1]; вслед за тем врач подумал о "Чайке" и о том, как глубоко был потрясен, прочтя эту пьесу, о персонажах с виду мягких, плывущих по течению, в обстоятельствах с виду приятных и забавных (Чехов совершенно искренне полагал, что написал комедию), но пропитанных гнетуще-тоскливым восприятием жизни, которое разве что Фитцджеральд смог позднее воспроизвести и которое возникает временами в звуках саксофона Чарли Паркера[2], внезапно распинающего нас на кресте отчаянного соло, собрав всю невинность и все страдание мира в одном пронзительном выдохе на одной ноте. Тогда врач подумал: я и есть эта чайка, и тот, кто уезжает от меня – тоже я. И у меня не хватает смелости даже на то, чтобы вернуться и самому себе помочь.

Поднявшись на холм в Эшториле и минуя старый форт с его огромной уродливой металлической рыбой, следящей за танцующими парами (Сколько времени я уже туда не хожу?), психиатр снова представил себе пустую квартиру, зеркало в ванной и бутылку на кухне рядом со стальной раковиной – единственные спасательные буи в безнадежной тишине дома. Снаружи у входа вечно шумели под сильным ветром сухие листья эвкалипта, пощелкивая, как ударяющиеся друг о друга вставные челюсти. Автомобили жильцов, почти все большие и дорогущие, стояли носом к стене, как обиженные дети. В его почтовом ящике, кроме пары забытых рекламных листовок и еженедельной пропагандистской газеты Социал-демократического центра[3], которую он, не читая, спешил засунуть в ящик хозяев дома, патетически восклицая: "Кесарю кесарево", никогда для него ничего не было, ни единого письма; он чувствовал себя маркесовским полковником, пе-

1. Фраза из письма Чехова брату Александру от 8 мая 1889 г. с разбором его пьесы и советами о том, как писать. ("Главное, берегись личного элемента. Пьеса никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на тебя. В этом отношении твоя "Копилка" безобразна и возбуждает чувство досады. К чему Наташа, Коля, Тося? Точно вне тебя нет жизни?! И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай людей, а не самого себя").
2. Чарли (Чарльз) Паркер (1920–1955) – американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля бибоп.
3. Партия правого толка.

реполненным неизбывным одиночеством, со светящимися грибами в кишках, вечно ждущим вестей, которые не приходили и которым так и не суждено было прийти, медленно истлевающим в этом бессмысленном ожидании, подкармливаемом жалкими зернами обещаний. И потому, как только загорелся зеленый сигнал светофора, внезапно переменив планы, он свернул направо и махнул в Казино.

* * *

Белеющее в глубине парка, похожего на парк Эдуарда VII в миниатюре, охраняемого анемичными пальмами, протестующе скрипящими, как тугие выдвижные ящики в отелях Висконти, населенных персонажами Хичкока, и похожими на безруких охранников автостоянки с голодными глазами, поблескивающими из-под козырьков фуражек, как алчные птицы, пойманные в насупленные сети бровей, здание Казино напоминало уродливый трансатлантический теплоход, окруженный жилыми домами и деревьями, омываемый волнами музыки из "Wonder-Bar"[1], криками хриплых чаек-крупье и безбрежным молчанием океанской ночи, пропитанной густыми запахами одеколона и течных пуделиных сук. Поезда, отправлявшиеся в сторону Лиссабона со станции Тамариш, увозили с собой на пустых скамьях строки Дилана Томаса, которые ты так любила:

In the final direction of elementary town
I advance as long as forever is[2].

И врач представил, как сонно клюет носом в пустом вагоне, а его двойник за стеклом скользит по домам, по остаткам крепостных стен, по огням кораблей в ритме стихов поэта, чью книгу жена обычно брала в постель и с которым вела идеальный молчаливый диалог без его, психиатра, участия:

for the lovers,
Who pay no praise or wages
Nor heed my craft or art[3].

1. "Чудо-бар" (*англ.*). Бродвейский мюзикл, по которому был снят фильм, вышедший на экраны в 1934 г.
2. Цитата из стихотворения Дилана Томаса "Двадцать четыре года". "Но к тому же неизбежному поселенью, куда все идут / Я двигаюсь столько времени, сколько длится мое "навсегда" (Перевод Василия Бетаки).
3. Урезанная цитата из стихотворения Дилана Томаса "Одиноко мое ремесло" (In my craft or sullen art). "А для тех... Кто не слышал и не услышит вовеки моих речей" (Перевод Василия Бетаки).

Именно к Дилану Томасу до сих пор я ревновал сильнее всего, подумал психиатр, пристраивая машину в тени туристского автобуса, водитель которого объяснял потрясенному шоферу такси, в чем прелесть интимных отношений с француженками определенного возраста, умеющими превратить коитус в нечто легкое и не затрудняющее пищеварения, вроде суфле из спаржи. Я отчаянно ненавидел и самого Дилана Томаса, и сумбурно-категоричные стихотворения этого толстого рыжего алкаша, позволявшие ему проникать вместе с тобой в такие потаенные глубины, близкие к снам, куда мне путь был заказан: я ловил только их глухие отзвуки в отдельных словах, которые ты неразборчиво бормотала в экстазе захлебывающейся русалки. Я и сам не знал, до чего ненавидел Дилана Томаса, сказал себе психиатр, шагая по мокрой ночной траве к палубе Казино, навстречу его матросам, притворившимся чопорными лакеями, меняющими пепельницы неторопливыми движениями весталок, ненавидел этого мертвого соперника, явившегося с туманных северных островов, с улыбкой задумчивого пирата на наивном пухлощеком лице, этого валлийского проходимца, ломавшего шлюзы языка своими напыщенными фразами, полными колоколов и конских грив, этого любовника из пены, этого веснушчатого призрака, этого типа, жившего в бутылке из-под виски, как коллекционная модель парусника, сгорающего в алкогольном пламени с болезненным изяществом строптивого феникса. Кейтлин[1], сказал психиатр, обмениваясь со швейцаром таинственными каббалистическими улыбками в стиле Кирико, Кейтлин, из Нью-Йорка я призываю тебя under the milk wood[2] ныне, в ноябре 1953 года, когда я умер и когда некий остров растворился в пейзаже моего воображения, окруженный алчной яростью альбатросов, Кейтлин, на днях я отправлюсь на станцию Тамариш и уеду на электричке в Уэльс, туда, где ты ждешь меня за чашкой чая, печального, как цвет твоих глаз, в зале, в котором ничто не изменилось и где густой ресторанный дым отделяет тебя каменной стеной от поспешности моих поцелуев. Кейтлин, этот печальный вой маяка — мой бычий рев тоски по тебе, этот мелодичный свисток локомотива — песнь любви, на которую единственно я способен, это бурчание в животе — трогательный порыв нежности, эти шаги на лестнице — стук моего сердца в предчувствии встречи:

1. Кейтлин Томас, в девичестве Макнамара (1913–1994) — жена и муза Дилана Томаса.
2. Под сень молочного леса (*англ.*). "Под сенью молочного леса" — название сборника рассказов Дилана Томаса.

давай вернемся к началу, перепишем жизнь начисто, переиграем, будем раскладывать пасьянс на двоих по вечерам, пить черешневый ликер, выставлять за дверь мусорный ящик, трясясь, как нищий паяц, к ужасу соседей и кошек, открывать банку с икрой и медленно есть свинцовые крупинки, пока они не превратятся в дробь для браконьерских ружей и мы не выстрелим друг в друга, устроив прощальный фейерверк, и таков примерно, Кейтлин, будет наш уход.

Во дворе Казино группа англичан, покидая борт роскошного, как гостиная Кларка Гейбла, экскурсионного автобуса, где в оконных рамах вместо стекол – полотна Ван Эйка, с бульканьем извергала из бледных ртов возгласы сдержанного восторга. Полковник колониальных войск в белом смокинге, чуть не лопавшемся на нем от неумеренного потребления пива black velvet, уделял по половине своих седых усов двум индианкам в сари, загадочным, как дамы треф, скользящим по земле так, словно под сложностью юбок у них спрятаны резиновые колесики. Прозрачные шведы с кругами под глазами от недосыпа, вызванного слишком большой долготой дня у них на родине в течение целых шести месяцев, жались к оливковолицым мексиканцам, которых Джон Уэйн[1] из фильма в фильм мочит с жизнерадостностью эффективного инсектицида. Дряхлые польские графини раскланивались друг с дружкой, как обветшалые вопросительные знаки, румяна витали над их морщинами, не прилипая к коже, словно пыльца, притягивающая крупных сенегальских жуков с глазами навыкате и с десятками достойных папы римского перстней на пальцах. Время от времени ляжки французского балета, затянутые в черные чулки, или разинутые огромные челюсти шпагоглотателя-тибетца выскакивали передохнуть из-за гардин ресторана, как струи пара из-под крышки кастрюли. Фадистка, завернутая в шаль, с отсутствующе-трагической задумчивостью Федры сжимала двумя руками бокал ритуального джина. Толстые кавалеры в расстегнутых жилетках либо выходили из уборных с таким облегчением на лицах, будто шли из исповедальни, либо похрапывали, валяясь как попало на диванах. В желудках игральных автоматов звенели сотни жадных копилок, изрыгая излишки пищи в хромированные слюнявчики. Попасть сюда, подумал психиатр, проходя мимо инвалидной коляски с сидящим в ней безногим, все равно что проснуться внезапно среди ночи с ощущением, будто кровать в темноте переместилась и

1. Джон Уэйн (наст. имя Мэрион Роберт Моррисон; 1907–1979) – американский актер, "король вестерна".

ты оказался в другой стране, за пределами родных территориальных вод, под вертикальным ослепительным светом боксерского ринга, заливающим тебя как проявитель, демонстрируя в зеркалах избыток морщин, проснуться внезапно среди ночи и нырнуть в издевательский кошмар, наводненный беспокойной толпой, ищущей в беспричинном ажиотаже причину для ажиотажа; вот и я, добавил психиатр, убегая и догоняя одновременно, ношусь кругами без конца и без цели, безголовый пес с двумя хвостами, которые гонятся друг за другом и уворачиваются друг от друга, меланхолически лая и подвывая от одиночества. Я променял свое истинное существование, на пустые фейерверки бредящего письмоводителя, брызжущие фальшивыми картонными радостями, я превратил жизнь в пластмассовую сценку, в схематичную имитацию реальности, слишком сложной и взыскательной для моего жалкого арсенала чувств. И вот я, ничтожный пьеро не удавшегося карнавала, сжигаю сам себя карманным огоньком отчаяния.

Врач обменял две банкноты по тысяче на фишки по пятьсот эскудо и подсел к столу своего любимого французского банка[1], за которым почти никого не было, потому что игра там шла не совсем чистая. Спиной он ощущал исступленную нервозность за столами с рулеткой, которая вечно выводила его из себя жуткой медлительностью: крупье все считал и считал бесконечные столбики фишек, а вокруг роились игроки, склоняясь к зеленому сукну, как нацелившиеся на жертву богомолы. Особенно бросалась в глаза очень высокая и очень тощая англичанка в платье на бретельках, болтающемся у нее на ключицах, как на вешалке, вся еще лоснящаяся от кремов для загара. Фишки выскальзывали из ее скелетообразных пальцев, когда она протягивала их к столу через головы других игроков угловатыми движениями подъемного крана. Крупье объявил малый, чипер собрал проигравшие фишки и удвоил выигравшие. Врач заметил, что женщина слева от него записала три малых подряд после двух больших, так что подвинул фишку ценой в пятьсот эскудо в зону больших и стал ждать. Сначала разведать обстановку, сказал он себе, как обычно поступала мать на рынке: хоть какая-то польза от бесконечных наблюдений за тем, как она торгуется, покупая фрукты. И улыбнулся, представив себе, какие слова мать, сама

1. Французский банк — португальская игра в кости, в которую играют в казино. Крупье мечет три кости, игроки ставят на сумму выпадающих очков. Есть три варианта: большой, когда сумма составляет от 14 до 16 очков, малый, когда сумма от 5 до 7 очков, тузы, когда сумма составляет 3 очка. Выигрыш, когда выпадает большой или малый вариант, равен ставке, а если выпадут тузы, то в 60 раз превышает ставку.

осмотрительность и экономия, сказала бы, увидев, как он рискует суммами, которые ей казались заоблачными, как он поздно ложится спать, отчего все больше опаздывает по утрам в больницу, как он стремительно катится по наклонной плоскости к неминуемому краху: трагические истории о состояниях, промотанных в казино, звучали зловещим рефреном на семейных сборищах из уст аэдов племени. Тетушка Манэ, восьмидесятилетний памятник истории, чья улыбка пробивала зигзагообразный путь сквозь броню из засохших румян и кремов, спустила в свое время фамильное серебро в баккара и пользовалась закладной вместо удостоверения личности.

— Малый, — сказал крупье, ставя на стол стакан для костей и тут же начав перешептываться с инспектором, причем оба нежно склонили друг к другу головы, как апостолы на Тайной Вечере: Иисус и Иоанн в совместном упоении Святым Духом. Чипер смахнул фишку врача со стола так стремительно и ловко, как хамелеон подхватывает языком зазевавшуюся муху. Женщина добросовестно записала: малый, это была толстая блондинка не первой свежести в шубе из искусственного меха на пухлых плечах, профиль ее был точь-в-точь как на овальном портрете Лавуазье из учебника физики для четвертого класса лицея, и ставила она каждый раз по двести пятьдесят эскудо с яростной решительностью игрока, который упорно проигрывает. С противоположной стороны стола какая-то потертая старушка метала по двадать упрямых эскудо на тузов в надежде на чудо. Двое с лицами разбогатевших прорабов пребывали в колебаниях, покусывая кончик спички, этакая жевательная резинка уроженцев Томара, подумал врач, вновь делая ставку на большой, каракатицы в собственных чернилах, дизельный “мерседес” цвета тусклого золота, и на фасаде дома надпись: Вилла Мелита. Женщина в пластмассовом леопарде пропустила ставку. Выпало 12, 13, 14, 12 и 18, прорабы поставили по пять тысяч эскудо на малый. Некто юный и рыжий вынырнул из-за спины врача и поставил пятьсот на большой: хана мне, подумал психиатр без видимой причины, если не считать пророческого спазма в районе пищевода. Он протянул руку к своей фишке и уже почти дотянулся, чтобы забрать ее, когда крупье поднял голову и с жестоким равнодушием обронил: Малый. Крупье и аналитики, черт бы вас побрал.

— Прощай же шепчу задыхаясь как мальчик от нежности горькой к тебе[1], — прошептал врач фишке, которую чипер

1. Цитата из стихотворения Алешандре О’Нейла “Прощание по-португальски”. Перевод Марка Самаева.

подгреб к растущей перед ним куче, если так и дальше пойдет, я скоро стяну с себя последние носки, поставлю их на тузы, выиграю футболку Формулы-1 и покончу с собой, приняв смертельную дозу кругляшек по сотне эскудо. Толстуха поерзала, устраиваясь поудобнее на стуле, и задела своим бедром бедро врача, который поставил вслед за ней на большой из благодарности: когда к твоему колену жмется складка чужой плоти, тебе не так одиноко. Подрядчики поставили на малый, рыжий парень, раздосадованно ворча, удалился; в каждом классе лицея имени Камоэнса всегда был один рыжий, вспомнил психиатр, один рыжий, один жиртрест и один очкарик на первой парте; жиртрест хуже всех успевал по физкультуре, очкарик — лучше всех по географии, а рыжий был любимой жертвой учителей для возмездия за анонимные проделки: кто-то, скажем, помочился в корзину для бумаг, гавкнул во время чтения "Лузиад", написал мелом на доске похабщину; к концу второй четверти родители, сами рыжие, как правило переводили своих чад в частные школы, возможно, специально зарезервированные за рыжими, где порнографические открытки были в свободном доступе, где негры-атлеты предавались содомии с собаками, священники в рясах онанировали в исповедальнях, гомосексуалы устраивали откровенные дикие оргии. Толстуха улыбнулась ему; у нее не хватало одного верхнего резца, а десны были бледные, как у Васко да Гамы на сороковые сутки авитаминоза.

— Большой, — объявил крупье, подхалимски хихикая над какой-то шуткой инспектора.

Интересно, что шутки начальства всегда смешны и к месту, лишний раз убедился врач в правоте своего брата — автора этой сентенции, которому обыкновенное угодничество представлялось чем-то непостижимым; чипер между тем облокотился на стол и потянулся к крупье, чтобы тот пересказал ему инспекторскую шутку, которую чипер выслушал с торжествующей улыбкой, поправляя воротничок:

— Так ведь, Мейрелеш?

Мейрелеш, обменивавший фишки какому-то горбуну, вскинул брови, не поднимая глаз от работы, и изобразил гримасой понимание, как делали тетушки психиатра, когда вопросы племянников заставали их за подсчетом петель в пройме свитера. А вырос ли я, удалось ли мне на самом деле вырасти, спросил себя психиатр, отвечая коленом на давление бедра женщины в пластиковом леопарде и окидывая ее медленным косым оценивающим взглядом, действительно ли я вырос или остался все тем же испуганным мальчишкой на корточках в гостиной среди гигантских взрослых, обви-

няющих меня, сверлящих меня молча грозным взглядом или слегка покашливающих, прикрыв рот двумя пальцами, мол, все плохо, но что уж тут поделаешь? Дайте мне время, взмолился он этому хороводу идолов с острова Пасхи, преследующих его своей жестоко разочарованной любовью, дайте время, и я стану ровно тем, кем вы хотите, таким, как вы хотите, серьезным, собранным, последовательным, взрослым, услужливым, любезным, набитым соломой, мелочно амбициозным, зловеще веселым, сумрачно недоверчивым, бесповоротно мертвым, дайте мне время.

Only give me time,
time to recall them
before I shall speak out.
Give me time,
time.
When I was a boy
I kept a book
to which, from time
to time,
I added pressed flowers
until, after a time,
I had a good collection.
But the sea
which no one tends
is also a garden
when the sun strikes it
and the waves
are wakened.
I have seen it
and so have you
when it puts all flowers
to shame[1].

Время, повторил врач, мне позарез нужно время, чтобы собраться с духом, наклеить все свои вчерашние дни в альбом ("who'd think to find you in a photograph, perfectly quiet in

1. Два отрывка из поэмы американского поэта Уильяма Карлоса Уильямса (1883–1963) "Асфодель, этот зелененький цветок". "Дайте мне только время вспомнить их, прежде чем выскажусь. Дайте мне время, время. Когда я был маленьким, я завел себе книжку, куда время от времени клал сплющенные цветы, пока со временем не собрал отличную коллекцию. Но море, до которого никому нет дела, это ведь тоже сад, когда солнце хлещет его и просыпаются волны. Я это видел, и вы тоже видели его тогда, когда все цветы бледнеют перед ним" (*англ.*).

the arrested chaff"[1]), привести в порядок черты лица, глянуть в зеркало: на месте ли нос, и продолжить путь к тому дню, который начнется с твердой решимости стать победителем. Время, чтобы дождаться тебя у дверей министерства, подняться с тобой по лестнице, вставить ключ в замочную скважину и нырнуть в обнимку, не зажигая света, в кровать, смутно освещенную фосфоресцирующими стрелками электронного будильника, путаясь в немыслимом количестве одежды и в нежных всхлипах, вновь обучаясь читать по Брайлю страсти. Толстуха положила ему на руку длиннющие темно-красные ногти; на ее запястье, похожем на лапку засохшей ящерицы, красовался браслет из поддельной филиграни с огромным медальоном Девы Марии Фатимской, звенящим, ударяясь о фигу[2] из слоновой кости, и психиатр почувствовал, что его вот-вот сожрет рептилия из третичного периода, челюсти которой, измазанные кровавой помадой, явно демонстрировали, что она жаждет жестокого убийства. Глаза динозавра уставились на него с фальшивым вниманием, придаваемым обильно наложенной тушью для ресниц, под бровями, выщипанными до толщины кривой, проведенной рейсфедером, грудь вздымалась и опускалась в ритме жабр, раскачивая многочисленные ожерелья, как корабли у причала. Лапка паукообразно карабкалась по его рукаву, пощипывала его большой палец, ляжка целиком впитала его ляжку, острый каблук придавливал его ступню, отрывая ему в яростной ласке пятку. Горбун, усевшись слева, громко сосал таблетки от горла, распространяя кругом запах ингалятора для астматиков; если на секунду крепко зажмуриться, можно было бы без труда представить себе, что ты в комнате Марселя Пруста, прячешься за стопкой тетрадей с рукописью "Recherche du Temps Perdu"[3]: c'est trop bête[4], так он обычно говорил о своих писаниях, je peux pas continuer, c'est trop bête[5]. Дорогой дядюшка Пруст: обои, камин, железная кровать, твоя трудная и отваж-

1. "Кто бы мог подумать, что ты окажешься на фотографии, совершенно спокойный и неподвижный среди застывшей шелухи" (*англ*). Цитата из стихотворения американского поэта Нельсона Бентли (1918–1990), которое называется "Atget's Lens" ("Объектив Атже"). Эжен Атже – французский фотохудожник (1857–1927).
2. Португальцы верят, что комбинация из трех пальцев приносит удачу, так что держат ее изображение дома и носят в виде украшений.
3. "В поисках утраченного времени" (*франц.*).
4. Это слишком глупо (*франц.*).
5. Дальше не буду читать, это слишком глупо (*франц.*). Цитата из воспоминаний Жана Кокто о Прусте. "Каждую ночь Марсель Пруст читал нам "По направлению к Свану". Эти чтения добавляли к страшному беспорядку в его комнате путаницу временной перспективы, ибо читать он начинал с любо-

ная смерть, но увы, я сидел за столом в Казино, и одиночество разъедало меня изнутри, как жгучая кислота, мысль о пустой квартире пугала, и стоило представить себе очередную ночевку на балконе, как я начинал заранее стонать от радикулита. Охваченный паникой, я двинул оставшуюся фишку на Большой: если выиграю, отправлюсь прямиком в Монти-Эшторил, залезу под простыню, буду мастурбировать и думать о тебе, пока не усну (рецепт относительного успеха); если проиграю, приглашу эту пожилую удавиху на скромную оргию, достойную ее пластикового леопарда и моих потертых джинсов и с учетом того, что подошел горестный конец трудового месяца; и непонятно было, какую из двух катастроф предпочесть: равный ужас вызывали что одиночество, что рептилия. Роскошная испанка задела его великолепной ягодицей, подушкой под более счастливую голову: эпоха тощих коров была, без сомнения, его судьбой навеки, и он смиренно приспосабливался к ней с безропотностью кроткого быдла: какая-нибудь скамейка в парке терпеливо дожидалась его меланхолически праздной старости, и вполне возможно, что по пятницам самый младший из братьев будет кормить его у себя дома ужином, в качестве гарнира к жареному мясу подавая советы и укоризны:

— Мама так и знала, что ты не наберешься ума.

И вполне возможно, что он не только никогда не наберется ума, но (что еще печальнее) ему не суждено то особое счастье, которое обычно обусловлено отсутствием этого странного атрибута, этого балласта, без которого легко возносишься к радостным вершинам веселого безумия, без тоски, без забот, без планов, когда отрочество становится состоянием души, призванием или судьбой.

— Мама так и знала.

Мама всегда все так и знала. И мне казалось, что инспектор Казино постепенно перенимает ее пророческий дар, веки его тяжелеют от огорчения, лоб хмурится, рука с зажженной сигаретой чертит в воздухе эллипсы, как бы снимая с себя этим жестом всякую ответственность:

— Чего от этого мальчика можно ожидать?

го места, ошибался, перевертывал несколько страниц подряд, начинал сначала, останавливался, желая объяснить нам, что шляпа, поднятая в знак приветствия в первой главе, обретет особый смысл в последнем томе, и вдруг прыскал, зажимал себе рот рукою в перчатке и словно размазывал по щекам и бороде этот рвущийся наружу смех. “Нет, это слишком глупо, — повторял он. — Больше не буду читать. Это слишком глупо” (Жан Кокто “Портреты-воспоминания”).

Ничего, припечатал он вслух со злостью, испугавшей горбуна, и в этот самый момент, крупье поставил стакан на стол, поднял глаза, оглядел присутствующих, подтянул галстук и провозгласил:

– Малый, – вынося, сам того не зная, окончательный приговор.

* * *

– А вы уверены, что вы доктор? – спросила рептилия, недоверчиво оглядывая его изношенные джинсы, потертую футболку, растрепанные волосы. Они вдвоем сидели в маленькой машине психиатра (“Не знаю, втиснусь ли я в эту штуку”) рядом с внушительным туристским автобусом, принимавшим обратно на борт груз из старушек-американок в вечерних платьях, с очками на серебряных цепочках, висящими на шее, как соски у младенцев, сопровождаемых блондинами, похожими на Хемингуэя с последних портретов.

– Я обычно людям доверяю, но всякое бывает, – добавила она, по-полицейски изучая удостоверение, которое он ей показал, – сколько раз уже нарывалась. Веришь так кому-нибудь, веришь – и на тебе: давай сюда сумочку и прощай, милая, стой на улице, считай ворон. Вы извините, это не про вас, но за грешника платит праведник, как святые отцы говорят, а бережено го бог бережет. У меня двоюродный брат со стороны отца санитаром в Сан-Жозе, в первом отделении, Каррегоза его фамилия, вы знакомы? Низенький такой, полный, лысый, немного заикается, сходит с ума по “Атлетико”? Эмблему поверх халата носит, играл за юниоров, жену его парализовало, она только и говорит: чердери, чердери? Вы уж простите, что я осторожничаю, но Мендеш мне всегда говорил: Дори (меня Дори зовут), держи ухо востро с незнакомыми, легче перебдеть, чем потом расхлебывать, то же я слышала от сеньоры, которой груди отрезали в институте рака, поднимала петли на чулках, а теперь все на капельницах, да на капельницах, ей почти так же плохо пришлось, как Мендешу, бедняге, он после революции вынужден был переехать в Бразилию, а что поделаешь, оставил мне нежное письмо, обещал, что вызовет, что никого так не любил, как меня, что это вопрос нескольких месяцев, как только устроится там, так и сразу, а мулаток он видеть не может: вонючие они. Месяц, другой – и полечу на боинге в Рио-де-Жанейро, он доктор финансовых и экономических наук, без работы куковать не будет, я вообще не видела, чтобы Мендеша мог кто-нибудь обскакать, работает, как пес, несчастный, хотя легкими слабоват, но это еще не все: деликатность, манеры, и как обращается с женщинами, прямо угадывает, чего мы хо-

тим, ни разу меня не бил, почти каждую неделю цветы, украшения, ужины в Комодору, кино. Я ему, понятно, говорю: малыш, зачем столько роскоши, но Мендеш знал, что я такие вещи обожаю, и не слушал, он просто святой, я так и вижу его с аккуратными бачками (я ему подарила машинку для стрижки "Филишейв" на Рождество), в рубахе "Роза Негра" с иголочки, лак на ногтях так и блестит.

Пауза.

— Вот и вам бы галстук из натурального шелка, пиджак из пьедепуля, а на голову — фиксатуар Брилькрим? В первый раз вижу такого доктора-неряху, прямо механик какой-то, доктор должен быть представительным, так ведь? Кто захочет иметь дело с психиатром, если он — поп косматый? Я вот если в банк иду, так уж требую почтения, солидности, по лицу сразу видно, знающий человек или нет — а как же, специалист, если себя уважает, носит жилетку, "БМВ" у него серебристое, дома люстры, в ванной золотые краны в виде рыбок водой плюются, войдешь — и видишь: денег куры не клюют, одна мебель на вес золота, вот скажи, что в наше время делать без денег, я без денег гибну, деньги — мое горючее, знаешь ли, отбери у меня мою сумочку крокодиловой кожи, и я — как без рук, привычка к роскоши — чего ты хочешь, не поверишь, но мой отец был профессором ветеринарии в Ламегу.

Она достала контрабандный "Эмел" из жуткой картонной сумки, имитирующей крокодила и закурила от огонька фальшиво-черепаховой зажигалки. Врач заметил, что туфли на неимоверно высоких каблуках она носит с подследниками и что глубокие не закрашенные ваксой заломы уродуют кожу союзки: распродажа на площади Чили, поставил он диагноз. У корней волос, где пробор, прорастала седина, толстый слой пудры, как ни старался, не мог скрыть глубоких морщин вокруг глаз и на увядших щеках, обвисших вокруг подбородка, как мягкие занавески из плоти. Должно быть, в бумажнике у нее фотографии внуков (Андреи Милены, Паулу Алешандри, Сони Филипы).

— Через неделю мне стукнет тридцать пять, — нагло заявила она. — Если обещаешь надеть смокинг и отвести меня в приличный ресторан, подальше от "Каракойш да Эшперанса"[1], я тебя угощаю: с тех пор как Мендеш уехал, у меня в сердце вакуум.

1. Ресторан на улице Эшперанса считается скромным, однако, когда Жоржи Амаду приезжал в Португалию, то любил бывать именно там.

И, сжимая ему плечо:

– Я такая чувствительная особа – жуть, просто не могу без любви. Ты, факт, зарабатываешь прилично, врачи дерут с нашего брата дай боже, если бы тебя привести в порядок, причесать, купить костюмчик на проспекте Рома, может, стал бы и ничего себе, да только мне все это: деньги там, внешний вид – безразлично, меня интересуют только чувства, душевная красота, ты понял, лишь бы мужчина хорошо со мной обращался, возил гулять в Синтру по воскресеньям – и все, и я, считай, счастлива, как канарейка. Я очень веселая – знаешь? – спокойная такая, домашняя. Я, малыш, из того поколения, кому с милым и в шалаше рай: дай мне только мою пенную ванну, депиляцию ног, открытый счет в кондитерской – и больше ничего не надо. У тебя ведь есть двести эскудо одолжить мне на такси до Лиссабона, потому что поезд – это не для моих нервов, у тебя наверняка есть двести эскудо, ты ведь хорошо зарабатываешь, и вообще ты джентльмен, терпеть не могу парней, которые не джентльмены, бездельники такие, вечно одна матерщина на языке у пиздоболов. Извини, но я человек прямой, за словом в карман не лезу, знаю, что говорю, ты со мной по-хорошему, и я с тобой по-хорошему, я тебя буду радовать, если ты меня, конечно, полюбишь, поймешь, оплатишь квартиру; чего я хочу – так это посвятить жизнь кому-то, чтобы водил меня в кино или в кафе, платил бы мне за квартиру, обходился бы как положено, чтобы ему нравился мой песик-таксик, чтобы принимал меня такой, какая я есть. Кстати, мы могли бы быть счастливы с тобой, как ты думаешь? А двести монет подкинешь? Не веришь мне? Ах, малыш, я влюбляюсь прямо с первого взгляда, тут ничего не поделаешь, ты мне глянулся, дай-ка очки надену, рассмотрю тебя получше, чтобы влюбиться еще сильнее.

Сначала она вытащила очешник, но тут же затолкала его обратно на дно сумки (“Черт, это для дали”) и извлекла из-под кучи бумажных платков, трамвайных билетиков и валяющихся как попало документов очки с линзами такими толстыми, как целые калейдоскопы, зрачки за ними исчезали, растворяясь в толще стекла: психиатр чувствовал себя как под дешевым микроскопом.

– Ой, малыш, да ты молоденький, – вскричали потрясенные диоптрии, – тебе примерно столько же, сколько мне, тридцать три, тридцать четыре от силы, да? Спорим на двести пятьдесят эскудо, что тебе тридцать четыре, я насчет возраста никогда не ошибаюсь, если бы так и с лотереей, я бы уже открыла магазинчик в Ареейру уебись сколько лет назад,

Мендеш поклялся мне костями покойного брата, что устроит мне такой в Пенья-ди-Франса, но потом явились эти коммунисты, всех нас обобрали и все пошло в задницу, накрылось медным тазом, но, если ты думаешь, что я отступилась, ты слеп как муж, который не видит дальше своих рогов: Дори упряма, как осел, в любви и в бизнесе я волкодав: своего не упущу, вцепляюсь мертвой хваткой. Да, кстати, сколько у тебя лежит в банке, больше сотни тысяч? А то мы могли бы, если хочешь, открыть парикмахерскую на паях, "Салон Дори" классно бы звучало, правда? Неоновые буквы снаружи, чистота внутри, богатая клиентура, мастерицы отборные, тихая музыка, кресла бархатные, все как в кино, а я бы сидела за кассой: коммерция – мой конек, ведь я десять лет торговала галантереей у Мендеша, и ни разу не допустила ни малейшего ущерба "Аванезе ди Арройуш", а закрылась она, потому что должна была закрыться: магазины тоже изнашиваются, знаешь, как мужские причиндалы, твой-то, плутишка, наверняка весь изношен, но Дори наладит, можно и на одной струне сыграть так, что ах, а еще поставщики "Аванезы" драли с нас втридорога, черти, тут я случайно познакомилась с Леалом, он еще пел на радио, ты его точно знаешь, вот-вот должен был на телевидение попасть, он мне такие песни посвящал в романтическом жанре, я аж плакала, представляешь, видный такой парень, не придерешься, его даже пригласили сниматься в фотосериале для "Хроники", такая история об одном инженере, он сын графини, влюблен в горничную своей матери, которая, оказывается, внучка маркиза, но сама не знала, маркиз жил в Кампу-ди-Орики, в инвалидном кресле, я ему твердила: Леал, соглашайся, соглашайся же, у тебя финансы поют романсы, к тому же, ты вылитый инженер, но у парнишки гордость взыграла, он разозлился, да будь это даже кино, говорит, я еще тысячу раз подумал бы, да будь это даже индийский фильм, он просто помешался на индийских фильмах, кто хотел с ним встретиться, всегда мог его найти у дверей отеля "Авиш", очень похож был на Артуро де Кордова[1] и Тони ди Матуша[2], тот же голос, те же аккуратные кудри, такая же тонкая талия, каждую среду и четверг занимался с гирями и гантелями в Атенеу, а в Кашиаше и на пляже дев-

1. Артуро Гарсия Родригес (1907–1973), известный как Артуро де Кордова, – мексиканский актер так называемого Золотого века мексиканского кино (1936–1959), лауреат многих премий.
2. Тони ди Матуш (1924–1989) – знаменитый португальский певец, исполнитель фаду.

чонки на него так и вешались, Мендеш смирился, простил меня, он знал мой темперамент и прощал, Леал женился на хозяйке ювелирной лавки из Амадоры, на этой козе драной, у которой и сисек-то толком нет, вдова моряка, тот моряк наварил какие-то сраные бабки на контрабанде: приемники привозил, а может, пизду своей жены предлагал всем подряд направо и налево, я месяц без таблеток уснуть не могла, все вздыхала, даже радиосериал разонравился, Мендеш меня отпаивал липовым чаем, бедняжка, утешал: Дори, я, мол, если доктор разрешит, пойду запишусь на гимнастику в Атенеу, у бедненького была грудная жаба, еле-еле по лестнице поднимался, тут же задыхаться начинал, а сколько раз на мне сознание терял, Дори, успокойся, твой Сладенький здесь, с тобой, Мендеша звали Рейналду, Рейналду-ди-Консейсан Мендеш, но я его называла Сладенький, ему так нравилось, я от горя на пять кило похудела, эх, блядь, встретила бы эту гнойную жабу, рога бы ей зубами пообломала, говноторговка, кошка ошпаренная, в октябре откинула копыта, спасибо аневризме, я благодарственный молебен оплатила у Антония Блаженного, теперь мне радоваться до конца жизни, падре что-то бормочет по-латыни у алтаря, а я на коленях про себя: ты сам не знаешь, о чем молишься, мошенник, да здравствует кладбище Бенфика: там теперь та, которая меня отпидарасила.

Врач доехал до Маржинала и свернул к Монти-Эшторил: у подножия холма там была одна ночная забегаловка, в которой он не слишком рисковал встретить знакомых: ему было бы неловко, если бы его увидели в компании этой слишком шумной особы, как минимум раза в два его старше, боровшейся с дряхлостью и нищетой, играя этот абсурдный спектакль, смешной и трогательный одновременно, от которого ему становилось стыдно: по сути, они ничем друг от друга не отличались, и их отчаянная борьба была одинаковой: оба бежали от невыносимого одиночества, и оба, из-за нехватки сил и смелости, без малейшей попытки сопротивления сдавались тоскливому утру, как перепуганные совы. Врач вспомнил фразу Скотта Фитцджеральда — грустного матроса того корабля, на котором все они плыли, с усталым сердцем, питавшимся горьким кислородом алкоголя, высаженного на берег перед последним рейсом: в настоящих ночных потемках человеческой души всегда три часа утра. Он протянул руку и с искренней нежностью погладил динозавра по затылку: привет, старушка, прорвемся вместе через этот мрак, как бы говорил ей его большой палец, скользя вверх и вниз по ее шее, прорвемся сквозь этот мрак, ведь выход только через дно,

как объявил Павия[1], прежде чем обняться с поездом, выход только через дно, и возможно, опираясь друг на друга, мы туда доберемся, Брейгелевы слепцы, бредущие на ощупь, мы доковыляем туда с тобой, по этому коридору, полному детскими страхами и волками, населяющими бессонные ночи, полные угроз.

— Ах, ах, — воскликнула Дори с победной улыбкой, — шалунишка!

И сжала мне яйца своей клешней, как щипцами для орехов, так что я завопил от боли.

Ночное кафе должно было стать последним пунктом сегодняшнего маршрута: единственными его обитателями, если не считать кривого официанта, который принес нам с явной неохотой джин и пластиковую тарелку с попкорном, и девушку-дискжокея, читавшую "Утиные истории" в своей поющей клетке, словно карлик из музыкальной шкатулки, застывший в позе эмбриона, оказались два сонных типа, облокотившихся на барную стойку, опустив свои конские морды в корзины со жмыхом и скосив глаза на доисторическую женщину, крутившую передо мной гигантскими бедрами и глядевшую вокруг рассеянно, будто созерцая неинтересные развалины. Лампы на потолке, мягко пульсируя в ритме танго, освещали жалкую и вульгарную сцену моей казни: железные стулья за столиками на тротуаре, не работающий телевизор на высокой полке, шелуху и круглые отпечатки бокалов на столиках: умер в нищете, говорилось в учебниках о покойных поэтах, скелетообразных бородачах, застывших в задумчивых позах, размышляя, вероятно, о том, что бы еще заложить в ломбарде, или складывая в уме прекрасные александрийские строфы. Дори, с приближением рассвета вернулась памятью в золотую юность, когда она, горничная, расцветала от матримониальных обещаний своего кузена-солдата, и заказала сэндвич со свиной колбасой и салом, от которого предложила врачу в порыве внезапной учтивости откусить первым; жевала она с открытым ртом, что придавало ей сходство с бетономешалкой, и они танцевали, передавая друг другу куски хлебной корки ("Папочка, ланна, ты такой хуэнький"), как жертвы кораблекрушения, по-братски делящие рацион на спасатель-

1. Антониу Флореш Бугалью (1933–1968), писавший под псевдонимом Кришштован Павия, — португальский поэт, сын поэта Франсишку Бугалью. Единственная его книга, опубликованная при жизни, вышла в 1959 г. и называлась "35 стихотворений". "Выход только через дно" — название и строка из одного из его стихотворений.

ном плоту. Кривой толкнул локтем в бок лошадиные морды, и все трое очумело уставились на них, завороженные нелепейшей картиной: постаревший подросток повис на шее гигантской китихи времен палеолита с огромной завитой гривой. Твою мать, подумал в ужасе врач, вдыхая запах духов, подобных отравляющим газам войны 14 года, испаряющихся смертельным облаком с затылка женщины, вот что бы я делал, окажись я на моем месте?

* * *

Сейчас пять утра, и клянусь, я по тебе не скучаю. Дори там, в комнате, спит пузом кверху, раскинув руки, как распятая на простыне, а ее вставные зубы, отклеившись от неба, вздымаются и опускаются в такт дыханию с влажным хлюпаньем вантуза. Мы пили самогонку с кухни из латунного ковшика, сидя голышом на кровати, которую отравляющий газ Первой мировой сделал непригодной к обитанию, даже листья, нарисованные на наволочках, — и те обуглились, я выслушал ее долгую исповедь, утер обильные слезы, от которых у меня на локте осталась смутная татуировка из туши для ресниц в виде куста, накрыл ее до подбородка простыней, словно милосердным саваном, скрывающим бесформенное тело, и вышел на балкон отковыривать затвердевшие птичьи испражнения. Холодно, дома и деревья медленно рождаются из мрака, море разлеглось светлеющей с каждой минутой и все более отчетливо различимой скатертью, но я не думаю о тебе. Я чувствую себя прекрасно, я весел, свободен, доволен, слышу, как стучит по рельсам последний поезд, угадываю по звуку, что просыпаются чайки, ловлю дыхание мирного города вдалеке, счастливо и широко улыбаюсь, мне хочется петь. Если бы у меня был телефон, и ты бы мне сейчас позвонила, тебе пришлось бы осторожно поднести трубку к уху, как раковину, и сквозь завитки бакелита за много-много километров донеслись бы до тебя с этого бетонного балкона, висящего над остатками ночи, отзвуки моего молчания, победное эхо моего молчания, глухое пиано волн. Завтра я начну жизнь сначала, буду взрослым и серьезным, буду ответственным, таким, каким желает меня видеть мать, таким, каким надеется видеть меня семья, приду вовремя на работу, буду пунктуальным и строгим, причешусь, чтобы не пугать пациентов, подчищу свой вокабуляр, выпалывая обидные непристойности. Возможно даже, любимая, я куплю себе настенный ковер с тиграми, как у сеньора Феррейры: можешь считать меня идиотом, но надо же хоть за что-то уцепиться, чтобы жить.

Жозе Сарамаго

Нобелевская премия 1998 года

Возможные стихотворения

Перевод Павла Грушко, Екатерины Хованович
Вступление Екатерины Хованович

Знаменитый Жозе Сарамаго, удостоившийся Нобелевской премии романист, писал и стихи. Их набралось всего на три небольших сборника, которые неоднократно переиздавались, но автор, начиная со второго выхода в свет своих ранних "Возможных стихотворений", случившегося через целых шестнадцать лет после первого, постоянно спрашивал себя, почему их публикуют вновь и вновь? Имеют ли эти стихи собственную ценность, или издатели уверены, что продадут их, потому что автор — известный прозаик? Судить об этом, разумеется, читателю. Что до португальских читателей, то многочисленные цитаты и целые самодеятельные "сборники" стихов Сарамаго в интернет-дневниках и на личных страничках говорят о том, что книги куплены отнюдь не для того, чтобы тихо пылиться на полках, хотя автор и тяготеет к традиционным размерам и рифмам, вышедшим в XX веке из моды. Теперь и перед русским читателем давно знакомый и многими любимый писатель предстанет в новом свете, и хочется верить, что не разочарует.

Там в самом центре моря, в синеве,
где нарождаются ветра, а солнце
неторопливо золотит волну,

Poems by José Saramago © 1966, 1970 José Saramago
© Павел Грушко. Перевод, 2015
© Екатерина Хованович. Перевод, вступление, 2015

где не возделана земля и кротки
животные, где в рощах бьют ключи
и первозданны хоры певчих птиц,
любовь моя, там остров, мной открытый,
когда я, потерпев жизнекрушенье,
приникнул к дюнам тела твоего,
и там, в далекой дали, робкий ветер,
твои холмы и пади овевая,
рождал приливы жаркого желанья.

Соглядатаи

Повсюду вши, земля покрыта ими,
нигде от их укусов не укрыться,
они любую тайну уследят,
от их зубов нет спасу и во сне.

Щетинистые твари всех цветов,
они резвятся, этим и опасны, —
коричневые, желтые, зеленые,
те серые, а те черным-черны.

Но все они похожи в своей злобе,
в своей прожорливости неуемной, —
так после пира пышного лишь кости
обглоданные усыпают двор.

Перевод Павла Грушко

Программа

Родимся в муках мы, провидя мрак,
Мы в ярости растем, нас гнев ведет,
Жизнь без борьбы нам не прожить никак,
Полюбишь — семь потов с тебя сойдет.
И выход только в смерти: добрый знак.

Я тень свою срезаю...

Я тень свою срезаю со стены,
Пружинку подтяну — и вот движенье,
Чуток страданий, речь, желаний жженье,
Румянец, жажда, голод ей даны.

Я на нее смотрю со стороны:
Ей удаются жесты и слова
Как бы мои, но узнаю едва:
В них зерна правды в ложь облечены.

Двухмерная, по судьбам всех вокруг
Она скользит не в силах убедить
Ни в чем. Так без иглы бессильна нить,
Так без стрелы стрелять не может лук.

В иной я жизни жду освобожденья
От получеловечности, живущей
В бесплотной тени, форму берегущей.
Бесформенная плотность — вот решенье.

Эпитафия Луису де Камоэнсу

Что помним о тебе? Одни стихи остались.
Берег ли мир тебя, узнаем мы едва ли.
Владел ты каждым днем с рожденья и до смерти,
Или стихи — увы! — жизнь у тебя украли?

Трюизм сорокалетнего

Пятнадцать тысяч суток истекли,
Пятнадцать тысяч дел не удались,
Пятнадцать тысяч тусклых солнц зажглись,
И все их мы сочли,
Часов воображаемых пружину
Подкручивая медленным движеньем,
Чтобы, в ушедшей запасясь терпеньем,
Прожить вторую жизни половину.

Подметки

Я знаю, те подметки, что пришил я
К своим усталым сапогам, порвутся
На времени неровной мостовой.

Остановись я — целы бы остались,
Но вечно мне на месте не сидится,
Хоть вижу, что рискую головой.

Перевод Екатерины Хованович

Жозе Луиш Пейшоту

Рассказы

Перевод Марии Курчатовой

Улыбка утопленников

В небе летали птицы, как будто паря в более справедливом мире. Носились по этому миру — из одного лишь сияния, по этому небу. Летали счастливые. Облака, еще выше, еще дальше от всего, еще совершеннее, были маленькими белыми пятнышками, показывающими, что высь неба бесконечна. Здесь, внизу, десятки людей, наверное, говорили. Здесь, внизу, земля, этот мир и десятки людей, наверное, встревоженных, движущихся не исчезая. Бриз гулял по полям, по камням, по кочкам, по молодой траве, скользил по поверхности дамбы. Там, далеко, солнце почти касалось другого конца дамбы. Свет разлился по воде, по земле, и ударился об эту неспокойную толпу, и разбросал их тени по земле. Разбросал беспокойство.

Остановилась машина. Все посмотрели на меня. Я снял рубашку, ботинки и надел водолазный костюм. Вошел в середину толпы. Люди расходились на моем пути, не переставая

© José Luís Peixoto
© Мария Курчатова. Перевод, 2015

смотреть на меня. В конце ряда мужчин, все еще с голыми торсами, женщин, в цветастой пляжной одежде, и мальчишек, красных от солнца и со слипшимися волосами, стояла худая и бледная женщина, с огромными глазами, с двумя маленькими девочками, не понимавшими и тоже смотревшими на меня. Абсолютная тишина моих шагов. Я подошел очень близко, чтобы заглянуть в глаза женщины. Ее лицо было отчетливо — отчетливо грустно. Ее белая кожа, ее очень чистые волосы. Протянула мне старую фотографию молодоженов, смущенно улыбавшихся. Когда говорила, очень мягким голосом, все люди замолчали, чтобы слышать.

Мой отец. Эта фотография несколько стара. У меня не было другой. Моему отцу больше семидесяти лет. Верните мне моего отца, пожалуйста. С тех пор как моя мать умерла, он всегда приходил сюда. Часами смотрел на дамбу. Каждый день. Летом и зимой. Верните мне моего отца, пожалуйста. Люди, которые были здесь, говорят, что он хотел покончить с собой, что вошел прямо в воду и продолжал идти, пока не исчез. Мой отец не умел плавать. Всегда приходил сюда. Каждый день. Часами смотрел на дамбу. Шел, пока не исчез. Верните мне моего отца.

Глаза женщины наполнились и пролились прозрачными каплями слез. Девочки и она были одеты так, как будто кто-то перенес их из центра города сюда, к дамбе. Кроме них, только пожарные в голубой униформе, изображающие ложное спокойствие, только люди с полотенцем на плече и автомобильной камерой на поясе, на земле аккуратной стопкой лежала черная рубашка и сложенные черные брюки. Перед ней были ухоженные старческие ботинки. Как незыблемый неприкосновенный алтарь, они стояли там, может быть, в ожидании, что утопленник вернется и захочет их надеть. Я наклонился к лицам девочек. Одна была немного старше. На их маленьких лицах, почти одинаковых, — детская серьезность. Очень тихо, так, что слышно почти мне одному, младшая сказала: дедушка. Я поднялся, потрепал их по головке и пошел.

Подойдя к кромке воды, надел ласты. Звук низких волн дамбы, ветерок по ногам. Я вошел в воду. Оставался только один час дневного света. Я вошел в воду. Вошел в новый мир, отличный от земли людей, отличный от неба птиц. Часа будет достаточно. Знаю все закоулки дамбы. Уже доставал оттуда многих утонувших: женщин, стариков, детей. В очках, ограничивающих взгляд, я поворачивал голову из стороны в сторону. Знаю каждый камень и каждый склон глубин дамбы. Иногда во сне вижу, что нахожусь внутри нее.

Два года назад, в июле, я искал мальчика десяти лет. Это был одноклассник моего сына. Пропал пять часов назад. Когда я его нашел, у него был распухший живот, и он спал под водой, положив голову на камень. Крабы ползали по нему, не будя. Помню побелевшую кожу и лучи света, нарисованные на толще воды. Когда я его увидел, посмотрел на небо. Небо дамбы не бесконечно. Кончается на поверхности стекла, к которому невозможно прикоснуться. Потом взял его на руки и поднял. До сих пор чувствую прикосновение его гладкой кожи. Гладкой кожи утопленника.

С детьми тяжелее. Так я думал. О стариках люди плачут меньше. Люди думают: они старики. Так я думал, чувствуя свое тело, обернутое в пелену воды, тяжелыми движениями рассекающее воду, но не переставая видеть те почти счастливые лица на давней фотографии давней свадьбы. Рука невесты в руке жениха, новый отглаженный костюм, галстук, лица двух людей, ставшие детскими в тот момент.

Ласты несли меня, руки вдоль тела, я погружался глубже вдоль дамбы, как будто мое тело разрывало воду. Я начал различать его ясно. Увидел его белую спину и приблизился. Он качался в нескольких ладонях от дна, прямой, с расслабленным и безучастным телом. Когда я взял его за плечо, чтобы перевернуть, он повернулся сам. Остановился, глядя на меня. Испуганные, удивленные, мы смотрели. Его тонкие губы. Он улыбнулся. Я, жестами и пузырьками, попытался объяснить ему, что его ждут дочь и внучки. Он улыбнулся. Сделал знак следовать за ним. Не знаю, о чем я думал, когда плыл за стариком в черных шортах, с развевающимися волосами, с толсто-тощим старческим телом. Остановились на участке дамбы, где я никогда не был, в новом месте, в месте, рожденном там, в тот момент. Он улыбнулся. Также плывя, появилась улыбающаяся женщина. То была женщина с фотографии, но слегка постаревшая. С белыми волосами, одетая в простую юбку и блузку с золотой брошью. Улыбнулась. Они посмотрели на меня и взялись за руки. Небо дамбы и вода темнели. Я поплыл на поверхность. Поднимаясь, я все же обернулся посмотреть на них, держащихся за руки. Они помахали мне, улыбаясь. Потом мир. Я снял трубку, поднял очки и поплыл. Вдалеке — беспокойная толпа.

Когда я доплыл до берега, все люди смотрели на меня. Я ни с кем не заговорил и начал снимать оборудование и костюм. Люди разговаривали, наверное, взволнованно. Женщина сильно плакала. Девочки подошли ко мне. Очень тихо, так, что слышно почти только мне одному, младшая сказала: дедушка. Я долго смотрел на двух девочек и увидел улыбку, рождавшуюся на их губах.

Женщина, которая мечтала

ПРОСНУЛАСЬ такой счастливой. Монахиня открыла дверь комнаты и прошла по маленькому коридору между кроватями. Несколько женщин проснулись, как только эти слабые звуки прикоснулись к тишине: стук закрываемой двери, шаги резиновых подошв по деревянному полу. Прислонясь почти вплотную к окну, монахиня подняла жалюзи. В этой комнате стояло два ряда железных кроватей, по четыре в каждом. Ночью женщины ложились ногами к центру помещения. Монахиня подняла жалюзи. Свет, проникший в комнату, был сама молодость света. Медленно он крался по поверхности комнаты и по поверхности женских тел, укрытых одеялами. Тела женщин были теплы. Одеяла были из шерсти, мягкой от времени, коричневого цвета, с запахом чистоты и стирального порошка — запахом всех вещей приюта. Перед окном, в тишине, монахиня заставляла себя не смотреть на просыпающихся женщин. Скорее от сладкого света, чем от голосов женщин, говоривших друг с другом, скорее от сладкого света, чем от такого же сладкого взгляда монахини, она проснулась. Такой счастливой. Ее кровать была третьей от окна, в левом, относительно взгляда монахини, ряду. В открытые глаза — свет утра. Она чувствовала комбинацию и теплые простыни на теле. Положила руку поверх одеяла. Уже встав с кровати, надевая халат и тапочки, она все еще помнила свой сон. Помнила его, как будто до сих пор продолжала спать. Улыбалась. Ей снилось, что она была молода и не жила в приюте. Была молода и была дома. Мать звала ее из кухни. Была молода. Ей снилось. Проснулась такой счастливой. Была молода. Мать звала ее из кухни. Во сне держала кусочек зеркала в руке. Ее волосы были длинны и свежи. Ее кожа была гладкой. Ее глаза были молоды и блестящи. Ей снилось. Со сложенным полотенцем на плече, с мылом в руке, ждала очереди в ванную. Ей было непривычно, но монахини говорили, что все женщины должны принимать душ по утрам. Она уважала правила приюта. Пар затуманивал ей взгляд. Голоса женщин вокруг нее были где-то, где ее не было. Ей снилось, что она молода. Как будто продолжая спать, улыбалась.

Проснулась в беспокойстве. Собака залаяла во дворе. Еще на рассвете собака начала лаять как будто против чего-то неодолимого: холода или смерти. Начало зимы проникло в окно с ясностью морозного беспокойства. Начало зимы накрыло маленькую эмалевую раковину и железные изгибы умывальника, накрыло бедный комод. Между простынями и

фланелевой рубашкой пробирались струйки ледяного воздуха, касавшиеся ее кожи. Ей, с все еще закрытыми глазами, холод и лай собаки принесли жизнь, существовавшую за закрытыми глазами. Морщинистая кожа позволила медленно открыть глаза. Удивилась свету, похожему на холод, слегка озаряющему вещи. Лай собаки проник сквозь квадрат окна и наполнил комнату. Отбросила простыни и быстро встала с кровати. Открыла ящик тумбочки и вынула осколок зеркала. Осколок разбитого зеркала, который она нашла сверкающим на улице. Беспокойство пробуждения осталось. Беспокойство от сна. Во сне, продолжавшемся после пробуждения, она видела себя старой. Ее волосы были белыми и сухими, были старыми и мертвыми. Это были волосы мертвые, седые, грязные. Ее кожа была стара до мягкости. Ее лицо было старо. Зажала кусочек зеркала в пальцах, и на поверхности, вмещавшей всего лишь один глаз, увидела отражение своей гладкой кожи, своих губ, своих длинных каштановых волос. Провела рукой по волосам. На мгновение почувствовала себя отдохнувшей. На мгновение почувствовала облегчение. Мать звала ее из кухни. В этот день подошла к матери со странным чувством. Посмотрела на ее руки, ее волосы, лицо, глаза. Представила себя в возрасте матери, представила себя такой, как она. Во сне, затаившемся в ней, как незабываемое воспоминание, она была еще старше матери. На мгновение почувствовала усталость своего тела. Не глядя на свои волосы, почувствовала их седину. Не глядя на свою кожу, почувствовала глубину морщин. Почувствовала, как глаза начали плакать от усталости. Затем вспомнила холод и вспомнила, что слезы в глазах — от холода. Затем провела ладонью по руке, потянула пальцами за кончики волос и успокоилась. Мать попросила ее принести дров со двора. Холод проникал под дверь. Она открыла дверь. Холод ударил ей в лицо. Во дворе сестра играла с собакой, привязанной к лимонному дереву. Сестра бросала маленький зеленый лимон, он катился по земле, собака кидалась его ловить и, когда уже открывала пасть, веревка натягивалась и сжимала ей горло. Приблизившись к поленнице, она села на корточки и одной рукой стала набирать хворост, прижимая его к груди. Сестра, маленькая, оставила собаку и прижалась к ее юбке. Заговорила. Она не ответила. Чувствовала себя старой. Как во сне. Была стара. Как во сне. Не знала, когда был сон — до или после пробуждения.

После мессы осталась стоять на коленях в часовне приюта, притворяясь, что молится. У выхода монахини смотрели на нее удовлетворенно и почти растроганно. Другие женщины смотрели на нее недоверчиво. Осталась одна.

Часовня, прохладная, не существовала. Внутри нее, за закрытыми глазами, жил тот сон, где она была девочкой. За закрытыми глазами она была молода, она ушла во двор за дровами. Улыбалась. Сестра шла рядом с ней. За закрытыми глазами она вошла на кухню, положила дрова в корзину. Улыбалась. Встала на колени перед очагом, зажгла сосновую шишку, сложила крестом две хворостины, прислонив их к большому полену, не догоревшему вчера, и поместила шишку так, чтобы ее пламя касалось пересечения двух хворостин. Рядом с ней сестра смотрела на занимавшееся пламя на полене и хворосте, смотрела на огонь. Мать поставила на стол чашку кофе для нее. Она села пить на скамью. Кофе обозначил своим теплом путь ей в душу. Открыла глаза, пытаясь увидеть, пытаясь почувствовать все, что ее окружало, но глаза затуманились, и она не видела ничего, кроме того, что ей снилось.

Сидя за кофе, видела себя старой, видела себя на коленях в незнакомой часовне, медленно, не сгибая спину, обхватив руками переднюю скамью, медленно поднялась, старая, старая. Не смотрела на алтарь незнакомой часовни, смотрела на открытую дверь, на свет, проникавший в проем двери. Видение того, что ей снилось прошлой ночью, беспокоило ее. Кофе не помог. Сколько бы ни пыталась, она не могла перестать видеть себя такой, как во сне. Была в незнакомой часовне и смотрела на свет, проникавший в дверной проем. Шла к двери. Ее шаги были мягки, но длились в мраморе. Она допила кофе, и мать попросила ее сходить в лавку и купить четверть круга колбасы на обед. Уже на выходе мать попросила ее взять с собой сестру. Протянула ей руку. На улице, держа за руку сестру, чувствовала свой сон, наполнявший то, о чем думала. Старая, шла по земляной дорожке, между клумбами цветов, купавшими юность в солнце, которое, казалось, смеялось над ее старой кожей, и над ее безжизненными волосами, и над ее порывистыми движениями. Но была так счастлива своему сну прошлой ночи, сну, который все еще был внутри нее. Так счастлива. Сон был как те субботы, когда она просыпалась, веря, что воскресенье уже наступило. В приюте все дни были одинаковы. Но иногда наступала суббота, и она верила, что уже воскресенье. Ни когда понимала, что это не воскресенье, ни когда видела, что нет воскресной мессы, ни когда наступало время посещений и она замечала, что посетители не пришли, она не переставала верить, что наступило воскресенье, в эти субботы, когда просыпалась с верой, что уже воскресенье. Таким же был и сон внутри нее. Видела себя молодой. Шла по саду приюта, между стен кипарисов и клумб незабудок, и видела себя молодой. Видела себя

на улице, за руку с сестрой, по дороге в лавку за четвертью круга колбасы на обед.

Сидела за столом. Весь день она пыталась сосредоточиться на подробностях своей молодости, но так и не освободилась от странного чувства. Была стара изнутри. Сидела за столом. Была усталой. Чувствовала то же беспокойство, что и в момент пробуждения. Обед был на столе. Мать сидела с одной стороны, сестра — с другой, она — с третьей. Молчали. Керосиновая лампа оттеняла черты лица сестры, когда она пыталась что-либо сказать. Мать наполнила тарелки супом. Подняла ложкой колбасу и разломила ее на две части, которые положила на тарелки дочерей. Она не была голодна. Горел очаг, и она думала о том, что скоро наступит время сна. Она боялась спать. Она боялась видеть сны. Иногда, поднося ложку ко рту, закрывала глаза и видела себя в окружении старух, которые едят суп в ярко освещенном зале. Резко открыла глаза. Увидела мать и сестру. Ее сердце сильно билось. Ни мать, ни сестра не заметили охватившего ее страха. После еды, после мытья посуды, пошла укладывать сестру. Сняла с нее платьице и надела фланелевую рубашку. Никогда не смотрела на лицо своей маленькой сестры так, как в эту ночь. Накрыла ей грудь одеялом. Сестра закрыла глаза. Кожа белая и гладкая. Осталась, чтобы смотреть на ее лицо. Сестра быстро заснула. Дыхание такое спокойное. Вышла из комнаты сестры маленькими шагами. Вошла в свою комнату со страхом — пора спать. Сняла одежду, надела ночную рубашку. Легла под холодные простыни. Долго была неспокойна. Нервничала. Была взволнованна. Вертелась в постели. Боялась спать и снова видеть сны. Каждая минута ночи казалось очень долгой. Но много времени спустя, после того, как много времени прошло внутри ночи, после того, как время было уже неразличимо в длинной, огромной, бесконечной ночи, ее тело потеряло силы и, наконец, заснуло.

Сидела за столом. В тот день была так счастлива. В столовой приюта ходили монахини, разнося супницы по столам. Белый свет флуоресцентных ламп придавал столовой четкость в глазах тех, что видели четко. Она улыбалась глазами, видя их молодыми. Ее глаза видели себя. Рядом с ней не было этих женщин, которые ели суп, этих женщин, которые очень быстро двигали ложками, как будто на пути от тарелки до рта суп может вылиться из ложки. Этих женщин, чьи руки с ложками тряслись, которые очень быстро закрывали рты с ложками. Рядом с ней были ее маленькая сестра и мать. Улыбалась. Видела их вместе и улыбалась, потому что в это время

сестра еще не заболела пневмонией, которая должна была ее забрать. Пневмонией, которой предстояло делать ее кожу серой, все более тонкой, ее ребра выступающими даже под фланелевой рубашкой, ее голос, просящий с ней поиграть, хрупким, ее руки маленькими и слабыми, улыбку — маленькой и слабой на серой коже, глаза — почти закрытыми, и, потом, ее — мертвой. Ее маленькую сестру — мертвой. Белый гроб ангела. Ее мать плачет. Судороги внутри нее. Все это было еще невозможно, когда, в том сне, она видела сестру, которая ела суп. Ее сестра, счастливая и невинная. Тот сон был куском ее жизни до горя. В тот день была так счастлива. Окруженная женщинами, которые едят суп, она была рядом со своими сестрой и матерью. Сестра еще не умерла, и мать еще не состарилась так сильно. Мать еще не была одета в черное, которое будет носить всю жизнь, каждый день[1]. Еще не была так стара, как она здесь, за столом приюта. Не было смерти. Ни кладбища с маленькой могилой сестры, холмиком земли и крестом в детской части[2], с могилой матери, мрамором и ее именем под единственной фотографией. Ни одинокого кладбища бесчетными ночами, всегда черными, всегда холодными, ночами, ползущими над землей, над лицами ее сестры и матери. Все это было невозможно, когда, в том сне, видела сестру, евшую суп. Ее сестра, счастливая и невинная. Тот сон был куском ее жизни до горя. В тот день была так счастлива. Как только закончила есть, хотела пойти спать. Хотела спать. Хотела видеть сны. Хотела быть молодой еще один день.

Проснулась такой счастливой. Как только поняла, что проснулась, внутри нее проснулось бесконечное торжество, оттого что поняла, что снова видела сон. Лежа, окруженная голосами просыпавшихся женщин, под взглядом монахини, лежала, окруженная холодным светом, под звук лая собаки, привязанной к лимонному дереву в саду. Проснулась в тревоге. Снова видела сон. Встала с кровати. В очереди в ванную чувствовала на руках мягкие царапины от коры хвороста, который принесла к огню. Зажигая спичку, открыла кран. Маленькое пламя охватило шишку. Тыльной стороной ладони проверила, нагрелась ли вода. Чувствовала воду на теле старом, молодом. Чувствовала жар огня на теле старом, молодом. Сестра была рядом с ней, когда она намыливала руки.

1. В католических семьях после смерти мужа или ребенка женщина носит пожизненный траур. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. В прошлом на португальских кладбищах выделяли особую часть, где хоронили только детей.

Сидя перед огнем, слышала голоса других женщин. Мать ходила по кухне из конца в конец. Мать ходила по кухне из конца в конец. Сестра была жива. Мать была жива. Старая, молодая, принимала еще один день. Хотела жить.

В*дова у реки*

СИЖУ на берегу реки, и Бог сидит рядом со мной. Сижу на траве. Протягиваю руку и дотрагиваюсь до воды, приближающейся к берегу, чтобы поговорить со мной. Окунаю пальцы — вода прохладна. Слушаю тихие слова, которые мне говорит вода. Бог протягивает руку и дотрагивается до всей реки танцующими точками света.

Тело реки медленно движется. Все ее тело из воды. Река всегда молода. Могут пройти века. Может пройти целая вечность. Река всегда молода. Сорок лет назад река была точно такой же. Я была другой. Бог не сидел рядом со мной. Сорок лет назад было утро. Были такие же точки света на поверхности реки. Ее тело медленно двигалось. Точки света появлялись и исчезали на медленных волнах воды. Здесь было старое дерево, и, когда солнечный луч проходил сквозь ветви, окунался в воду, он проходил ее насквозь, потому что вода была прозрачна. Передо мной вода все еще прозрачна. Мы с Богом смотрим на воду и думаем. Наши взгляды окунаются в воду и проникают сквозь нее, как когда-то солнечные лучи, которые проходили сквозь ветви старого дерева. Бог знает, о чем я думаю. Думаю о словах, которые мне сказала река и которые, сорок лет назад, когда было утро, я не смогла понять. Мои волосы были длинны и черны. Мои глаза не знали. Было утро. Моя мать сказала мне: можешь идти. Черная одежда моей матери на ее теле, ее лицо. Можешь идти. До этого — мой голос, тонкий и хрупкий, спрашивает. Сорок лет назад мой голос был детским. Затем голос моей матери и ее черная одежда и ее лицо. Можешь идти. Сорок лет назад было утро, и я сидела здесь. Река была молода. Было старое дерево. Бог не знал обо мне.

Пришел, и его рука дотронулась до моего плеча. Обернулась посмотреть на лицо, прекраснее всех, что я видела. Спросил: можно присесть? Сорок лет назад, когда Бог не знал обо мне, девочке, и о том, что для меня весь мир был — эта река и эта деревня с купами цветов и белыми домами в желтую полоску, пришел мальчик, попросивший сесть со мною рядом. Я сидела на траве. Было утро. Было старое дерево. Молчали. Смотрели на реку, как мы с Богом смотрим сейчас. Я смотрела на реку и чувствовала присутствие мальчика

рядом с собой, почти неслышный звук его дыхания, непонятные слова воды. В этот первый день молчали. Узнавали друг друга. Знали о существовании друг друга. Небо тоже существовало. И река. Небо было бесконечно, когда случайно смотрело на него. Река, наверное, была проходящей жизнью. В этот первый день поверили, что, наверное, река была проходящей жизнью. Сидели рядом. Река уносила утро с собой. Встала и ушла. Он остался. Молчали. Ухожу — мои шаги по земле и тяжесть его взгляда на мне.

Дома мать, одетая в черное, попросила служанок принести чай. Служанки входили и выходили из гостиной, где сидели и убивали вечерние часы мы с матерью. Слышала голос матери, только когда она давала указания прислуге. Голос моей матери стал стальным с тех пор, как умер отец. Но я оставалась сидеть в гостиной, солнце проникало сквозь занавески, и, не говоря ничего, я думала о том лице, которое видела всего лишь мгновения. Внутри меня, в моем молчании, это было лицо света, когда утро нуждается в нем, и это было лицо воды, когда губы сухи, но есть прохладная вода, струящаяся откуда-то, где утро. Поэтому оставалась сидеть, вышивая. Его образ медленно горел внутри меня, как затмение солнца, как светящееся лицо, как солнце. Иногда смотрела только на иглу и на мои пальцы между нитью вышивки, и иногда, мне казалось, нить принимала форму его лица. Служанки входили и выходили из гостиной. Моя мать продолжала сидеть. Ее одежда была черной. Ее голос был стальным.

Однажды был вечер. Я была у себя в комнате. Была за стеклом окна, ставни были открыты. Смотрела на мужчин, проходивших с лошадьми по двору и затем обратно с охапками сена или ведром воды. Смотрела на лошадей и на мужчин, ухаживающих за ними. Была за стеклом окна, занавески скользили медленно по моему лицу, смотрела на двор, но, когда смотрела на стекло передо мной, видела свое отражение. В тот момент, когда смотрела на свое лицо на стекле и когда двор был только мутной неопределенностью, я заметила тень, медленно приближающуюся сквозь отражение моего лица. Это он проходил по двору. Подошел к одному из мужчин, ухаживающих за лошадьми, и заговорил с ним. Его тело и лицо вдалеке. Я не пыталась понять, что они говорили. Пыталась запомнить каждый жест. Когда они разошлись, он посмотрел на меня.

Проходили дни, когда моя мать, сидя в гостиной, ждала. Я мечтала. Вышивала. Когда прошло время, однажды утром, я снова попросила мать. Снова мой детский голос. Снова мать, говорящая, можешь идти, потому что она не знала, не пред-

ставляла. Ее одежды были черны, ее голос был стальным. Можешь идти. Я очень медленно встала, хотя хотела вскочить. Прошла коридор, медленными шагами пересекла двор, хотя хотела бежать. Подошла к реке, к старому дереву и села. Прошли мгновения, когда ждала его, когда думала, что он может не прийти, когда ждала, думая, что он может не прийти. Река продолжала уносить красоту. Была вода-ребенок, пришедшая к моим стопам и говорившая мне хрупкие слова, которые я еще не понимала, сожаления, слезы, которые я еще не понимала. Почувствовала руку на моем плече. Повернулась и увидела солнце. Спросил: можно присесть? Чувствовали присутствие друг друга. Река чувствовала нас. Мой взгляд уходил с рекой. Был ветер, приносящий воду, приносящий свежесть воды. Я чувствовала его пальцы на шее, на лице, на волосах. Повернулась к нему. Его лицо приблизилось. Его губы медленно приближались.

Дома села в гостиной. Мать посмотрела на меня и встала. Я слышала ее шаги в коридоре, слышала ее голос и голос служанки. Мать вошла в гостиную. Ее глаза горели. С силой схватила меня за руку и сказала, никогда ты больше не увидишь этого парня. Сжала мою руку и сказала, никогда ты больше не увидишь этого парня. Прошла минута, когда значение ее слов длилось. Мать позвала служанку. Мать сказала ей, расскажи, что ты видела. Служанка опустила глаза и, тихим голосом, сказала, видела, как мальчик из деревни целовал сеньориту. Мать снова схватила меня за руку и сказала, никогда ты больше не увидишь этого парня. Я попросила прощения, встала и ушла к себе.

Посмотрела в окно, лошади проходили по двору. Мое лицо, отраженное в окне, было грустно. Закрыла глаза. Дотронулась до своих губ, как будто мои пальцы были его губами, и поцеловала их. Открыла маленький чемодан на кровати. Сложила несколько платьев и положила их в чемодан. Бесшумно прошла по коридору. Бесшумно открыла дверь. Пересекла двор, крадясь вдоль стен, увитых плющом. Села на берегу реки, под старым деревом. Положила чемодан рядом. Бог не существовал рядом со мной в тот момент. Я ждала. Река текла с той же скоростью, как в день, когда мы встретились в первый раз, как сейчас перед взглядом моим и Бога. Ждала. Иногда смотрела вокруг, представляя, что так, может быть, я могу его поторопить. Видела дома деревни вдоль холма. Видела крыши. Видела медленно качавшиеся цветы, создававшие ветер. Ждала, а двое мужчин, из тех, что проходили по нашему двору с охапками сена или ведрами воды для лошадей, двое мужчин уверенно шли ко мне. Все ближе. Один схватил меня за одну руку, второй за другую. Их руки были тяжелы и шершавы.

Служанки на кухне, сложив руки на животе, смотрели на меня. Один из мужчин бросил мой маленький чемодан на пол. Упав, чемодан раскрылся, и одежда, которую я аккуратно сложила, высыпалась на кухонный пол. В коридоре стояла мать. Ее черная одежда. Ее глаза пылали. Ее голос был стальным. Все время глядя на меня, она говорила с мужчинами. Сказала, отнесите ее. Мое бессильное тело в их руках. Они принесли меня в комнату, где я никогда не была. Комнату на другой стороне дома. Комнату, которая всегда была заперта и про которую я, когда была маленькой, спрашивала, и мать всегда говорила — не ходи туда. Из окна была видна река, был виден берег и, вдалеке, было видно маленькое старое дерево. Мужчины деревни. У меня не было сил лечь на кровать. Спала на полу. Утром все тело у меня болело, но мне уже было все равно.

Однажды утром его не было под старым деревом. Это утро тянулось дольше, чем все годы, когда, проснувшись, я знала, что увижу его там, далеко, его очертания слившиеся с рекой. Все утро я смотрела в пустое пространство под старым деревом. Его там не было, но там было его отсутствие. Река, дерево, все дома деревни чувствовали его отсутствие. Все последующие утра его не было под старым деревом. Я смотрела в небо, и ни небо, ни птицы, казалось, не знали, что случилось. Моя надежда умерла только тогда, когда пришли двое мужчин и срубили топорами дерево. Долгими взмахами топоры рассекали воздух и впивались в старую древесину дерева, как будто впивались в мою плоть, как будто срезая мою плоть с костей. Он больше никогда не сидел под старым деревом. Он больше никогда не сидел на берегу реки.

Кожа сходила с моих рук. Мои волосы стали пепельными нитями. Мои руки потеряли очертания. Сидела день за днем на полу, спиной к стене. Смотрела в никуда. В один из вечеров, неотличимый от других, Бог вошел ко мне в комнату. Я пошевелила ногами, и задвигались цепи. Бог сел рядом со мной. Его глаза были грустны. Бог взял меня за руку, и мы заплакали.

Я была очень стара. Прошло сорок лет с тех пор, как я встретила его на берегу реки, прошло сорок лет моей жизни. Я была очень стара, когда две служанки открыли дверь комнаты и остановились, смотря на меня. Сняли с меня цепи, выкупали меня в тазу, вытерли и одели в черное. В такое же платье, как у моей матери. В платье моей матери. Взяли меня за руку и отвели в комнату матери. С закрытыми глазами, с руками, скрещенными на груди, моя мать лежала мертвая.

Несколько часов я сидела одна в комнате, смотря на ее лицо. Потом они отнесли ее в гробу на кладбище. На улице лю-

ди стояли на тротуарах. Я шла рядом с гробом. Я была единственным человеком, кроме служанок, провожавшим мать на кладбище. Засыпали ее землей. Засыпали мою мать лопатами, полными земли. Я смотрела на слуг, но никто не смотрел на меня. Отвернулись и пошли к выходу. Я тоже вернулась в деревню. Пошла и села на берегу реки. Сидела на том месте, где когда-то было старое дерево.

Сегодня сижу на берегу реки, и Бог сидит рядом со мной. Сорок лет назад было утро. Сорок лет назад река была точно такой же. Я стара. И Бог стар. Сидим вместе и думаем. Время теперь легче. Ни я, ни Бог, ничего не ждем. Окунаю пальцы — вода прохладна. Слушаю тихие слова, которые мне говорит вода. Бог протягивает руку и дотрагивается до всей реки танцующими точками света. Мои волосы уже не черны и не длинны. Моя кожа сошла с моей плоти. И если бы я сказала сейчас что-то, знаю, что мой голос был бы стальным.

Иудино дерево

ОТСЮДА, из окна спальни, я вижу дерево. Бабушка обычно смотрела на него, сидя на балконе. Вечером это дерево меланхолично, приковано к земле и времени: годы, как листья, рожденные свежими и смешанные с землей после смерти. Это иудино дерево в центре сада. Обнимаю его сильный ствол, чувствую его древесное тело своим, глядя на него отсюда, из окна спальни.

Сегодня шел дождь, и птицы появились только сейчас, гора, огромная, шепчет что-то своим громовым голосом корням дерева. Небо проходит, как время, как грустные листья. Сегодня воскресенье. Сегодня не было дождя, и они только что вернулись с мессы. Перед иудиным деревом для фотографии расположились четыре сестры. Мужчины улыбаются. Четыре сестры, такие юные, смеются. Дерево протягивает свои капризные ветви по ветру, чтобы коснуться веселья в волосах сестер. Сегодня не было дождя. Сегодня лето и каникулы. Бабушка ушла с балкона. И у дерева гуще ветви. Приехали внуки. Не бегайте по дому. Внуки бегают по кухне и коридору и по всем комнатам. Мужчины улыбаются. Четыре сестры говорят: не бегайте по дому, и беседуют, и смеются. Солнечный луч освещает четырех сестер, на комоде, перед иудиным деревом, на фотографии. Сегодня шел дождь. Вижу дерево отсюда, из окна спальни. Бабушка обычно смотрела на него, сидя на балконе. Под ним стоит скамейка, свободная от всех, кто на ней сидел, мокрая, сегодня шел дождь; скамейка, очень старая,

запертая в ушедшем мире и хранящая смерть в памяти. Среди травы возвышаются розы, розы среди зелени, возвышаются розы, все еще говорящие живые цвета вечера. Дерево ждет. Слышу голоса, пришедшие с фотографий и стен, из ящиков и сундуков, голоса, завернутые в льняные простыни, посреди старой вышивки бабушек многих бабушек бабушки. Слышу бабушку, сидящую на балконе, и тонкий свет, по-вечернему спокойный. Не бегайте по дому. Внуки играют на балконе. Иногда плачут, но не всерьез, капризничают и вытирают слезы, сидя на руках у бабушки. Слышу голоса в столовой, слышу звенящий сервиз из тонкого фарфора в серванте, слышу тарелки и приборы. Беседуют мужчины. Беседуют сестры. Дети обедают в столовой. Поверх кроны иудина дерева падает ночь, как улыбка. В центре стола возвышаются счастливые и гордые розы. В очаге на кухне медленно тлеют теплые угли. Знаю, что сегодня шел дождь. Из окна спальни вижу гору, плавно перетекающую в ночь. Вижу дерево, недвижное, в вечном ожидании. Вижу пустую скамейку, хранящую место для кого-то в своем одиночестве.

Это дерево, что вижу отсюда. Его корни, длинные, вросшие и раздирающие твердую грудь земли — это взгляды, бывшие светом в особенный день; это руки, ласкающие друг друга, искренние в молчании, чтобы больше никогда не забыть; это кровь. Его ствол — этот дом и эта деревня, видевшая рождение стольких жизней; его сильный ствол — это голоса, говорящие внутри других голосов. Его ветви — это многие разбросанные молчания, разные и рассеянные ветром по миру, где сегодня шел дождь. По ночному небу плывут облака, как время, как грустные листья. Это дерево, что вижу отсюда. Бабушка обычно смотрела на него, сидя на балконе.

Лихорадка

УЖЕ давно дом казался ей слишком желтым. Обои, с красными когда-то завитками, теперь же с какими-то странно желтыми. Желтого цвета, но не от времени, даже не того золотистого, покрывающего старые, но хорошие вещи, а насыщенного желтого, как свет мутной яркой лампы. Фотографии в рамках, дочка в детстве, муж за три месяца до смерти, все еще молодой муж в форме младшего капрала, внучки и дочь с загадочной рукой, обнимающей ее за плечи и исчезающей за оборванным краем фотографии, улыбка дочери, серьезное лицо мужа, улыбки внучек, с почти живыми глазами, но такими же желтыми. Плитка в ванной

комнате, эмаль ванны, краны, желтая вода по рукам, желтые полотенца, плитка в ванной комнате, отражающая желтый свет, эмаль ванны, горящая желтым, желтые краны. Таким было все в доме. На кухне, в коридорах, в кладовке, и даже, если она открывала кабинет мужа, неприкосновенный со дня его смерти, видела там слои желтой пыли на столе, на энциклопедиях, на всем. Вначале, если уставали глаза, она закрывала окна, закрывала ставни, задергивала шторы, чтобы не проникал ни один луч света. Садилась на диван, клала руки на колени и смотрела в темноту. И даже темнота была желтой. Более удушающая, чем дом, потому что темнота была безграничной и бесформенно желтой. Вначале, инстинктивно, закрывала глаза, и внутри своего закрытого взгляда, даже то, чего она не видела, было желтым. И каждый день, вечером, наполняла ванну тремя кастрюлями кипящей воды и пускала холодную из крана, пока не чувствовала тепло тыльной стороной ладони. После ванны оборачивалась в когда-то белое полотенце и шла в комнату, где надевала одежду, приготовленную заранее и сложенную на покрывале кровати. Несколько раз останавливалась перед зеркалом шкафа. Обнаженная, отражение старой женщины: старые волосы, кожа, свисающая с костей, бессильная плоть, увядшие груди, бывшие всего лишь двумя кульками дряблой кожи. Перед зеркалом она уже не удивлялась старости тела, которое все еще помнила двадцати- тридцатилетним, теперь удивлялась его цвету. Разные оттенки желтого очерчивали ее бедра, складки живота. Сосуды рисовали на задней части ее ног карту желтых дорог. Желтый цвет кожи переходил либо в практически бесцветный, либо в насыщенный. Она приближала лицо к зеркалу, чтобы рассмотреть глаза. Голубые глаза, которые всегда хвалили мужчины, пытаясь соблазнить ее, голубые глаза, которые она узнала у дочери, когда та родилась, теперь были желтого цвета, живого и яростного.

Перед сном она всегда пила чай с лимоном и даже думала, что именно эта вроде бы невинная привычка заставляла ее видеть все желтым. Но только в ту ночь, когда посредине сна она начала чувствовать сильный жар, жар, который заставил ее сначала откинуть одеяло, потом второе и потом простыню и который заставил ее снять ночную рубашку, только в этот момент подумала, что причиной всему именно чай. Именно чай. И весь день она ходила по дому в трусах, лифчике и тапочках, весь день жар, шедший изнутри нее, весь день — пожар, весь день медленное тление углей на коже, и весь день она думала: это от чая. Потом вспомнила, положить руку на лоб, и не почувствовала его жара, потому что жар был по все-

му телу. Поставила градусник, но ртуть взорвалась, и она так и не узнала температуру. Но была уверена, что это не лихорадка. У нее не болела и не кружилась голова, был аппетит. Она не потела, ни капли пота. Ничего, только сухой жар. Только жар августовского дня, который чувствовала только она, несмотря на дождь и ноябрь. Постоянно. После обеда села, расставив ноги и разбросав руки по дивану, и включила вентилятор, устройство, которое облегчало ей столькие лета, обдувало ее таким невыносимым горячим воздухом, что она немедленно его выключила. Это от чая. И в этот день не разогревала воду в кастрюлях, как обычно, наполнила желтую ванну холодной желтой водой, легла, закрыла глаза в свою желтую темноту, и, когда открыла их, зеркало запотело желтизной, и по всей ванной комнате плавало густое тело желтого пара, и вода в ванне кипела крупными пузырями. Это от чая. В этот вечер она не пила чай. Никогда больше не пила, но все осталось желтым и жарким, все желтее и жарче. Иногда хотела позвонить дочери и рассказать ей, как ее комната, все еще с куклами и секретером, стала желтой, хотела позвонить дочери и пожаловаться на жару, которую севильский веер только увеличивал, вместо того чтобы уменьшить. Но не хотела ее беспокоить, знала о ее трудностях, растить одной двух маленьких дочерей, не хотела ее беспокоить, знала, что она будет слишком волноваться и заставит ее поехать в больницу, не хотела ее беспокоить. И дни, желтые и горячие, так и шли. И кроме тех случаев, когда она себя чувствовала нелепой старухой в трусах, лифчике и тапочках, бродящей по дому, видящей все желтым, кроме тех случаев, когда чувствовала, как будто проснувшись, что так жить было нелепо, кроме тех случаев, когда уставала от такой жары в середине января, кроме тех мгновений, когда она думала о себе, она жила нормальной жизнью, поливала каучуковое дерево у входа, готовила обед, садилась на диван слушать радио или танго, которые раньше, отодвинув стол и стулья, танцевала с мужем в гостиной. Она привыкла к желтизне вещей, к жаре под кожей, как привыкла к ревматизму.

Потом, однажды, проснувшись, она заметила, что из ее рук выходят желтые светящиеся сгустки неопределенной субстанции, парящие в воздухе, заметила потом, что эти сгустки исходят и из ее ног и всего тела. Потерла глаза. Подумала, что это все еще сон, туманящий ее взгляд и искажающий форму вещей, на которые она смотрела. Заметила, что все остальное было четким, и только ее тело колебалось вне своих очертаний. И почувствовала, в первый раз, что жар разрывал ее кожу и совершенно сжигал ее, во всем, в мыслях, в име-

ни, в мельчайших надеждах. Рукой рассекла эти сгустки, эти тени света, и ничего не почувствовала. Задумавшись, заинтригованная, вошла на кухню. Села. Положила руки на стол, чтобы лучше их видеть, и через несколько секунд и очертания стола растворились в этих лучистых тенях, двигавшихся как флаги яркой желтизны. Вышла из кухни, почти испугалась. Жар душил ее. Села на диван. Закрыла глаза, но продолжала видеть желтизну, свет и чувствовала жар еще больше, думая только о нем. Открыла глаза, и из дивана и ковра тоже исходили бесформенные пары желтого света и жара. Подошла к телефону. Набрала номер дочери и сказала только, забери меня, я очень больна, до того как телефон окутался желтыми тенями, распластанными по воздуху, как простыни на балконах. И снова села на диван. Ждать, пока мебель, и радио, и обои, и рисунок мельницы, и все вокруг дрожало в изысканной, теплой и желтой медлительности.

Когда машина дочери въехала на улицу и дочь, все еще держась за руль, открыла дверцу и вышла, она могла видеть уже только пламя, которое рвется к небу через крышу и через окна и которое мартовский дождь уже не мог потушить.

Гонсалу М. Тавареш

Господин Жуаррош

Фрагменты книги

Перевод Екатерины Хованович

Отвращение

ПОСКОЛЬКУ действительность вызывала у господина Жуарроша отвращение, он выходил из состояния задумчивости только тогда, когда это было воистину необходимо. Ниже приводится неполный перечень случаев, вынуждавших его прекращать мыслительный процесс:

– когда к нему обращались на повышенных тонах

– когда его оскорбляли

– когда его толкали

– когда ему приходилось пользоваться каким-либо находящимся поблизости полезным предметом.

Иногда даже в выше описанных ситуациях господин Жуаррош не мог прервать размышлений, так что некоторые люди полагали, что он:

– глухой (потому что не слышит, когда к нему обращаются на повышенных тонах)

– трус (потому что не реагирует, когда его оскорбляют)

– ужасный трус (потому что не реагирует, когда его толкают)

© Gonçalo M. Tavares, o Senhor Juarroz e o pensamento, 2004
© Екатерина Хованович. Перевод, 2015

– неуклюжий (потому что не удерживает предметы в руках, постоянно роняет их).

На самом деле он не был ни глухим, ни трусом, ни неуклюжим. Просто действительность вызывала у господина Жуарроша отвращение.

Теория прыжков

ВТОРАЯ половина прыжка вверх есть спуск, но вторая половина прыжка вниз не есть подъем, – размышлял господин Жуаррош.

Если прыгаешь вверх с земли, то на землю и возвращаешься, но если прыгнуть с 30-го этажа вниз, то вполне вероятно, что на 30-й этаж тебе уже не подняться.

Как бы то ни было, господин Жуаррош прыгать ленился и всегда пользовался лифтом.

Предмет на крыше

СУПРУГА господина Жуарроша начинала закипать:

– Ну ты полезешь туда, в конце-то концов?

Господин Жуаррош, однако, ничего не слышал и не видел, погруженный в раздумья:

изобретение стиральной машины избавило граждан от необходимости стирать белье руками;

изобретение телефона избавило граждан от необходимости проходить огромные расстояния только для того, чтобы предупредить или напомнить о какой-нибудь мелочи;

изобретение стремянки должно было избавить граждан от необходимости лезть на крышу.

Тени

ТЕНЬ, разумеется, не так хороша для сокрытия формы, – думал господин Жуаррош, – как для сокрытия цвета. А посему, если ты попытаешься спрятать белый квадрат в тени, то все будут смеяться над тобой.

При этом, подобно ныряльщику, скрывающемуся под водой, плоский и черный предмет, спрятанный в тени, исчезает из виду.

К примеру, – думал господин Жуаррош, – тень – идеальное место для того, чтобы спрятать черный квардат.

Единственная загвоздка в том, – думал господин Жуаррош, – что тайник этот эфемерен.

— Но не таков ли и любой другой тайник?

Все тайники зависят от солнца, — бормотал, принимая загадочный вид, господин Жуаррош.

Б*иблиотека*

ГОСПОДИНУ Жуаррошу нравилось расставлять книги в своей библиотеке по секретной системе. При этом, как и все, он не любил, когда его личные секреты разгадывают.

Для начала господин Жуаррош расставил книги в алфавитном порядке по названиям. Однако вскоре секрет его был раскрыт.

Тогда господин Жуаррош расставил книги опять по алфавиту, но ориентируясь на первое слово каждой книги.

Задача была потруднее, но прошло время, и кто-то наконец сказал: а я догадался!

Господин Жуаррош тут же переставил книги в алфавитном порядке, но на этот раз ориентируясь на тысячное слово в каждой книге.

Бывают, однако, очень настойчивые люди. И вот один из них, проведя тщательнейшее расследование, в один прекрасный день воскликнул: я догадался!

Утром следующего дня, решив победить в этой игре во что бы то ни стало, господин Жуаррош начал расставлять книги в соответствии со сложной математической прогрессией, включавшей в себя расположенные в алфавитном порядке определенные слова из каждой книги и теорему Геделя.

После чего в библиотеку господина Жуарроша, к удивлению многих, зачастили не книголюбы, а математики. Некоторые из них проводили целые вечера, раскрывая книги на определенных страницах, прочитывая определенные слова, подсчитывая что-то долго-долго с помощью компьютера и пытаясь таким образом отыскать таинственное уравнение, согласно которому расставлены книги в библиотеке господина Жуарроша. По сути, это была задача на поиск закономерности в расположении чисел в ряду вроде этого: 2|9|30|93.

Так прошло два, три, четыре месяца, однако наконец наступил решающий день. Некий видный математик, раскрасневшись от восторга, сжимая в правой руке толстенный, сплошь исписанный цифрами блокнот, воскликнул: я догадался! — и продемонстрировал формулу, описывающую числовой ряд, в соответствии с которым были расставлены книги в библиотеке.

Господин Жуаррош был обескуражен и решил отказаться от дальнейшего сопротивления. Хватит!

На следующий день он попросил супругу расставить книги по своему усмотрению. Потому что ему все это надоело.

Она так и сделала. С тех пор никто так и не смог догадаться, согласно какой логике расставлены книги в бибилиотеке господина Жуарроша.

Кипящая вода

ГОСПОДИН Жуаррош размышлял о том, что зубы, язык и гортань работают, как бригада скульпторов, ваяющих из воздуха слова.

Произнесение самых простых слов (например, “собака”, “стол”) предполагает тонкую *ручную работу*, выполняемую органами и каналами, расположенными в нашем теле, через которые проходит воздух. Если бы мы не были скульпторами слов, то производили бы ртом неразборчивый шум, вроде того, который производит вода во время кипения, — думал господин Жуаррош.

Внезапно господин Жуаррош прервал свои размышления и прислушался. Действительно, с кухни доносился странный шум, подобный шуму кипящей воды.

Господин Жуаррош вскочил и бросился на кухню.

Так и есть: кофейник опять весь выкипел. И это в третий раз за последние десять минут.

Музыка

ВОПРОС, занимавший в тот момент господина Жуарроша, заключался в следующем: если музыка — это, по сути, воздух, двигающийся в определенном ритме, и если процесс человеческого дыхания состоит из выдоха, то есть выпускания воздуха наружу, и вдоха, то есть поглощения воздуха, не следует ли из этого, что он, господин Жуаррош, прямо сейчас вдыхает эту чудовищную музыку в исполнении людей, наивно считающих себя оркестром?

Господин Жуаррош не был химиком и не знал досконально, каков состав ядовитой окиси углерода, тем не менее из чистого любопытства он заглянул в программку, чтобы выяснить, как называется произведение, которое он вынужден в жестоких муках воспринимать.

Никакой окиси углерода в программке не значилось. Мало того, что не умеют играть как следует, подумал господин Жуаррош, так они еще и названия веществ путают.

Следует писать “яд”, а пишут “симфония”.

Организм

ИЗМЕРЯТЬ организм, — думал господин Жуаррош, — значит впадать в заблуждение, ибо, по определению, не длина и ширина присущи организму, а чувство голода.

Как измеришь нечто изменчивое? Как измерить изменения? — задавался вопросом господин Жуаррош.

Врач, стоявший напротив него, между тем был уже на грани отчаяния:

— Ну, могу я наконец вас взвесить или нет?

Взвесьте меня, когда я перестану изменяться, — готов был ответить на это господин Жуаррош. Впрочем, — тут же подумал он, — возможно, к тому времени медицина уже окажется бессильна.

— Да, да, пожалуйста, — с величайшей кротостью отозвался наконец господин Жуаррош.

Чашка и рука

ГОСПОДИН Жуаррош никак не решался взять свою чашку кофе, потому что не мог отогнать мысль о том, что не руки берут предметы, а, наоборот, предметы берутся за наши руки. И мысль о том, что какая-то чашка вцепится в его руку (подобно тому, как нетерпеливый влюбленный в порыве страсти сжимает пальцы своей возлюбленной), была ему воистину отвратительна.

И потому господин Жуаррош, вместо того чтобы взять в руку чашку, долго сверлил ее яростным взглядом.

А потом еще жаловался, что кофе остыл.

Часы

ГОСПОДИН Жуаррош размышлял о часах, которые вместо времени показывали бы пространство. О часах, чья длинная стрелка указывала бы на карте место, где их хозяин находится в данный момент.

— А маленькая стрелка? Что она будет показывать?

— Место, где находится Бог, — ответил господин Жуарош.

Сосредоточенность

ГОСПОДИН Жуаррош иногда завязывал себе глаза, чтобы не отвлекаться на форму и цвет вещей.

Если вещи к тому же издавали звук, господин Жуарош, мало того что завязывал глаза, еще и затыкал уши ватой.

Однако некоторые вещи, испуская сильный аромат, норовили просочиться в ноздри господина Жуарроша, так что приходилось зажимать нос прищепкой.

Так, с повязкой на глазах, с ватой в ушах и прищепкой на носу, господин Жуаррош мог свободно размышлять, не боясь помех извне.

Прежде чем целиком погрузиться в размышления, господин Жуаррош говорил тому, кто готов был его слушать:

— А теперь, пожалуйста, не подходите ко мне. И главное — не прикасайтесь. Иначе вы все испортите.

Именно тогда, с повязкой на глазах, с ватой в ушах и прищепкой на носу, держа на весу руки, чтобы ненароком к чему-нибудь не прикоснуться, господин Жуаррош переживал счастливейшие мгновения свободного полета мысли.

Как я люблю этот мир, шептал он.

Луиш Франсишку Ребеллу

Визит Его Превосходительства

Катастрофический фарс

Перевод Екатерины Хованович

Действующие лица

Старик
Старушка
Поверенный
1-й Телохранитель
2-й Телохранитель
и
Его Превосходительство

Место и время действия:
здесь и сейчас.

(Пьеса написана в 1962 году, издана в 1978-м.)

Жалкая мансарда в старом доме, готовом вот-вот рухнуть. Сквозь дырявые стены и крышу с обвалившейся черепицей видна улица. Часть стекол в окне (задний план, середина) разбита, другие выбиты вовсе, а вместо них вставлены картонки или наклеены обрывки газет. Дверь, расшатанная и едва не слетающая с петель (слева), ведет на лестничную площадку и на лестницу.
Мебель соответствует обстановке: доски и ящики вместо стульев, столов и кровати. У правой стены — полуразвалившийся

© Editorial Caminho, SARL. Lisboa. 1978
© Екатерина Хованович. Перевод, 2015

шкаф, двери которого накрепко закрыты и увешаны массивными железными цепями.
Через дыры в крыше льет дождь.
Поднимается занавес. Старик со старушкой молча и неподвижно сидят на одном ящике под огромным зонтом. Какое-то время, может быть чуть дольше, чем это, казалось бы, оправданно, слышен только шум дождя.
Неожиданно старушка бесцветным голосом произносит.

Старушка. По радио утром обещали хорошую погоду, безоблачное небо. Воздух, говорили, прогреется...

Старик (*не глядя на нее, равнодушно пожав плечами*). А ты чего бы хотела? Они каждый день повторяют одно и то же. Так хоть иногда угадаешь.

Пауза.

Старушка. Как по-твоему, на улице тоже дождь? Или только дома?

Старик. Кто его знает! Я сегодня еще не выходил.

Старушка. Боже, ну что за лето! (*Пауза.*) Вот и в прошлом году было то же самое.

Старик (*устало*). В прошлом году, в прошлом году!.. После всего, что с нами творилось, никто вообще не знает, когда был этот твой прошлый год...

Старушка. Но... постой-ка! (*Считает на пальцах.*) По моим подсчетам выходит, что... где-то семнадцать... нет, восемнадцать или двадцать месяцев назад.

Старик. Да хоть двадцать четыре, хоть тридцать пять, хоть пятьдесят девять. Какая разница! Не от прошлогоднего же дождя я весь продрог, а от нынешнего.

Пауза.

Старушка. А раньше дожди шли только зимой, помнишь?

Старик. Опять ты за свое... Раньше! Вспомнила! Раньше я был уважаемым человеком, на улицах прохожие шляпу передо мной снимали, величали вашим превосходительством... Я стоял у вершины государственной пирамиды, у кормила, можно сказать. Я был... (*с пафосом*) государственным служащим!

Старушка. А мне-то как завидовали! Супруга госслужащего. Какая честь по тем временам!

Старик. Да, и эта честь выпадала немногим! Приходилось занимать сразу по нескольку постов и распределять обязанности по дням недели. Я, скажем, был адмиралом по понедельникам и четвергам, генералом по вторникам и пятницам, замминистра по средам и субботам, а по воскресеньям, ради отдыха, академиком.

Старушка. Академиком!.. Так и вижу тебя в мантии. Ты был в ней таким нарядным!

Старик. Да уж, в ней я выглядел солидно! Пожалуй, она шла мне больше других мундиров.

Старушка. Нет, а по-моему, мундир замминистра сидел на тебе еще лучше. Ты был в нем, когда мы познакомились.

Старик. Нет, в другом.

Старушка. Нет, в нем.

Старик. Нет, в другом. Мы познакомились во вторник, а мундир замминистра я носил только по средам и субботам. (*Вдруг рассердившись.*) Все это было так давно, незачем опять ворошить прошлое.

Старушка. Но ты первый начал!

Старик. Нет, ты.

Старушка. Нет, не я.

Старик. Нет, ты. Кто завел песню о дожде, который раньше будто бы только зимой шел? А теперь и летом?

Старушка. Я тут подумала, а почему бы нам не начать называть зиму летом, а лето — зимой? Стало бы все, как раньше.

Старик (*суровo*). А я что? Выйду на улицу, и все тут же давай шапки ломать да величать меня "вашим превосходительством"? И замминистра опять назначат? Ну ладно, пусть не на два, а хоть на один раз в неделю? Или на среду, или на субботу? А?

Старушка, пристыженная, опускает голову.

Умнее ничего не могла придумать. Наказать бы тебя, чтоб неповадно было. Вот уложу сегодня на ночь в шкаф!

Старушка (*испуганно, с мольбой в голосе*). Нет! Только не в шкаф!

Старик. Страшно?

Старушка. Страшно.

Старик. А с чего это тебе страшно?

Старушка. Так ведь... Ты сам знаешь.

Старик. Что, и сказать боишься?

Старушка. Боюсь.

Старик. А если заставлю?

Старушка. Не заставишь.

Старик. Не заставлю?!

Старушка. Нет, не заставишь. Ты не меньше моего трусишь.

Старик. Я трушу? Я боюсь? Вот новости! Чего?

Старушка. Ответ боишься услышать.

Старик. Ерунда!

Старушка. Нет, не ерунда.

Старик. Нет, ерунда.

Старушка. Нет, не ерунда. Сколько лет ты не открываешь шкаф?

Старик (*пытаясь увильнуть от ответа*). Я ключ потерял.

Старушка (*от реплики к реплике постепенно берет верх над ним*). А до того как потерял?

Старик. Не знаю, не помню... Давно это было!

Старушка. Твои мундиры надо бы вытряхнуть, вычистить, отгладить... Почему ты их никогда не достаешь из шкафа?

Старик (*явно лжет*). Я доставал... На прошлой неделе. Ты не видела.

Старушка. Ложь.

Старик. Ну, может, месяц назад, может, в прошлом году...

Старушка. Ложь!

Старик. Ты тогда как раз отвернулась, спиной стояла...

Старушка. Ложь! И не стыдно так бессовестно лгать? (*Теперь очередь старика опустить голову. Старушка безжалостно добивает его.*) Ведь признайся, тебе хотелось опять примерить эти мундиры?.. Опять приколоть на грудь медали, ордена, значки?.. И нацепить все свои шпаги, шлейфы и шляпы? Отвечай! Так-таки никогда не хотелось? Да неужели? А если хотелось, почему не открываешь шкаф? Раз не боишься, так почему бы не открыть?

Старик (*после паузы, со страхом*). Они... не позволяют.

Старушка. А они-то тут при чем?

Старик. Да я не об этих. Я о тех, что в шкафу, внутри. Им не нравится, когда их беспокоят.

Старушка (*торжествующе*). Ага! Ты их боишься, признайся!

Старик (*меняя тему разговора*). Уже нет... Кажется, дождя уже нет.

Старушка (*высовывая руку из-под зонта*). И правда, еле капает.

Старик (*складывает зонт*). И так всю ночь. Надо подать жалобу домовладельцу.

Старушка. Ты уже тридцать шесть лет об этом твердишь.

Старик. Ничего я не твержу.

Старушка. Твердишь.

Старик. Не твержу. Тридцать шесть лет назад, когда мы вселились в этот дом, здесь внутри не протекало.

Старушка. Бывало, что протекало. Правда, только зимой.

Старик. Ну, может, издредка. Черепица тогда еще не обвалилась. Стекла на месте были. Стены не потрескались.

Старушка. Но все ветшало и ветшало, год за годом...

Старик. А потом из месяца в месяц...

Старушка. От недели к неделе...

Старик. Изо дня в день...
Старушка. Час от часу...
Старик. И в эту минуту, прямо на глазах...
Старушка. Виски белеют...
Старик. Надежды тают...
Старушка. Мечты улетают... А шкаф все наполняется.
Старик (*поспешно*). Молчи!.. Сегодня же, когда поверенный домовладельца придет за квартплатой, потребую, чтобы заделали дыры, залатали крышу, вставили стекла в окно...
Старушка (*пожимая плечами*). Ладно. Ты всегда обещаешь...
Старик. Раз обещаю, значит я прав.
Старушка. Да, но никогда не выполняешь обещаний. Как появится поверенный в дверях, язык проглотишь.
Старик. Ты же знаешь, что у него пистолет.
Старушка. А у тебя? У тебя — шпага.
Старик. О да! (*В геройском порыве, возвысив голос.*) Славная адмиральско-генеральско-академическая шпага! (*Опомнившись, замирает, не завершив жеста, смешной, жалкий.*) Она в шкафу.
Старушка (*провокационным тоном*). Иди, возьми ее.
Старик (*чуть не плача*). Я потерял ключ, ты же знаешь...
Старушка. Закажи новый.
Старик (*уклончиво*). Я займусь этим. Как-нибудь на днях, когда смогу выйти на улицу. У меня паспорт просрочен, надо продлить его.
Старушка. А ты выйди потихоньку, чтобы консьерж не заметил.
Старик. Да нет. Куда уж! Если поймают, прикончат. Они такого не прощают.
Старушка. Звери.
Старик. Да уж.
Старушка. За то им домовладелец и платит.
Старик. А домовладельцу платим мы.

Пауза.

Старушка. В первые годы, когда мы только здесь поселились, разве такие были порядки!
Старик. Каждый день я выходил из дому. В мундире. Консьерж вытягивался в струнку и отдавал мне честь... И никакого паспорта не спрашивал!
Старушка. Хозяин дома позволял нам выходить, когда заблагорассудится, обращались все с нами почтительно, оказывали знаки внимания...
Старик. А как же иначе! При моих-то чинах!

Старушка. По праздникам ты брал меня с собой, показывал свою эскадру, показывал армию, набальзамированных подчиненных, набитых соломой коллег-академиков... Я гордилась тобой!

Старик. И я был тебе верен. Изменял только в високосные годы, когда специальный лишний день есть для этого. За сорок восемь лет супружества — всего десять раз.

Старушка. Двенадцать.

Старик. Десять. С тех пор, как ушел на пенсию, я тебе не изменяю.

Старушка. Мы были так счастливы вдвоем!

Старик. Вчетвером.

Старушка. Вдвоем.

Старик. Вчетвером. Тогда еще живы были наши дети.

Старушка (*помолчав, вдруг громко вскрикивает*). Двое! Сын и дочь! Сын погиб от родов. Дочь умерла за родину!

Старик. Наоборот.

Старушка. Наоборот? Родина умерла за нее?!

Старик. Да нет, это дочь умерла от родов, а сын — за родину.

Старушка. А тело его нам потом прислали по почте, помнишь?

Старик. В деревянном ящике с надписью "Заказная бандероль".

Старушка. Как будто мы заказывали мертвого сына!

Старик. А на следующий день, в утешение, нам вручили свидетельство о смерти неприятельского солдата, застрелившего нашего сына.

Старушка. И тогда же родным этого или другого солдата неприятельской армии вручили свидетельство о смерти нашего сына.

Старик. Чтобы мы были квиты — так они сказали.

Старушка. Нам обещали, что мы выиграем войну. Но для меня война была проиграна в тот день, когда тело сына внесли в эту комнату...

Старик (*продолжая фразу*). ...и мы уложили его в шкаф...

Старушка (*та же игра*). ...без того уже переполненный...

Старик. ...рядом с сестрой.

Старушка. И с игрушками, в которые оба играли, с книжками, по которым учились,рядом с рогаткой, из которых он стрелял по воробьям, с куклами, которых она укачивала...

Старик. Рядом с велосипедом, который он просил купить, а мы не купили, потому что не было денег.

Старушка. И с воплем, прорезавшим ночь, и с горячей раной, из которой хлынула кровь.

Старик. Рядом с моим адмиральским мундиром, моими генеральскими медалями, моей непобедимой академической шпагой...

Старушка. Рядом с моим китайским чайным сервизом для чаепития по-английски в пять вечера на шесть персон, с моим французским столовым сервизом для ужина в восемь вечера на десять персон, с моим австрийским сервизом для обеда в полтретьего на семь персон...

Старик. Рядом с моей широкополой шляпой, с брюками дудочкой и с огромным портфелем управляющего...

Старушка. Рядом с бусинками, корсетами и бантиками, которые я носила в двадцать лет, рядом с пианино, на котором я играла первые гаммы, с тряпочками, запачканными кровью моих первых месячных.

Старик. С утраченными иллюзиями.

Старушка. С утраченными надеждами.

Старик. С утраченными часами, днями и годами.

Старушка. С утраченным временем.

Старик. С утраченной жизнью.

Пауза.

Старушка. Но хуже, чем в последние годы, не бывало. Теперь и дождь летом идет, и чай пьем когда попало: то в полпятого, то без двадцати шесть, и месяцы я разучилась считать, с тех пор как прошли мои последние месячные.

Старик. Эскадра моя утонула, армия разбита, мундиры выцвели...

Старушка (*в отчаянии ломая руки*). Ах, переехать бы в другой дом и начать все с начала!

Старик. Я утратил все свои титулы, и академические, и бюрократические, и офицерские, и пиротехнические, и железнодорожные, и астрономические, и космические, и философские, и педагогические, и политические, и религиозные, и спиритические, и медицинские, и полицейские... Был всем, стал — ничем!

Старушка. А почему бы и правда не переехать?

Старик. Они не выпустят. Ты прекрасно знаешь. Мы у них как пленники в четырех стенах...

Старушка. Но что плохого мы им сделали? Разве не отдали сына? Разве не платили аккуратно за квартиру? Разве не подарили ни за что ни про что тридцать шесть лет жизни? Чего они еще-то от нас хотят?

Старик. Им нужны мы. Мы, понимаешь? Живые или мертвые, веселые или печальные, довольные или недоволь-

ные, но здесь, где нас можно рукой достать, а то и прикладом, а то и пулей... Вот чего они хотят, вот почему не выпускают.

Старушка. А если ночью сбежать, чтобы никто не видел?.. Потихоньку...

Старик. Они всё видят и слышат, у них везде глаза и уши... А вокруг дома забор из колючей проволоки...

Старушка. Ах, убежать бы и избавиться от домовладельца, от поверенного, от консьержа... От дождя, от холода... И... от...

Старик (*быстро*). Молчи!

Старушка (тихо). И от шкафа, конечно. Мы бы его оставили тут. А в новом доме и зажили бы по-новому...

Старик. И не тащили бы за собой всю рухлядь, оставшуюся от прошлых времен... Вот хорошо бы! (*Короткая пауза, во время которой оба размечтались, хотя и знают, что мечты неосуществимы. Старик первым приходит в себя.*) Опять теряем время на разговоры о том, чего не было и не будет! Разве мы не договорились раз и навсегда, что всем мечтам место на дне шкафа, под моими мундирами и под телами наших детей?

Старушка. Так ведь только мечтать теперь и остается. А перестанем...

Старик. Молчи! Молчи!

Старушка. А перестанем мечтать — сами можем отправляться на дно шкафа за компанию с прочим хламом.

Старик. Замолчи, слышишь! Замолчи! Мы же обещали друг другу, что об этом больше ни слова, и вот опять битый час ни о чем ином и не толкуем... (*Молчание. Старушка всхлипывает. Старик раздраженно.*) Ах, что это был за дом, и во что он превратился! (*Колотит ногой в стену, при этом рушится часть потолка.*) Все прогнило! Все рушится! Но есть предел и моему терпению! Сегодня же, как явится поверенный, поговорю с ним начистоту...

Старушка. Не поговоришь.

Старик. А вот и поговорю.

Старушка. Нет, не поговоришь.

Старик. Поговорю. Увидишь. Пусть даже придется надеть адмиральский мундир, увешать грудь генеральскими медалями, защищаться академической шпагой...

Старушка. Не забудь про брюки дудочкой!

Старик (*грозен, глаза сверкают, взбирается на ящик*). Я объяснюсь с ним! Вот увидишь. Пробил час свободы! Пришел конец тридцати шести годам рабства и тирании! Отны-

не страх будет навсегда похоронен и сгниет вместе со всем барахлом в шкафу!

Старушка (*хлопая в ладоши*). Браво! Молодец!

Старик. Тише! Мы переживаем исторический момент! Сегодня с этой трибуны, с этого постамента, с этого трона я, облаченный регалиями адмирала, генерала, академика и управляющего в отставке, а также прочими регалиями, о которых предпочитаю из скромности умолчать, торжественно заявляю: с этого дня мы независимы!

Не успевает он закончить речь, как от сильного пинка дверь слева срывается с петель и с грохотом падает, поднимая тучу пыли. Человек в черном: шляпа с широкими полями, пиджак и элегантные брюки дудочкой, пистолет в руке — Поверенный — выходит на сцену. За ним следуют двое с лицами висельников и с автоматами наперевес. Они входят и останавливаются в дверях.

Поверенный. Квартплату за месяц! Быстро!

Старик (*увлеченный своей речью*). Братья! С вершины этой пирамиды тридцать шесть лет рабства смотрят на нас!

Поверенный. Живо слезайте оттуда! У нас времени в обрез! Все квартиры надо обойти.

Старик (*только в этот момент, кажется, осознает, что перед ним Поверенный и Телохранители, заикается, мямлит*). Мы хотим быть сво... сво... сво... (*Поспешно, пытаясь как-то закончить фразу, выкрикивает первые попавшиеся слова.*) Свойскими! Светскими! Сводниками!

Поверенный. Об этом потом, милейший! Деньги за квартиру и поживее!

1-й телохранитель. Оглох, что ли?

2-й телохранитель. Мы спешим.

Старушка (*тянет Старика за рукав*). Что же ты замолчал? Так приятно было тебя слушать! (*Старик знаками велит ей молчать, но она не понимает.*) А? Что? Не понимаю...

1-й телохранитель. Молчать!

2-й телохранитель. Молчать!

Поверенный (*выступает на несколько шагов вперед, торжественным и важным тоном*). Его Превосходительство домовладелец решил сегодня неожиданно, без всякого предупреждения, почтить своим визитом стены своего дома. В своей поистине безграничной доброте, с присущим ему великодушием, Его Превосходительство снизойдет до личной беседы с жильцами, с тем чтобы услышать из их уст все претензии и жалобы, если таковые имеются...

1-й телохранитель. Но только после уплаты за аренду.

2-й телохранитель. Жаловаться может только тот, кто своевременно внес квартплату.

Поверенный. Разумеется, как и требуют мораль и справедливость, претензии не оплативших квартиру приняты не будут. Но...

Старушка (*тянет за рукав Старика*). Ну же, продолжай! У тебя так хорошо получалось!

1-й телохранитель. Молчать!

2-й телохранитель. Молчать!

Поверенный (*продолжает так, будто его и не перебивали*). Но ясно, что ни о каких претензиях и речи быть не может. По достоверным сведениям, ежечасно ему доставляемым, Его Превосходительству доподлинно известно, что все жильцы — все без исключения — испытывают чувство глубокого удовлетворения, что для них высшая честь снимать жилье у столь славного домовладельца, вносить квартплату ежемесячно, строго в установленный срок и абсолютно добровольно, пользоваться всеми благами и привилегиями, которые дает им проживание в его доме. Итак, нет сомнений: этот неожиданный визит Его Превосходительства выльется в истинный апофеоз Его Превосходительства, в демонстрацию любви и преданности Его Превосходительству...

1-й телохранитель. Да здравствует Его Превосходительство!

2-й телохранитель. Ура!

Поверенный. ...и демонстрация эта тем более порадует сердце Его Превосходительства, чем более неожиданной она для него окажется. А она явится полной и безусловной неожиданностью для Его Превосходительства... Его Превосходительство даже и не подозревает о том, что его ждет... Ведь если бы Его Превосходительство знал заранее об этом, если бы хоть тень подозрения закралась в душу Его Превосходительства, всем известная скромность нашего благодетеля не позволила бы ему принять столь заслуженные почести.

Оба телохранителя. Слава! Слава!

Старушка (*тянет Старика за рукав*). О чем это он?

Старик. Да ни о чем. Оставь меня в покое.

Старушка. Не хочешь объяснить?

Старик. Тебе не понять. Это вопросы высшей политики, поднебесной экономики, заоблачной... эквилибристики.

Старушка. А ты? Что же ты им ничего не скажешь?

Поверенный. Говорить и не следует. А следует внести квартплату, и чем скорее, тем лучше.

1-й телохранитель. Живо! Слыхали?
2-й телохранитель. Живо! Живо!
Старушка (*упрямо*). А разве ты не обещал мне, что сегодня...
Поверенный (*насторожившись*). Чтó сегодня?
Старик (*с досадой*). Да ничего, ничего...
Старушка. Ты обещал.
Старик. Нет, не обещал.
Старушка. Нет, обещал, что именно сегодня.
Поверенный. Чтó именно сегодня?
Старик. Не обращайте внимания. Жена, бедняжка, от старости все путает... Не знает, что говорит...
Старушка (*обиженно*). Может, я и не знаю, что говорю, но слышу пока еще неплохо.
Поверенный. Позвольте, и что же вы слышали?
Старик (*все больше и больше робеет, становится всё более скованным; слезает с ящика, пытается встать между Поверенным и Старушкой*). Да ничего она не слышала и слышать не могла... Глухая она, абсолютно глухая... Я ко многим специалистам ее водил, и все в один голос: неизлечима... Абсолютно неизлечима! Бедняжка, это у нее возрастное... У меня где-то и справка есть... (*Растерянно шарит по карманам.*)
Поверенный (*отталкивая его*). Да отпустите же меня! Я не с вами, я с вашей женой разговариваю. (*Старушке.*) Так что же вы слышали, дорогая моя?

Старик из-за спины Поверенного подает Старушке знаки, которых она не понимает.

Старушка (*Старику*). Что? Не понимаю! Ты не знаками говори, а нормально.
Поверенный (*Старику*). Что еще за знаки? В чем дело?!
1-й телохранитель. В чем дело?
2-й телохранитель. В чем дело? А?
Старик (*в сильнейшем замешательстве*). Это не знаки... Она ведь глухая, я пытался ей объяснить... жестами дать понять, о чем вы спрашиваете...
Старушка. Ничего мне не надо жестами объяснять. Я прекрасно слышу, о чем меня спрашивают. И слышала ничуть не хуже, как ты на этом самом месте обещал, что поговоришь начистоту с Поверенным, как только он явится.
Поверенный. Вот те на! И о чем же вы собирались со мной говорить?
Старик. Нет, нет, совсем не о том... Совсем не о том, что вы думаете... Как раз наоборот...

Поверенный (*не понимая*). Наоборот?! Что наоборот?

Старик. Очень просто... Моя жена то ничего не слышит, а то слышит все наоборот.

Поверенный. Да?!

Старик. Да, представьте... Я сейчас объясню... Вот например, если ей говорят, что идет дождь, она слышит, что солнечно. Если ей говорят: все подешевело, она слышит: подорожало. И так далее. Теперь понимаете? Вот почему она твердит, что я, мол, обещал поговорить, а я как раз обещал ни о чем не говорить. Видите, как просто!

Поверенный (*пытаясь понять*). То есть если она говорит, что вы говорили, так это значит, что вы вовсе не говорили...

Старик. Вот именно! А если бы она говорила, что я ничего не говорил, так это бы значило, что я как раз говорил. Вот мы и разобрались!

Старушка. Так ты ничего не говорил?! А зачем тогда адмиральский мундир и академическая шпага?!

Старик. Шпага заржавела, ты же знаешь!

Старушка. А директорские брюки дудочкой?

Поверенный. Что, и брюки тоже?! (*Старику сурово.*) Зачем брюки? Отвечайте, живо!

1-й телохранитель. Живо!

2-й телохранитель. Живо!

Старик (*заикаясь*). Для... Для... (*Вдруг спохватившись.*) Для торжественной встречи Его Превосходительства! Вот-вот. Чтобы встретить, как подобает, Его Превосходительство, который оказывает нам, недостойным, величайшую честь, посещая нас!

1-й телохранитель. Да здравствует Его Превосходительство!

Старик и оба телохранителя. Ура!

Старушка. Ах, так сегодня домовладелец придет? Ты знал? И мне ничего не сказал... Тем лучше. Ему все и выскажешь!

Поверенный. Ну вот опять! Что, в конце концов, он должен высказать, сеньора?

Старик. Ничего!

Старушка (*одновременно со Стариком*). Все! Все, о чем столько лет молчал. И что дождь в доме сильнее, чем на улице. И что крыша обваливается и стены рушатся, до того прогнили. И что в окнах нет стекол. И что это не дом, а развалины!

Старик. Молчи! Молчи! (*Поверенному.*) Не обращайте внимания, не слушайте ее... Это возрастное... Все путает... Я

как раз говорил, что это не дом, а дворец, что это храм и крепость! (*Старушке.*) Замолчи, ради бога!

Поверенный. Нет-нет, зачем же? Не мешайте ей говорить. Мне это крайне интересно. Не представляете, до чего интересно! (*Любезно обращаясь к Старушке.*) Так о чем же еще он говорил? Продолжайте, прошу вас...

Старушка. О том, что мы обречены умереть в этом доме, умереть среди мертвых вещей, которые все заполонили, которые теснят нас, преследуют своим трупным смрадом, пачкают стены, расшатывают фундамент, и в конце концов разрушат дом и погребут нас под кучей мусора!

Поверенный (*оборачиваясь к Старику, едва сдерживая гнев, ледяным тоном*). Так об этом вы собирались говорить со мной? (*Резко, требовательно.*) Отвечайте!

1-й телохранитель. Отвечайте!

2-й телохранитель. Отвечайте!

Старик (*в крайней тоске, бормочет*). Я... хотел... Я не хотел... Наоборот... (*Старушке, жалобно.*) Все из-за тебя... Болтаешь, что ни попадя... Хоть бы вспомнила, что я бывший адмирал, академик и управляющий! (*Поверенному.*) Позвольте я объясню... я расскажу...

Поверенный (*взрываясь*). Довольно! Нечего объяснять! Все и так яснее некуда! Предатели! Перерожденцы! Продажные шкуры! Враги режима! Платные агенты социализма! Большевики! К счастью, мы вовремя раскрыли ваши карты!..

Старик (*бормочет*). Адмирал... Генерал... Академик...

1-й телохранитель (*зловеще*). Молчать!

Старик. Сын за родину...

2-й телохранитель. Молчать, предатель!

Поверенный. Мы и не предполагали, что, переступая этот порог, проникаем в логово саботажников, в гнездо террористов! Неужели наши информационные службы, всегда столь исполнительные, на этот раз оказались не на высоте?! (*Щелкает пальцами, обращаясь к Телохранителям.*) Список подозрительных, быстро!

Один из Телохранителей тут же достает из внутреннего кармана свернутый лист бумаги и передает его Поверенному. Тот разворачивает и быстро пробегает его глазами.

Бельэтаж, левая сторона... Первый этаж, левая сторона... Третий этаж, левая и правая сторона... (*Комментируя про себя.*) Любопытно: раньше подозрительные селились только с левой стороны, а теперь уже и справа... (*Продолжает читать.*) Четвертый, пятый, шестой, седь-

мой, восьмой, девятый, десятый... А, вот! Чердак, правая сторона. (*Старику, сурово.*) Правая! (*Старик опускает голову.*) Пять лет назад, жалоба консьержу на то, что прорвало водопроводные трубы... Четыре года назад, опять претензия. На этот раз света, видите ли, нет... Три года назад снова жалоба: лифт не работает... Два года назад... (*Перестает читать.*) Подумать только! Вот уже пять лет что ни год — то жалоба! И все по пустякам, по самым ничтожным поводам, придирки, словом! С этого все и начинается. Отсюда шаг до беспорядков, саботажа, бунта!

1-й телохранитель. Долой предателей!

2-й телохранитель. Долой!

Старик. Но простите... Тут какое-то недоразумение... Трагическое недоразумение... Не забудьте, я был генералом, адмиралом, академиком...

Старушка. И управляющим! Скажи, что ты был управляющим! (*Поверенному.*) Из всех мундиров тот шел ему больше всех. Когда мы познакомились, он как раз был в мундире управляющего. (*Заметив жест Старика.*) И не спорь опять со мной! Я лучше знаю!

1-й телохранитель. (*целится в нее из автомата*). Молчать!

Старушка прячется за ящик.

Поверенный. Подумать только... (*Хватается за голову, закрывает глаза.*) Боже! Подумать только, что Его Превосходительство мог войти в любую минуту и услышать эту грязную клевету, эти наветы!

2-й телохранитель. Измена!

1-й телохранитель. Подлая измена!

Поверенный. Ах, какая скорбь, какая печаль наполнили бы чистую душу Его Превосходительства, услышь он эти подлые измышления! Черная неблагодарность, змеиная злоба этих людей заставили бы его глубоко страдать. Его, кто, не жалея сил, стремится ко все более полному удовлетворению растущих потребностей квартиросъемщиков! Его, занимающего всего лишь скромный особняк, не позволяющего себе ни капли роскоши, хотя другой на его месте имел бы все. Все! И это ради них, ради того, чтобы они ни в чем не знали недостатка, он сил не щадит, им он отдает драгоценные дни, часы, мгновения своей несравненной жизни!

Телохранители, обнявшись, рыдают. Старик опускает голову; Старушка, скорчившись, испуганно смотрит то на одного, то на другого, не понимая, что происходит.

(*С суровостью судьи, произносящего смертный приговор.*) Мерзейший из грехов — неблагодарность! Не грех — преступление! Из тех, которых не прощают! Заслужил ли Его Превосходительство подобного попрания собственной чести!

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (*не в силах сдержать чувств*). Смерть! Смерть предателям!

2-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (*та же игра*). Смерть предателям!

ПОВЕРЕННЫЙ (*оборачиваясь к ним*). Как не понять, друзья мои, вашего праведного гнева, вашего инстинктивного отвращения! Может ли тот, в ком теплится хоть капля человеческого, остаться равнодушным к столь чудовищной неблагодарности!? Так свершите то, что подсказывают ваши сердца!..

ОБА ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ. Да здравствует Его Превосходительство! (*Одновременно стреляют в стариков, которые в изумлении падают.*)

ПОВЕРЕННЫЙ. Вы честно исполнили долг. В ближайшем же докладе я сообщу о ваших заслугах и рекомендую повысить вас в должности. Будьте и впредь достойны благородного дела, которому служите!

ОБА ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ (*гордо*). Которому служим!

СТАРИК (*приподнимая голову, произносит, глядя на Телохранителей*). Которому служите!.. (*Умирает.*)

ПОВЕРЕННЫЙ. А теперь прочь этот мусор! Его Превосходительство будет с минуты на минуту. Мы должны уберечь его от неприятного зрелища.

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. От отвратительного зрелища.

2-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. От жалкого зрелища.

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Куда ж их деть?

ПОВЕРЕННЫЙ. В шкаф, разумеется. Он для того и стоит здесь. Живее, живее!

Оба телохранителя подходят к телам стариков, но не успевают положить их в шкаф: за сценой раздаются фанфары и крики ура.

Поздно. Это Его Превосходительство.

Телохранители бросают трупы и бегут на лестничную площадку.

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Идет по лестнице.

2-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Всего этажом ниже!

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Остался один пролет.

2-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Пять ступеней.

1-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Четыре ступени.

2-й ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Три ступени.

1-й телохранитель. Две ступени.

2-й телохранитель. Он уже на лестничной площадке.

1-й телохранитель. Идет сюда.

2-й телохранитель. Входит...

1-й телохранитель. Да здравствует Его Превосходительство!

2-й телохранитель. Да здравствует Его Превосходительство!

Оба телохранителя и Поверенный. Ура! Ура! Ура!...

Фанфары истошно трубят и под конец попадают в диссонанс. Звучат здравицы, аплодисменты. Телохранители расступаются, Поверенный склоняется в почтительном поклоне. Входит Его Превосходительство. Это худосочный старикашка, с лисьими повадками и елейным голосом. На нем редингот и высокие зашнурованные ботинки.

Его Превосходительство. Благодарю, благодарю вас, друзья мои... Ваше наивное и искреннее ликование переполняет радостью, нежностью и теплом мое бедное усталое сердце... И хотя я никогда не искал легкой славы, признания ветреной толпы, искренность, с которой вы чествуете меня, сама неожиданность вашей стихийной демонстрации глубоко трогают, ведь я знаю, что это от чистого сердца! Я вознагражден за вечные бдения, за бессонные ночи, за жертвы принесенные... (*Останавливается на полуслове, замечая, что его встречают только Поверенный и телохранители.*) А жильцы? (*Напряженное молчание.*) Где они? Почему не встречают и не приветствуют меня, как им велено? Почему? Отвечайте!

Поверенный (*проглатывая слова*). Превосходительство... Жильцы...

Его Превосходительство. Их что, не предупредили о моем приходе? Ну, если так, то сеньоры из отдела пропаганды жестоко поплатятся за свою небрежность!

Поверенный. Нет, Ваше Превосходительство... Дело не в этом... Все жильцы были своевременно предупреждены...

Его Превосходительство. Так почему на этом этаже никто меня не встречает? Где они?

Поверенный (*судорожно глотнув, как перед прыжком в воду.*) Они... там.

(*Показывает на два трупа, которые валяются у шкафа.*)

Его Превосходительство. Там?! Вот это, что ли?! (*Делает два или три шага в сторону трупов. С удивлением.*) Но... но они...

Поверенный (*опустив голову*). Мертвы, Ваше Превосходительство... Необратимо мертвы.

Его Превосходительство (*трогая носком ботинка трупы стариков*). Мертвы?!

Поверенный (*внезапно, как будто его прорвало, с одним желанием: отвести от себя гнев Его Превосходительства*). От радости, Ваше Превосходительство! От неудержимого, всепобеждающего восторга! Как только они узнали... Как только им было сообщено, что Ваше Превосходительство в своей неизреченной доброте, в своем безграничном великодушии почтит их дом... снизойдет до того, чтобы освятить их скромное, но честное жилище своим присутствием... Они не пережили радости! Ведь это счастье: слышать, видеть Вас, говорить с Вами! Потрясение оказалось слишком сильным для их слабых сердец. И вот развязка. До сих пор в ушах у меня звучат их предсмертные слова (*торжественно и взволнованно*): Да здравствует Его Превосходительство!

Оба телохранителя (*с неуместным усердием*). Ура!

Поверенный толкает их локтем в бок, чтобы замолчали.
Какое-то время Его Превосходительство созерцает распростертые тела, размышляет... Вдруг оборачивается к Поверенному и произносит подчеркнуто торжественно.

Его Превосходительство. Наградить их. Посмертно. За особые заслуги перед Нашим Благородным Делом.

Поверенный поспешно достает из кармана две огромных медали и склоняется над телами Стариков. Он собирается приколоть награды, но Его Превосходительство останавливает его жестом.

Стойте. А за квартиру они уплатили?

Поверенный. За... квартиру?

Его Превосходительство. Именно. Внесли они квартплату?

Поверенный. Н... нет, Ваше Превосходительство... Умерли раньше, чем успели заплатить.

Его Превосходительство. Я так и знал. Им лишь бы не платить. Они скорее умрут, чем расплатятся. А я-то! Стольким жертвовать ради них, ночей не спать, терять здоровье...

1-й телохранитель. Да здравствует Его Превосходительство!

2-й телохранитель. Ура!

Его Превосходительство (*перебивая их*). Молчать! (*Презрительно пинает трупы.*) Никаких наград. Вон их! На помойку! На помойку их!

Подходят телохранители.

В шкаф их. Сию секунду! Им давно уже там место!

Телохранители, подхватив трупы под мышки, открывают шкаф, из которого вываливаются самые неожиданные вещи: велосипедный руль, унитаз, манекены в мундирах. Телохранители, засунув стариков в шкаф, запихивают туда все, что вывалилось, и запирают шкаф снова. Поверенный суетливо отряхивает пыль с одежды Его Превосходительства щеткой, которую услужливо достал из кармана.

Имущество их, разумеется, должно быть конфисковано...

Поверенный. Непременно, Ваше Превосходительство.

Его Превосходительство. А имена их должны быть навеки вычеркнуты из домовой книги.

Поверенный. Да, Ваше Превосходительство.

Его Превосходительство. И надо сдать этот чердак как можно скорее. Нельзя терять квартплату и за следующий месяц.

Поверенный. В желающих недостатка не будет, Ваше Превосходительство.

Его Превосходительство. Сегодня же принести мне список. Но на этот раз с подробнейшими анкетными данными. Надо, чтобы новые жильцы представили гарантии верности и преданности Делу.

Поверенный. Мы заставим их подписать торжественную присягу, Ваше Превосходительство.

Его Превосходительство. Нет, этого мало. Я должен знать о них все. Все абсолютно. Всю их подноготную и предков до пятого колена. Каковы их физиологические, психологические, патологические и идеологические особенности! И рентген подсознания. Не забудьте. Впредь не приму новых жильцов без рентгена подсознания.

Поверенный. Да, Ваше Превосходительство. Я уже записал.

Его Превосходительство. Жилье получит тот, кто ради Дела не пожалеет и жизни. (*Телохранителям.*) Запишите этот афоризм.

1-й телохранитель. Да здравствует Его Пре...

Его Превосходительство останавливает его жестом.

Пауза. Его Превосходительство молча делает несколько шагов, осматривается серьезно и сосредоточенно. Поверенный и Телохранители ловят каждое его движение. После довольно долгой паузы Его Превосходительство начинает говорить.

Его Превосходительство. Не дом, но Дело я защищаю! Дело надежное, верное, неколебимое. Таких домов, как этот, нигде в мире уже не строят. (*Ударяет в стену, сыплется штукатурка.*) И это лишний повод защищать его от всех и от вся, не щадя сил и самой жизни! Ибо мы, подобно всем прочим смертным, когда-нибудь уйдем в небытие, а дом останется в веках, символом, маяком, освещающим полный скорбей и тревог мир, который теснит нас! (*Задушевно.*) Ах, вступая в жизнь скромным счетоводом, не стыжусь признаться: я видел уже в мечтах этот дом... Но не мелочная жажда обогащения снедала меня тогда, поверьте. В моей тоскующей душе дом высился точно крепость, возведенная для защиты непреходящих ценностей. Крыша, крыша над головой для сотен несчастных, дабы могли они укрыться от дождя и града, от ветра и холода... Убежище от непогоды...

Начинает накрапывать дождь. Дождь льет сквозь дырявую крышу, все усиливаясь и переходя в настоящий ливень к концу действия. Его Превосходительство продолжает, все тем же тоном лирических воспоминаний.

И вот однажды — да благословен будет тот день — провидению, к которому я не уставал взывать, было угодно вознаградить меня за все лишения, подарив возможность построить этот дом. И я строил его с любовью, камень за камнем, этаж за этажом, и выстроил от фундамена до самой крыши. В каждом кирпичике, в каждой черепице частица моего труда, моей души. В этих стенах, в этом потолке!.. Но не для себя я старался. Скромно живя с детства, скромно живу и сейчас, скромно доживу до конца своих дней. Для ближних (*широкий жест в сторону зрителей, охватывающий как бы и тех, кого нет в зале*). Для вас возвел я это здание. Для всех бесприютных, бездомных, для всех страждущих, терпящих мытарства и извечную жестокость мира, этого безумного, осатаневшего мира, где не осталось ничего святого, мира, спешащего к собственой гибели.

Дождь все усиливается. Ветер сотрясает дом. Падает черепица. Промокшие до костей Поверенный и Телохранители поднимают воротники, пытаясь укрыться от дождя. Его Превосходительство продолжает свою речь, как ни в чем не бывало.

Четыре стены, потолок, тихая пристань для заблудших, оазис в пустыне равнодушия, мирный остров в бушующем океане страстей. Разбуженных нечестивыми заговорщиками!

Слышен гром, сверкают молнии. Поверенный и Телохранители в растерянности переглядываются, в них явно борется желание бежать и остатки уважения к Его Превосходительству. Тот невозмутимо продолжает свою речь.

Да, друзья мои, наш дом — Вселенная. Что нам нападки, равнодушие, ненависть, зависть людей, когда у нас есть свой дом! Что с того, что мы одиноки! Надо гордиться, что мы одиноки! Если мы и впредь будем едины, как до сего дня, то отразим любые атаки, любые покушения, любые нападки! Жизни своей я не пожалел, чтобы подарить вам это несказанное счастье, эту уверенность в завтрашнем дне, этот ни с чем не сравнимый уют... Неустанный труд, бессонные ночи, ранняя седина — все, все для вас. Все силы ради того, чтобы у вас был этот дом!

Буря принимает угрожающий размах. За сценой слышны душераздирающие крики “На помощь!”, сирены скорой и пожарных машин, грохот разваливающихся стен. Оба телохранителя, преодолев колебания, пускаются наутек. Его Превосходительство продолжает, стараясь перекричать ураган и шум.

Но не надо меня благодарить. Я все это делал ради вас. Ради вас, и только ради вас.

Падает шкаф, дверцы распахиваются и на пол высыпаются разнообразные предметы. И среди прочего — тела Стариков. Рушатся стены. Поверенный убегает.

Его Превосходительство (*кричит*). И потому я говорю вам: этот дом наше святое Дело. Кто против дома, тот против Дела. Все на защиту дома — все на борьбу за Дело!

Часть потолка, которая до сих пор держалась, падает на Его Превосходительство, сбивая его с ног. Из-под обломков слышны его последние слова.

Канальи, задолжали мне за квартиру!

Ураган, тьма. Падает занавес — последнее, что еще не успело упасть.

В настоящей рубрике представлены три писателя. Творчество каждого из них — важная веха на пути португальской словесности из XIX века в век XX. Первого из них Фернандо Пессоа называл одним из трех великих поэтов Португалии, второй был его близким другом, с которым он делился идеями, восхищался его творчеством и совместно с ним издавал журнал. Душу третьей Пессоа назвал близнецом своей души. Кто же они, стоявшие на пороге XX века?

Во второй половине XIX века в газетах и журналах Лиссабона, Порту и Куимбры начинает публиковаться никому не известный молодой негоциант Сезариу Верде (1855—1887). Португальские критики и литераторы того времени не приняли молодого автора. Их раздражало его новаторство. Непризнание и даже травля молодого поэта в печати ускорили его смерть: Верде умер от туберкулеза, не дожив до тридцати двух лет. Время расставило все и всех по своим местам: именно благодаря Сезариу Верде в португальскую поэзию вошел натурализм и реализм; более того, творчеству Верде суждено было стать предтечей нового движения в литературе Португалии — модернизма.

В чем же заключается оригинальность дара Верде, позволившая ему сыграть такую заметную роль в португальской и мировой поэзии? Как и другие реалисты, Верде ценит в поэте точность всех пяти чувств. Но он идет дальше: отстраняясь от предметной реальности, пересоздает, перестраивает увиденное и воскрешает его в своих стихах: “В подзорную трубу с одним стеклом / Сюжеты я ловлю” (“Мир чувств западного человека”). Неповторимый поэтический голос Верде складывается из поразительного чутья при выборе стиля произведения в соответствии с его “материалом”, доведения до максимального совершенства поэтической техники, из объективности, предметности его поэзии и сдержанности чувств, из своеобразия языка, в котором, на удивление естественно, приживаются и сельскохозяйственные термины, и реалистичные описания физического труда, а роль подлежащего очень часто выполняют прилагательные (это видно даже в названиях его стихов: “Слабая”, “Тщеславная”, “Великолепная”).

Фернандо Пессоа, родившийся через год после смерти Сезариу Верде, считает себя его современником, но не потому, что мог бы написать такие же стихи, а потому, что у него, по его словам, та же самая “субстанция стиха”, что и у Верде. Пессоа сам пояснил это в посвященном Верде стихотворении, написанном от имени своего гетеронима Алберту Каэйру. Он назы-

© Ирина Фещенко-Скворцова, 2015

вает Верде земледельцем, по своей воле ставшим узником города. Верде и стал предтечей знаменитого Мастера, Учителя других поэтов, Алберту Каэйру, которому Пессоа подарил авторство цикла стихов "Охранитель стад" — лучшего, по его мнению, из всего им созданного.

Если Сезариу Верде — старший из трех поэтов, представленных в этом разделе, — был предвестником модернизма, то Мариу де Са-Карнейру (1890—1916) можно назвать первым португальским модернистом. Родившийся в семье зажиточных буржуа, Мариу начал писать стихи с двенадцати лет, в двадцать два года познакомился с Фернандо Пессоа, а в 1915 году вместе с Фернандо Пессоа, Алмадой Негрейрушем (художником и писателем) и еще двумя художниками основал журнал "Орфей", выдержавший два выпуска в 1915 году. Материалы этого журнала и дали начало португальскому модернизму. Журнал был назван "Орфеем" в знак того, что его основатели творят новое искусство — модернизм, не оглядываясь на прошлое (как не должен был оглядываться Орфей, спускаясь в Аид). За это отношение к традициям журнал и навлек на себя гнев признанных литераторов Португалии. Его авторов, особенно Са-Карнейру и Алвару де Кампуша (гетеронима Фернандо Пессоа), объявили безумцами. Третий номер "Орфея" не вышел еще и из-за материальных затруднений. Как и Сезариу Верде, Са-Карнейру умер совсем молодым: в двадцать пять лет депрессия привела его к самоубийству.

Фернандо Пессоа писал о трагичности дара Са-Карнейру, доминирующими темами которого и в стихах, и в прозе были: самоубийство, извращенная и анормальная страсть, переходящая в безумие. Ярко выраженный пример этого — самая известная повесть Са-Карнейру "Исповедь Лусиу". В повести "Безумие" автор спрашивает читателя: что же такое — безумие? Видеть вещи иными глазами, нежели обычные люди, давать им другие имена, думать по-иному — это безумие? Не потому ли таких людей считают безумцами, что они — в меньшинстве? По словам Фернандо Пессоа, только гениям боги дают красоту и наказывают их за это сознанием ее скоротечности, ее смертной участи. Страх перед старостью, отнимающей красоту, мучает молодого героя "Безумия", талантливого художника, счастливого мужа и любовника. И герой повести наконец находит способ избавиться от своих страхов, жуткий способ...

Влияние Са-Карнейру испытала на себе вся португальская поэзия XX века, особенно второе поколение модернистов, сгруппировавшееся вокруг журнала "Присутствие" ("Presença") в 1927 году, уже после смерти молодого поэта.

Флорбелу Эшпанку (1894—1930) некоторые литературные критики причисляют к символистам. Утонченностью и совершенством формы ее поэзия близка и к парнасцам. Но большинство критиков отмечают самобытность ее творчества, не шедшего в ногу ни с одним литературным течением того времени. Флорбела не была поэтом-модернистом, она не производила никаких экспериментов с формой своих стихов, как это делали, например, Са-Карнейру и Фернандо Пессоа. Ее поэтическая форма — со-

нет. Кроме стихов, у Флорбелы вышли две книги прозы — коротких эссе. Но смелость выражения чувств, яркий эротизм в сонетах Эшпанки в патриархальной Португалии той эпохи, ханжески осуждавшей любые проявления живого чувства в женщине, выделяют ее среди поэтесс, а чарующий аромат цветущей женственности в ее книге "Равнина в цвету" стал, по словам португальского писателя Антеру де Фигейреду, памятником сердцу португальской женщины прошлого, настоящего, всех времен.

Именно благодаря "Равнине в цвету", увидевшей свет уже после смерти Флорбелы, Эшпанка стала известной. Она не увидела этой выстраданной ею книги, покончила с собой в возрасте тридцати шести лет, ушла молодой, как и Верде, и Са-Карнейру.

Возможно, родство душ Флорбелы и Пессоа объясняется тем, что Флорбела — также трагическая актриса, она примеряет на себя маски: то Лилит, то Евы, то предстает в образе Девы Марии. Противоположные чувства, противоречивые голоса сливаются в ее сонетах в один многоголосый хор. Думается, что эти строки из сонета "Быть поэтом" могли бы принадлежать и Фернандо Пессоа:

> Поэтом быть — быть выше, больше всех...
> Как нищий царь, чьей все подвластно воле
> По обе стороны Вселенской Боли,
> Дарить печаль взыскующим утех!

Ирина Фещенко-Скворцова

Ирина Фещенко-Скворцова. Вступлени

Мариу де Са-Карнейру

Безумие

Роман

Перевод Марии Курчатовой

I

СМЕРТЬ Рауля Вилара оплакивали повсюду. Все газеты посвятили длинные статьи великому скульптору. Славословили, вспоминали биографию, перечисляли его творения, из которых самый лучший — восхитительный барельеф “Любовь”, и единодушно соглашались, что его безвременная кончина — тяжкая утрата для национального искусства. Прошли годы. Сегодня уже мало кто помнит бедного Рауля. Поэтому я и решился о нем заговорить. Никто не может сделать этого лучше, чем я: его самый близкий друг, его единственный друг.

Дабы мои намерения не подвергались сомнению, скажу, что данный документ имеет своей целью вскрыть все, что могло бы послужить основанием для исследования своеобразной человеческой психики — сделало бы более понятной непостижимую трагедию души, объяснило необъяснимое вроде бы самоубийство.

© Мария Курачатова. Перевод, 2015

Кроме того, эти страницы призваны также рассеять широко распространившиеся нелепые домыслы о мотивах того жеста отчаяния, к которому прибегнул молодой художник.

В этом исключительно темном вопросе я постараюсь достичь наибольшей, доступной мне, ясности. Не ведаю, справлюсь ли с этим. Однако без лишних слов приступаю.

* * *

Мы с Раулем были знакомы со школьной скамьи. Вначале наши отношения были весьма прохладными, и ничто не предвещало будущей верной дружбы. Напротив, с особым раздражением смотрел я на бледно-розовое лицо, белокурые кудри и большие голубые глаза этого мальца, который напоминал мне английскую miss[1]. Рауль, со своей стороны, как он позже признавался, также в течение нескольких месяцев питал ко мне скрытую антипатию. Его отвращали мужественность моих черт, смуглая кожа, черные прямые волосы, одним словом, весь мой облик — антитеза его собственному. Поэтому на улице мы ограничивались формальным рукопожатием, а на уроках — просьбой о перочинном ножике или резинке. Но и это продлилось недолго: в один прекрасный день мы перестали пожимать друг другу руки и просить одолжить ножик или резинку. Дело в том, что как-то раз после уроков Рауль ни с того ни с сего начал молотить бедное чахлое и рахитичное существо, бывшее, кстати сказать, лучшим учеником в классе. Я вмешался. Двумя ударами кулака заставил злодея отпустить жертву, а затем вздул его как следует — дикарь удалился брюзжа и с поникшей головой.

Мне казалось, что данный акт справедливости обрекал меня на вечную ненависть забияки. Каково же было мое удивление, когда на следующей неделе я сломал ножку скамьи, а Рауль неожиданно взял вину на себя, чтобы избавить меня от выговора!

С того дня наши отношения возобновились, а взаимная неприязнь превратилась во взаимную симпатию. Я примирился с его глазами и волосами; он терпел землистый цвет моей кожи, и мы стали все больше сближаться. Замечательно, что никогда не было произнесено ни слова о моей взбучке и о его самопожертвовании, — мы вели себя так, как будто раньше были незнакомы. Оба делали успехи в учебе, которой сопутствовало ежедневное общение, укреплявшее нашу дружбу.

1. Здесь: барышня, девица (*англ.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Рауль был наделен странным характером: то был весел, то грустил, то разговорчив — не замолкал ни на минуту, то долгое время не говорил ни слова, погруженный в свои мысли. Иногда по самым незначительным поводам с ним случались припадки дикой злости: помнится однажды, просто потому что я не соглашался с ним, он выкрикнул грязное ругательство, заодно запустив в меня тяжелой стеклянной чернильницей, которая, попади она в цель, вполне возможно прикончила бы меня. Но злость его быстро проходила, и со слезами на глазах он просил прощения. И я всегда его прощал...

Зачастую ему в голову приходили странные идеи — странные и зловещие. Например, однажды ночью — после одного из нередких приступов немоты — он внезапно воскликнул:

— Я бы хотел, чтобы все умерли... все живое, и только бы я один остался на свете...

— Зачем? — спросил я с удивлением.

— Чтобы испытать страх — узнать, каково это остаться в совершенном одиночестве в мире, заполненном трупами. Это было бы восхитительно! Что за упоительный ужас!

На эти его странности, которые мне уже были не внове, я отвечал улыбкой или, скорее, подобием улыбки. На самом деле, во время этих бессвязных речей на лице у него появлялось какое-то безумное выражение и глаза загорались таким ярким огнем, что сердце у меня сжималось в предчувствии беды. Я старался перевести разговор, однако это мне далеко не всегда удавалось.

Именно ему я показывал свои первые литературные опыты. Обычно он меня хвалил, прибавляя заодно:

— Вот так усердие, дружище! За каким дьяволом тебе это нужно?

— Да ни за каким, — отвечал я благодушно. — Никому это не мешает... да и развлечение дешевое: блокнот стоит двушку, чернила и перья тоже еще никого не разорили...

— Значит, для развлечения, — шептал он с пренебрежительной улыбкой. — Ага! Тебе хочется развлечься... Поэтому пишешь, то есть трудишься. Но, дорогой мой, развлечение означает времяпрепровождение. Но время и так бежит слишком стремительно, ему не нужна подмога. Людям следовало бы "развлекать" время, а не самих себя... Именно это я и делаю... Думаю о прошлом, проживаю заново минувшие дни. Тем самым я строю преграду между настоящим и будущим. Будущее между тем — прекрасный прыгун. Перепрыгивает через все преграды, превращается в настоящее, и я мало чего добиваюсь. Ты пишешь, чтобы не скучать... Ах, как бы я был счастлив, если бы мог соскучиться!

Такие нелепые тирады меня озадачивали. Однако я к ним привык и, раз дело касалось моего друга, терпел, слушал и не обсуждал их.

Когда он бывал безмятежен, наши беседы — в основном, об искусстве, литературе и театре — протекали спокойно. Тут его мысли текли, как у всякого нормального человека, но лишь до тех пор, пока в речах его не начинала вдруг звучать какая-то диковинная, экстравагантная нота.

Так, однажды утром я говорил о разных великих книгах о любви, уснащая свой рассказ деталями из жизни трогательной Манон, поразительного Вертера, романтичной "Дамы с камелиями". Цитировал Данте, Камоэнса, Петрарку; живописал лирическую встречу двух влюбленных, перед чьими глазами в лунном свете проходили знаменитые истории любви — Елены и Париса, Сафо и Жана Госсена[1]. Мой друг, казавшийся заинтересованным, вдруг резко хохотнул и заявил, протестуя:

— Все это чепуха... Любовь? Пшик... Что называется любовью? Телесная потребность, только и всего. Для работы можно воспользоваться той или иной емкостью, для "любви" нужен сосуд из плоти... Данте, одноглазый Камоэнс... Черт! Жеманные дурни, слабоумные стихоплеты... Ты, мой врунишка, наверное, такой же, как все: разгуливаешь в потемках и говоришь банальности какой-нибудь чувственной и вульгарной мещаночке. Упорно выстаиваешь под дождем и ветром. Малодушный! Счастливчик! Отправишься прямиком на небеса. Ха-ха!

Видя, что беседа принимает такой оборот, я замолчал. В подобных случаях я всегда замолкал...

В самом деле, первые двадцать лет жизни Рауля прошли без единой романтической истории. Никогда еще женская улыбка не освещала его юность. Живя без матери, он не завязывал ни с кем отношений. Стараясь его развлечь, я не раз пытался вытащить его на какую-нибудь "семейную вечеринку". Но ничего не выходило. Он говорил:

— Дорогой мой, у каждого из нас есть идеал. Какой у меня, не стану распространяться. Выдай я себя, он перестал бы быть идеалом... Тем не менее, уверяю тебя, там нет места женщине... там никому нет места, кроме меня самого. Я — одинокий волк. Никого рядом... Делать лишь то, что душе угодно... Мне кажется, невозможно любить семейную жизнь. Семья! Что за гадость!

1. Герои романа "Сафо" (1884) французского романиста и драматурга Альфонса Доде (1840–1897).

— Но без семьи счастье не может быть полным! — возразил я.

Задумавшись, Рауль, вместо того чтобы отстаивать свое мнение, вдруг сказал:

— Согласен. Именно поэтому мне отвратительна семейная жизнь. Я не хочу быть счастливым... Быть счастливым для меня было бы величайшим несчастьем!

Бедный мой друг... бедный безумец...

Проведя три года в Бельгии, где я безуспешно пытался окончить курс инженерного дела, я вернулся в Португалию. Во время моего отсутствия новости от Рауля приходили редко. Приехав в Лиссабон, я первым делом пошел к нему. Он меня встретил с перемазанными гипсом руками, в своем старом кабинете, превращенном теперь в скульптурную мастерскую. В порыве удивления я воскликнул:

— Вот как?! Так ты вдруг обернулся художником?!

— Как видишь, — ответил он безмятежно, — что тебя так удивляет?

— Ну, во-первых, — возразил я, — я не знал о твоих способностях. Никогда, сколько я помню, ты ни о чем таком не упоминал. К тому же, согласно твоим прекрасным теориям, ничем не следует занимать время, дабы оно длилось дольше...

— Именно поэтому я и стал скульптором: ваяю статуи. Мои статуи — не такие, как у других, старина, они — живые... Живые, понимаешь? Вместо того чтобы творить новую плоть своей плотью, я творю жизнь собственными руками, то есть своим разумом, который управляет руками. Творю жизнь: время воздействует на мои статуи, но не на меня...

И он был прав. Он показал мне свои работы. Эти статуи жили. Мраморные фигуры с невероятной, поразительной фактурой. Без сомнения, то были шедевры, и шедевры неожиданные, порой нелепые в своей красоте.

Как человек состоятельный, он не стал превращать свое искусство в коммерцию. Тем легче было публике признать его талант: Рауль Вилар, юный скульптор, которого ждет слава.

Я разузнал, как он жил в мое отсутствие. У него по-прежнему так и не появилась женщина. Когда я осторожно спросил его об этом, он воскликнул:

— Глупец... Женщины? Зачем? Разве нет у меня моих статуй, моего мрамора? Вы, литераторы, люди ограниченные, описываете идеальное женское тело: “Ее стройные ноги напоминали колонны из белого мрамора; ее грудь — чистый алебастр”. То есть, несмотря на свою непроходимую тупость, вы понимаете, что наивысшая красота плоти заключается в

сходстве с камнем... Но у меня есть камень, зачем же мне плоть, глупец? — Говоря это, он ласкал мраморную грудь прелестной греческой танцовщицы.

II

Снова поселившись в Лиссабоне и превратившись из инженера-неудачника в бюрократа, я более чем когда-либо мечтал о литературных трудах. Набравшись смелости и обзаведясь рекомендательным письмом от одного услужливого друга, я опубликовал книжечку рассказов. О радость! Провала не последовало, даже напротив: было продано около тысячи экземпляров, что, между нами говоря, ошеломило меня.

Рауль продолжал быть моим наперсником. Я делился с ним всеми замыслами, всеми надеждами; ему первому читал я свои новые вещи. Теперь он уже не держался так презрительно. В глубине души он все еще пренебрежительно относился к этому "пустому занятию", но, испытывая потребность творить, он не отказывал в этом праве и мне.

Мой друг никогда не посещал театр. Однажды я зашел к нему и с порога заявил:

— Предупреждаю, как-нибудь вечером я вытащу тебя в "Дону Марию"[1].

— Прошу тебя, не надо, ты уж прости... — отбивался он. — Ради тебя я готов на многое... но все же не на такое. Да и все это пустяки. Часами слушать чепуху, которую людишки с раскрашенными лицами силятся выдать за сцены из реальной жизни, — нет, это выше моих сил. Не понимаю, что тебе была бы за радость так меня мучить...

— Огромная, — ответил я, — радость такая огромная, что ты пойдешь со мной, несмотря на все сказанное...

— Уверяю тебя, настаивать бесполезно. Ничего не получится.

— Вот как? А если я скажу, что один из авторов пьесы, которую я хочу тебе показать, я сам?

Рауль очень меня ценил. Если есть на свете настоящие друзья, это были мы. Он знал, как я всегда мечтал увидеть свою пьесу на сцене. Поэтому он обрадовался, обнял меня и воскликнул:

— Твоя правда! Признаю свое поражение. Схожу поаплодирую тебе... Но расскажи... расскажи, как это вышло. Почему ты ничего не говорил?

1. Национальный театр Доны Марии II в Лиссабоне.

— Хотел сделать тебе сюрприз, — признался я. — История простая: как-то меня познакомили с Патрисиу Крушем, и на следующий день мы с ним стали писать пьесу — называется "Тошнота". Два месяца спустя мы ее закончили, а сегодня прошла генеральная репетиция. Вот и все.

— Ты счастлив? — поинтересовался он.

— Счастливее не бывает!

— Несчастный!

Патрисиу Круш был феноменально талантлив. Его рассказы, истинные маленькие шедевры, заняли достойное место в нашей литературе. Желая найти ему аналог среди больших зарубежных писателей, поклонники его прозвали "португальским Мопассаном".

Его блестящий интеллект, впоследствии пораженный странным расстройством и угасший в Риляфолеше[1], превратил мой неуклюжий замысел в глубокую и человечную драму.

В день премьеры мне удалось затащить — в буквальном смысле слова — моего друга в театр. В тот вечер я узнал другого Рауля — Рауля, который был, как все, то есть был не собой, а кем-то совсем другим. Он обнимал меня в антрактах, разговаривал со своими знакомыми; я представил ему Патрисиу и всех наших актеров, и робкий скульптор оказался приятнейшим из собеседников.

На следующее утро, вскочив с постели, я направился к Раулю, с которым мы договорились пообедать. За трапезой не было речи ни о чем, кроме "Тошноты":

— Друг мой, — признался скульптор, — теперь я по-иному смотрю на литературу. Раньше я считал ее пустословием, занятием слабодушных. Теперь я понимаю, что заблуждался. Скульптура творит тела — и я творю тела. Литература творит души — и ты творишь души. *Если бы мы могли совместить наши искусства, мы бы творили жизнь.* К счастью, это невозможно...

* * *

Слава Рауля достигла апогея, когда его скульптурная группа "Алкоголь" получила "главный приз"[2] на парижском Салоне (1901).

Признание давало художнику положение, и уже неважно было, создал ли он великое произведение или незначительное: тем, кто удостоился похвалы Франции, не решится пренебречь Португалия.

1. Психиатрическая больница им. Мигела Бомбарда, расположенная в бывшей усадьбе Риляфолеш.
2. Кавычки автора.

О дружбе, связывавшей нас с Раулем Виларом, знали все. В салонах, которые я посещал как человек своей профессии, меня постоянно осаждали вопросами о знаменитом скульпторе. Хозяйки просили привести его. Я, как мог, любезно отклонял их приглашения, но графиня Вила Верде так настаивала, что мне не оставалось ничего другого, как пообещать ей сделать все возможное и невозможное, чтобы привести моего друга на прием.

Желая сдержать обещание, я стал подбирать аргументы, которые подействовали бы на Рауля. Ничего толком не придумав, я решил испытать его, прежде чем действовать. Ведь он сильно изменился. Похоже, светская жизнь уже не наводила на него такой ужас, как прежде. И несколько дней спустя я сказал ему:

— Знаешь, старина, вчера я был на балу у российского посланника. Было скучно до смерти. И все же я не без пользы провел время: я нашел тему для романа...

— Поздравляю, — ответил он, зевая.

Я не рискнул продолжать. Тон Рауля меня обескуражил. Но, окруженный облаком дыма великолепной гаванской сигары, которую он молча курил уже около четверти часа, он, наконец, повернулся ко мне и спросил:

— Так это правда? Ты скучал на балу?

— Да. Как всегда.

— Так зачем же ты ходишь на эти дурацкие приемы?

— Для своего ремесла. Мне необходимо *наблюдать*. Терплю из любви к литературе...

— Да, — отозвался Рауль, возвращаясь к своей навязчивой идее, — я бы тоже хотел поскучать... Тем самым, я бы похищал время у самого Времени...

— Нет ничего легче! — воскликнул я с воодушевлением. — Пойдем со мной на следующий бал. Клянусь, ты там узнаешь, что такое скука!

— Может, ты и прав, — прошептал он минуту спустя.

Итак, полдела было сделано. После нескольких отговорок, в основном, из-за неизбежного фрака, в который Рауль не желал облачаться, мне все же удалось затащить его к графине — в полночь мы торжественно появились у нее в гостиной, где уже шагу нельзя было ступить.

В ту ночь "Сан-Карлос"[1] был пуст: все хотели познакомиться с автором "Алкоголя".

Я был уверен, что в жизни моего друга еще не было женщины.

1. Национальный театр имени св. Карлоса в Лиссабоне.

III

— Итак, можно тебя поздравить? Ты скучал? — спросил я Рауля, выходя из дворца графини.

Увидев отрицательный жест, я изумился:

— Как?! Неужели это возможно? Суаре тебя развлек?

— Нет.

— В таком случае...

— Я ведь не был на балу.

— В каком смысле?

— Как я и говорил.

— Объяснись...

— Да нечего объяснять. Некто перенес мой дух в другие края. Только мое тело — зверь — оставалось в гостиных.

— И что же это за существо, совершившее такое чудо? Что это за невероятная личность?

— Это не мужчина.

— Ах, женщина? Тогда все понятно.

— Навряд ли. Что тебе понятно? — усомнился он.

— Что понятно? — отозвался я. — То же, что и каждому. Хороша загадка! Некое существо заставило тебя обо всем забыть. Это существо — женщина. Молодая и красивая, не так ли?

— Я уже сказал тебе, что "зверь" остался в зале. Поэтому он не видел моей спутницы. Только моя душа ее видела... и моей душе она показалась прекрасной...

— Когда же ты отбросишь эту свою таинственность и перестанешь говорить загадками, — воскликнул я с горечью. — Твоя фраза, несмотря на смесь педантизма с уклончивостью, означает, что женщина была молода и очень хороша собой. Это ясно как день. Ты говорил с ней несколько часов подряд. Повторяю, я все понял.

— А я повторяю, что ты ничего не понял... О чем, по-твоему, мы говорили?

— Ах, еще одна великая загадка, — сказал я насмешливо. — Темой лекции, которую читают красивой женщине целую ночь напролет, может быть только одна: любовь, то есть ухаживание, искусно приправленное разговорами о моде, театре и острым словцом.

— Ну вот, я же говорил. Ничего ты не понимаешь. Если бы речь шла о подобных безделицах, мои нервы бы этого не вынесли. Мы говорили о другом... Совсем о другом... Об очень близком мне...

— Нет, сознаюсь, я тебя и впрямь не пойму... Ты невозможен... просто невыносим... Я в толк не возьму... Какого цвета у нее глаза?

— Черные.

— А волосы?

— Светлые, как платина.

— А кожа?

— Молочно-белая. Это облочка столь прекрасного тела, что оно кажется творением искусства, а не природы...

— Попался! — закричал я, торжествуя. — Попался! Какой энтузиазм! Так ты, мой простачок, даже не понял, была ли *она* прекрасна или безобразна?! Ага! Так вот, мой дорогой, ты — мужчина... И не волен подавить свою несчастную природу.

— С ней говорил не мужчина, а художник.

— Что за чертовщина! — вскричал я, но, тотчас взяв себя в руки, спросил:

— И кто же эта загадочная дама?

— Не знаю.

— Не знаешь?!

— Нет.

— Как! Ты не доверяешь мне?! Роман зашел так далеко, что тебе приходится скрывать истину?

При слове "роман" Рауль резко отбросил мою руку и хрипло воскликнул:

— Замолчи... Да замолчи же!..

— Не замолчу, пока ты не назовешь ее имя. Не может быть, чтобы оно не было тебе известно!

— Я его знаю.

— Так почему же ты минуту назад заявил, что не знаешь, кем была загадочная дама?

— Я знаю ее имя, но не знаю, кто она.

— Вот оно как!

— Знать человека — значит знать его душу, проникнуть в его ум, знать, как он мыслит, как действует. За одну ночь этого не достичь. В большинстве случаев, даже по прошествии многих лет, людям не удается узнать спутника жизни. Поэтому на твой вопрос "Кто она?" я ответил: "Не знаю", а имя ее мне известно: Марсела, дочь графини.

— Несчастный! — воскликнул я. — Она же помолвлена с Масиму Лишем... с тем адвокатишкой, которого я тебе представил пару дней назад. Блистает в суде. Сама элегантность, славится своими костюмами. Каждый день его можно встретить на Золотой улице[1]...

— Значит, несчастная — она, а не я...

С этими словами мы остановились перед домом Рауля и простились:

1. Rua do Ouro (*порт.*) — знаменитая улица в центре Лиссабона.

— Спокойной ночи... сладких снов... — сказал я. — Пусть тебе не снится адвокат...

— Спокойной ночи! — ответил Рауль и скрылся.

Я продолжал свой путь. Дома после долгой прогулки я поспешил улечься в постель и раскрыть "Новости". На первой странице читать было нечего: она была посвящена политике. На второй — интервью с французским актером, чей дебют в "Театре доньи Амелии" был назначен на следующий день, на чтение у меня ушло минут пять. Я уже было собирался сложить газету, когда следующие строки в отделе объявлений привлекли мое внимание:

Д-р Масиму Лиш[1]
адвокат
принимает: Золотая улица, 23, 1

И снилась мне Марсела, снился Рауль, снился доктор Лиш...

— Не случилось ли того же и с моим другом? — спросил я себя, проснувшись в полдень.

* * *

На следующее лето я решил отправиться в путешествие по Франции, Англии и Италии. Уехал в июле, намереваясь вернуться в конце ноября. Однако в январе я все еще оставался в Париже.

Новостей от Рауля приходило мало, да и те отличались скудостью: "Я здоров... ничего нового... обнимаю, твой сердечный друг..." и т. п. Рассказы о себе, то есть новости души, отсутствовали. Но с Раулем что-то происходило.

В марте я наконец-то вернулся в Лиссабон.

Меня встретил совсем другой Рауль: веселый, беззаботный, совершенно утративший свою загадочность. Я стал расспрашивать о причине его радости. Оказалось, накануне решился вопрос о его свадьбе с Марселой! Конец света ошеломил бы меня меньше...

IV

Впрочем, потрясение мое быстро прошло. Поразмышляв, я пришел к выводу, что было бы странно, если бы не случилось чего-либо подобного. Рауль был мужчиной, да к тому же художником, следовательно, натурой чувствительной. Судьба настиг-

1. В Португалии адвокатов, как и представителей других уважаемых профессий, титулуют докторами.

ла его — любовь никого не щадит. Самые твердые намерения не попасть в ее сети ничего не стоят, в конце концов она все превозмогает. В романе — как во всех романах — у мужчины всегда появляется женщина, то есть всегда побеждает любовь.

Свадьба была такой, как полагается. Кортеж приглашенных, свадебный стол с chauds et froids[1], пространные статьи в журналах с описаниями "высшего света", "high life"[2], разговор в клубах и гостиных.

Я участвовал в этом действе как свидетель жениха: и на приеме, где пил только шампанское[3], и на балу, где не танцевал.

На следующий день после своего закабаления жених и невеста отправились в Швейцарию: им предстояло путешествие на поезде с остановками в гостиничных номерах — или то, что мы жеманно привыкли именовать "медовым месяцем".

Ах! Как должно быть неприятно видеть в такие ночи, которые должны почитаться счастливейшими в жизни, невыразительную обстановку чужих неуютных жилищ вместо родного очага и привычных вещей.

Однако мода требует свадебных путешествий, предписывая в качестве обязательных маршрутов Италию и Швейцарию — поставщиков лож истинно супружеских. Моему бедному Раулю пришлось подчиниться всеобщему закону...

Но не таков был Рауль — сказался дух прошлых лет. Он тайно приказал подготовить прелестный домик в уютной деревеньке в местности Минью, рядом с его родным краем — Вьяной-де-Каштелу. Там-то молодожены и укрыли свою любовь, наслаждаясь сладким покоем и полным уединением. Я был одним из немногих посвященных. Для всех остальных супруги обменивались поцелуями в Люцерне, Цюрихе, Женеве или Базеле.

* * *

Как протекли эти два месяца в Минью, я не знаю. Наверняка то была поэма любви и счастья. Счастья, которое я имел возможность созерцать позже, когда пара вернулась в Лиссабон и я еще более зачастил к моему бывшему однокласснику. Раньше мне был интересен только мужчина, теперь и женщина... женщина очаровательная, существо идеальное.

1. Горячими и холодными блюдами (*франц.*).
2. Тут: "красивой жизни" (*англ.*).
3. По-португальски свадебный прием называется "copo d'água", дословно "стакан воды".

Рауль и Марсела, как говорили вокруг, не были супругами, они были любовниками. На самом деле, для *общества* есть большая разница между мужем и женой и любовниками. В первом случае речь идет о любви дозволенной, любви, так сказать, бюрократизированной, эдаком академическом занятии, чопорном и подобающем. Все дело тут в объятии, таинством дозволенном и предписанном, то есть дело — в деторождении: "Плодитесь и размножайтесь!" Достойные супруги должны уважать друг друга даже в те сладкие мгновения, когда их тела, их плоть и нервы сливаются воедино. Им следует соблюдать умеренность в удовольствии, сдержанность в безумствах: охлаждать чувства, приглушать вздохи...

Любовь любовников, наоборот, свободна; свободна от оков, от лицемерия. Не нужно соблюдать дистанцию: можно целовать губы, грудь, тело... Это свобода в страсти, но она стяжала ненависть "порядочных людей".

Все это абсурд. Однако такова истина... Есть ли разница между взаимным обладанием двух существ, объединенных контрактом, записанным чернилами, и двух других, объединенных лишь чувством взаимной любви?

Именно поэтому супруги, любящие друг друга, как положено супругам, на деле вовсе не влюблены. Именно поэтому у мужей есть любовницы, и жены по этой же причине нередко следуют их примеру...

Рауль и Марсела истинно любили друг друга, то есть любили не по-супружески. Рауль был художником. Оставив на время творчество, он посвятил себя искусству любви, самому прекрасному из всех.

Их первая брачная ночь не была тем вульгарным, глупым и грубым *психологическим* моментом — "наконец одни!", трагикомическим, смешным и жалким эпизодом, который мой друг однажды описал так:

"*Невинная дева*, которой матушка посоветовала *подчиняться требованиям мужа, какими бы странными они ей ни показались*, хотя в большинстве случаев она и сама уже отлично знает, в чем они состоят, ожидает в алькове своего женишка с потупленными очами и пламенеющими щеками, иначе говоря, ведет себя, как гимназистка, застигнутая за чем-то дурным. В сущности, ее приучили считать все это тайным позором... Муж, конечно, был бы изумлен, если бы застал ее спокойной и безмятежной и на лице у нее не выражались бы робость или смущение. Он бы даже мог усомниться в ее невинности.

А что муж? Ему тоже неловко, он не знает, с чего начать, чтобы не отпугнуть бедняжку предстоящим странным событием, которого до смерти боится и она....

Ах, дорогой мой, как же нелепы все эти лицемерные уловки, плоды вечных предрассудков, неправильного воспитания нашего вида, который стыдится собственной матери Природы...”

Первая брачная ночь Марселы и Рауля была совсем иной. Бескорыстные, открытые и свободные души, не стесняясь быть животными, овладели друг другом, смотря на это действо как на самое естественное, самое человечное, ведь именно оно творит жизнь, творит род человеческий... Они овладели друг другом как любовники, не как супруги...

V

Статуей, которую теперь ваял Рауль, была Марсела. Совершенствовал ее для любви и, позабыв о камне, думал только о ее плоти — жгучем, пульсирующем мраморе... учил ее тонкостям сладострастия... А она охотно отдавала себя, подчиняясь всем его прихотям.

Не банально, на мещанском ложе, в стыдливых потемках сливались их тела, а при свете дня, в его мастерской, на дорогих тканях тахты, в безумном объятии они скатывались на пол — слившиеся друг с другом...

Его любовь прошла разные стадии: он изображал Марселу то как греческую куртизанку, то как римскую гетеру, то как парижскую кокотку.

Он никогда не позволял ей носить корсет. Ему нравилось выходить с ней полуобнаженной: полуголые руки, угадывающаяся грудь, ноги, покрытые прозрачными черными чулками и обтянутые узкой юбкой. “Наивысшим наслаждением для меня, — восклицал он, — было бы прогуливаться с тобой нагой, показывать всем твое обнаженное тело, чтобы они могли восхищаться моим шедевром! Да! Это я сотворил, дал огонь... жизнь этому телу!”

О жизни супругов сплетничали. Но раз уж они были женаты...

В чувственном экстазе юные язычники, опьяненные поцелуями, жили на высшей точке наслаждения. Я считал, что мой друг исцелился. Завидовал его счастью...

Однажды — ох, как ясно помню я эту сцену — Рауль пригласил меня на ужин. Я пришел. Марсела появилась, не ведая о моем присутствии. Увидев меня, она вспыхнула и остановилась в нерешительности. Дело в том, что она была почти обнажена: на ней была туника, не скрывавшая спину и практически полностью открывавшая грудь. Рауль, заметив ее смущение, звонко хохотнул и, повернувшись ко мне, заявил:

— Раз уж я никому не могу показать мою лучшую работу, по крайней мере, ее увидишь ты. У меня никогда не было от тебя тайн!

Рывком он сдернул с Марселы ее легкий наряд. Прекрасным призраком предстало передо мной ее нагое тело. Что за тело! Но на руках, ногах, на груди были синяки: как я понял, то были любовные раны... Видение длилось всего секунду. Она выбежала с плачем...

Безумец... нет, все же безумец...

* * *

Я снова и снова задумывался об этом странном характере, силился понять его, но безуспешно: он оставался для меня загадкой, и я приходил к единственно возможному заключению: "Он — безумец, страдающий умопомрачением редкого и весьма причудливого свойства".

* * *

Безумие? Но что, в конце концов, есть безумие? Загадка. Потому-то людей загадочных, непостижимых мы и зовем *безумцами*...

Но безумие, по сути, как и многое другое — всего лишь вопрос общественного договора. Жизнь — условность: *это* — красное, *то* — белое единственно потому, что постановлено *этот* цвет называть красным, а *тот* — белым. Большинство людей приняли условную систему ценностей — это и есть так называемые *разумные люди*...

Но некоторые особи, напротив, все видят в другом свете, называют другими именами, думают по-своему, смотрят на жизнь иным образом. Их меньшинство... и потому они помешанные...

Между тем, если бы удача однажды повернулась лицом к безумцам, если бы числом их было много больше и безумие их было бы однотипно, то разумными людьми считались бы они: "Среди слепых и одноглазый — король", — гласит пословица, а значит, в стране помешанных разумный — ненормален, заключал я.

Мой друг думал не так, как все. И я его не понимал: считал умалишенным.

Вот и все.

VI

Однажды утром, войдя в ателье Рауля, я застал его сидящим на диване с иллюстрированным журналом на коленях. Мои

шаги не вывели его из задумчивости. Я тронул его за плечо, сказав:

— Да здравствует наш художник! Чем он занят?

Рауль перевел взгляд на меня и ответил самым естественным образом:

— Ничем. Думаю... Ты как?

— Прекрасно... Значит, думаешь. О чем? Или это тайна?

— Нет. Думаю о стихах, которые только что прочел.

— Хм! — воскликнул я удивленно. — Возможно ли такое? Ты теперь читаешь... да еще и стихи? Ты, называвший всех поэтов болванами, а их произведения бессмысленным нытьем, пустым бумагомаранием, порчей бумаги, ибо строчки не занимают даже ширины листа?.. Феноменально! Что случилось, отчего ты заинтересовался стихами?

— Чистая случайность. Перебирая бумаги, я нашел старые номера журнала. Несколько штук упало на пол и раскрылось. Когда я их поднимал, мой взгляд остановился на каких-то стихах. Прочел их, раз уж попались. Ах, мой друг, чтение этих стихов стало для меня откровением. Послушай!

— А автор кто? — поинтересовался я.

— Сезариу Верде.

Он звонким голосом и с чувством, прочел мне следующие вирши:

Ирония печали

“Откуда взялся ты? — она мне говорила. —
Ты весь — тоскливый страх, боязнь могильных плит!
Мне красноречие французское так мило,
Но ты его лишен, и горестен твой вид.

Какую мысль таишь в своем упорном взоре,
Впивая хмель моих духов из темноты?
И желчь в твоей груди подобна черной хвори,
К призывам женственным моим бесчувствен ты.

Не знаешь радостей, не помнишь о соблазне,
И кое-кто твердит, что ты уже старик.
И смех твой страшен мне: для предстоящей казни
Возводят эшафот, — мне чудится в тот миг.

А я пришла сюда, чтоб наслаждаться в мае
В деревне солнечной покоем, тишиной,
Я нравиться хочу, наряды я меняю,
Но ты не видишь их, и бледен, как больной.

Смотри, равнина так свежа, благоуханна,
Насквозь пронизана ликующим лучом.
Зачем же морщишь лоб подавленно и странно,
Волнение твое — о ком оно, о чем?”

Я лишь ответил ей: “Ты горлышка кристаллы
Колеблешь, юная, залившись соловьем.
Но время — страшный рак — согнет твой стан усталый,
Проступит тленья знак на личике твоем.

Вот, прядки головы твоей темноволосой
Искусно убраны, стиль модный — рабагас.
И с болью думаю: ведь скоро эти косы
Покроет седина — и блеск волос угас.

И я, кто жив твоим касанием единым,
Влюбленный в юность, раб ее страстей пустых —
От горя болен я: ведь благостным сединам
Предпочитаю ночь твоих кудрей густых”[1].

— Да ты великолепно читаешь. Не знал за тобой этого таланта...

Рауль мрачно молчал. Я продолжал:

— Это стихи опечалили тебя, да?

— Да.

— Но почему?

— Потому что заставили меня уяснить одну мысль, которая уже давно застряла у меня в голове. Да! Жизнь ужасна! Мы молоды, мы любим, но каждый день уничтожает наши тела, мы стареем... Мы наблюдаем медленную смерть плоти... Когда целуем пламенные губы, пока лепим плоть божественного тела: “А время — страшный рак — согнет твой стан усталый, / Проступит тленья знак на личике твоем”. Ах, как я был прав, когда хотел скучать, чтобы *Время* длилось *дольше времени*! У меня нет сил выдержать эту пытку... Лекарство простое...

Тут в мастерскую вошла Марсела.

— Знаете, — сказал я, поворачиваясь к ней, — наш Рауль совсем повзрослел! Я тут застал его обеспокоенным — представьте чем! — старостью, для нас троих, к счастью, еще столь далекой?! Говорит, что не выдержит этой ужасной муки и что выход есть и, кстати, очень простой... Одним словом, послушав его, я представил себе револьвер, приставленный к виску!

Марсела отвечала с улыбкой:

1. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой.

— Ах, меня это не удивляет. Безумен, как всегда. У него такие дикие идеи... Вчера, только подумайте, заявил, что для него величайшим счастьем было бы, если б я была уродлива... совсем уродлива... Для чего бы это? Не знаю. Что с ним поделаешь!

Рауль тоже улыбнулся и сказал:

— Вы правы... Я совсем сошел с ума. Пойдемте обедать.

За обедом разговор больше не заходил о безумствах моего друга.

* * *

Хотя я и был близок с Раулем и не проходило недели без того, чтобы я не бывал у него и не обедал или не ужинал за его столом, с его женой мы сдружились мало. Общение наше сводилось к вежливой беседе светских *знакомых*. Оба мы даже ощущали некоторое смущение с тех пор, как произошла описанная выше шокирующая сцена.

Несколько недель спустя после того дня, когда наш скульптор, как мне показалось, вернулся к своим старым фантазиям, я пришел к ним домой, меня приняла Марсела: ее муж, сказала она, пошел на заседание какой-то художественной комиссии. Он там долго не задержится, должно быть, вернется через час. А пока я могу подождать его и провести время за беседой с ней.

Я охотно согласился.

Она задала несколько вопросов о пьесе, которую я репетировал в "Донье Амелии". Мы быстро исчерпали тему, и она заговорила о Рауле:

— Не знаю, что с ним... С некоторых пор он грустит... ужасно грустит. Я пыталась его расспросить. Но он все время уклоняется от ответа, просит оставить его в покое, говорит, что это все мое воображение, что ничего на самом деле не происходит и что нервы у него расстроены от жары... Ах, но в его словах я слышу тревогу... С ним что-то творится, уверяю вас.

— Я уверен, что вы зря беспокоитесь, — успокоил ее я. — У Рауля странный характер: то он мрачен и сдержан, то весел и общителен. Сейчас у него кризис, и он грустен. Но с такой прекрасной спутницей его угрюмость скоро исчезнет...

— Кроме того, — продолжала Марсела, — иногда он затевает такие диковинные разговоры! Вот послушайте! Дело было позавчера, он спросил меня ни с того ни с сего, хотела ли бы я убить себя вместе с ним и умереть в его объятьях счастливой! "Ты, наверное, шутишь, — прошептала я, — но такими вещами не шутят..." — "Напротив, я говорю весьма серьезно", — ответил он. И такое строгое было у него выражение лица, так засверкали глаза, что улыбка слетела у меня с губ, по телу пробежал холод. Он добавил: "Ты не хочешь... не понимаешь меня... Ты та-

кая же, как все... Ты любишь жизнь... Мне жаль тебя... Не мне заставлять тебя думать иначе. Но со своей стороны – клянусь, что даже ради тебя не намерен я жертвовать свободой мысли, свободой действий". Затем замолчал. Не знаю, его слова очень меня расстроили. Боюсь, как бы он не совершил какого-нибудь непоправимого шага. Но почему? Я все время спрашиваю себя и не нахожу причины. Я не слышала, чтобы у него были какие-то заботы, врагов у него нет – в общем, нет ничего, что могло бы его мучить. Он счастлив. Славе его все завидуют. Чего ему не хватает? Не знаю... Но боюсь... боюсь... Я боюсь его...

– Вы просто еще не привыкли к его характеру, – ответил я. – И это неудивительно. Вы вместе чуть больше года. Я дружу с ним с детства, но так и не понял его до конца. Но все же я лучше его понимаю, лучше читаю в его душе, чем вы. Поверьте, можете быть покойны, для страха нет причин. Если хотите, я его "исповедую", прочту ему мораль...

– Как мне вас благодарить! – горячо воскликнула моя собеседница, сжимая мне руки. – Я не решалась вас просить об этом...

Слова Марселы дали мне понять, что опасность была куда реальнее, чем я воображал. С какой стороны она грозила, было непонятно, но все, что касалось моего друга, было загадочно.

– Он работает в последнее время? – поинтересовался я.

– Нет. Закрывается в мастерской, проводит там бесконечные часы, но ничего не делает...

Наступило молчание. Через мгновение я возобновил беседу, заговорив о каких-то мелочах.

В одиннадцать часов вошел Рауль. На лице у него застыло выражение глубокой меланхолии, у него был какой-то потерянный, безумный вид: растрепанные волосы, лихорадочный взгляд...

– Утомительная встреча? – осведомился я.

– О чем ты? Какая встреча? – спросил он, будто проснувшись.

Затем, внезапно собравшись с мыслями, заключил:

– Ах, ну да... встреча... Довольно скучная...

И, повернувшись к Марселе, попросил:

– Чашку кофе... очень крепкого и коньяку...

Марсела поспешно вышла, чтобы отдать соответствующие распоряжения. Вернулась со служанкой, принесшей дымящийся кофе и бутылку агуарденте[1].

Не говоря ни слова, скульптор закурил трубку и выпил одну за другой три чашки кофе без сахара.

1. Крепкий португальский напиток, сделанный из винограда.

Марсела вышла, сославшись на головную боль. Мы с Раулем, окутанным облаком дыма, остались одни.

— Знаешь, — рискнул я нарушить молчание, — я уже около двух часов жду тебя... Твоя жена проявила величайшее терпение, вынося меня все это время...

Художник не отзывался. Я продолжал:

— Кстати, ко мне сегодня обратился Эдмунду де Норонья... Хочет писать о тебе в немецком журнале, где будет работать... Попросил у меня твою биографическую справку... Осведомился, согласишься ли ты дать интервью. Я его напугал — сказал, чтобы он оставил эту затею... Я правильно поступил? Правильно или нет? Что же ты молчишь? Не онемел ли ты, друг мой?

— А, ты это мне? — прошептал он.

— Да уж... Послушай, Рауль, я знаю, что ты в последнее время грустишь, тревожишься. Что это с тобой?

— Понимаю, Марсела нажаловалась... Что за тоска! Оставь меня, сделай одолжение, — сказал он, нервно комкая салфетку.

— Да, — подтвердил я. — Марсела рассказала мне, как странно ты вел себя в последние дни. Я ее успокоил, как мог, да и себя хотел успокоить, но, как только ты вошел, мне достаточно было взглянуть на твое лицо, чтобы понять, как она права! Ты пришел угрюмый, мрачный... попросил кофе... жадно выпил несколько чашек... Теперь травишь себя трубкой... За все время не проронил ни слова... Не отвечаешь, когда с тобой говорят, а если отвечаешь, то через силу, как будто твой дух витает где-то в заоблачных сферах. Что с тобой, скажи мне!

— Ничего особенного.

— Что-то стряслось?

— Абсолютно ничего.

— Не пытайся меня обмануть. Это бесполезно. Я тебя знаю столько лет, я давно научился читать у тебя по лицу... Что за черт! Разве я тебе не друг? Причем единственный, как ты сам много раз говорил?.. К чему эти секреты?

— Нет у меня никаких секретов. Если тебе охота докучать кому-нибудь, пойди поищи кого другого. Мне не до тебя!..

Он резко встал, собираясь выйти из гостиной, но я схватил его за руку:

— Ты так не уйдешь! — и пристально посмотрел на него. — Что с тобой происходит? Зачем ты намедни говорил с Марселой о самоубийстве и еще черт знает о чем?

— А! Так она тебе рассказала? — живо откликнулся Рауль. — Все это болтовня, — спокойно заключил он. — Разве ты меня не знаешь?

— Знаю, и слишком хорошо, потому и спрашиваю. Какая-то навязчивая идея точит твой ум, что-нибудь из тех фантастиче-

ских мыслей, которые только тебе и могут прийти в голову. Твой разум болен, мой бедный Рауль. Нам нужно исцелить его...

Через несколько мгновений мой друг сдался и, весьма подавленный, произнес:

— Ты говоришь, мой разум болен?.. Да... да, очень болен... Ужасное мучение...

— Скажи мне, что тебя гложет!

— Знаешь, откуда я пришел?

— С заседания какой-то комиссии.

— Я должен был пойти туда. Но нет... Я три часа бродил по городу... и все думал... думал...

— Думал о чем?

Будто не слыша меня, он продолжал:

— Ты не можешь понять моей муки... Не можешь... Твоя душа не понимает мою — твоя и ничья другая. Жизнь меня ужасает, друг мой, жизнь меня ужасает... И смерть меня ужасает, хотя, пожалуй, меньше, чем жизнь... Больше ничего не ведаю... Я не в силах жить, не в силах жить... Я не хочу умирать... не хочу умирать... Это ужасно... ужасно... Что я делаю в этом мире? То же, что и все, я знаю... Но именно это меня томит, давит на мозг... Я живу, как все, — в ожидании старости, понимаешь? В ожидании смерти?

Я ничего не понимал. Хотел было его прервать, но он продолжал:

— Сейчас я молод. Марсела молода. Мы прекрасны. Наши тела стройны, гибки... Уста пламенны, все органы сильны. Мы любим, умеем и можем любить. Плоть одного желает плоти другого, пульсирует, достигает экстаза, задыхается от удовольствия. Из наших тел прорастает жизнь. Мы любим, мы молоды и счастливы... Но завтра? Завтра? Ужасно! Мы постареем. Дряблая плоть уже не возжелает другой плоти, а если и возжелает, то тщетно будет жаждать сладостного прикосновения. Угаснув, пламя жизни не зажжет чувства... Душа, не стареющая, вечно жаждущая, утратит способность любить!.. Перед сморщенным, теплохладным телом мне вспомнится то же тело, когда в нем горел огонь, оно было пламенем, мрамором... пламенеющим мрамором... Вспомнятся умопомрачительные мгновения... Я буду умирать от жажды рядом с родником, из которого столько раз утолял жажду залпом... Воспоминания — это смерть. Нет, мне не хватает смелости умереть такой смертью. Нет, я так не умру! Помнить, что каждый день приближает меня к этому роковому часу и быть не в силах, не мочь воспрепятствовать течению дней! Ах, мой друг, мой разум болен... Ничто его не исцелит. Если бы я мог думать, относиться к вещам так, как все. Но я не могу... не могу... Мне досталась другая душа, не как у всех!

— Ты сходишь с ума! — ужаснулся я: передо мной был прежний Рауль, прежнее его безумие. — Прогони эти бредовые мысли... Заставь себя отвлечься, работай... люби свою прекрасную жену... Зачем ты убиваешь себя этими идеями, которые, заметь, могут привести к помрачению рассудка?

— Сойти с ума! — прошептал он. — Высшее счастье! Это средство, возможно, лучшее — лучше того, которое нашел я. Потому что я уже знаю средство от этого мучения... Если бы Марсела думала, как я, мы могли бы быть так счастливы... так счастливы... Умереть в ее объятьях... целуя ее губы... кусая грудь... Умереть вместе... припав друг к другу... в высочайшем чувственном экстазе... с душой, готовой воспарить... Ах, как это было бы хорошо... Мы бы умерли романтично, в лунную ночь, в окружении цветов... орхидей... роз... охапок роз... Как бы мне хотелось так умереть! Как бы... Мне не хватает духу умереть одному... мне страшно... Но она думает не так, как я... она думает, как все... Она любит жизнь... жизнь... жизнь... жизнь!..

И тронувшийся умом Рауль стал кричать мне, всхлипывая:

— Попроси ее... попроси ее согласиться... спасти меня от этой пытки... попроси умереть со мной... Попроси ее! Попроси!

— Замолчи! — приказал я, ужаснувшись. — Ты сам не знаешь, что говоришь! Замолчи! Ты и впрямь обезумел!..

Я подтолкнул его к зеркалу, чтобы он посмотрел на свое возбужденное лицо, пунцовые щеки, горящие глаза.

— Посмотри на свою физиономию... Ты видишь? Видишь? Это образ безумия... Успокойся... Крепкий кофе будоражит твой разум... Иди приляг... Поспи... Поговорим завтра.

— Ты прав, — сказал он тихим голосом, успокаиваясь понемногу. — Пойду спать. Это лучшее, что я могу сделать. Сон — величайшее счастье, самое прекрасное, что есть в жизни... Прощай. Пойду спать... Спать без просыпу.

Я подошел к двери, ведущей на лестницу. Вышел на улицу. Воздух, горячий и душный в тот вечер, показался мне чистым озоном, свежим бризом, ласкающим кожу и дарящим наслаждение... Я горел, как в лихорадке, — позади был кошмар.

VII

Случай моего друга был крайне тяжел. Напрасно я пытался найти средство помочь ему. Первое, что нужно было сделать, — заставить его посоветоваться с врачом. Но как этого добиться?

Я ломал голову, раздумывая об уловках, которые могли бы привести к цели, когда одним дождливым и ветреным днем зашел к нему в мастерскую и застал его в рабочей блузе, с руками, облепленными гипсом. Он явно работал, чего уже давно с

ним не случалось. Грусть последнего времени, казалось, совершенно прошла, на его лице было ясное и покойное выражение. Я сказал ему:

— Привет... Так у нас будет новое произведение?

— Да. Маленький бюстик.

— Рад. А то ты совсем обленился. С тех пор как женился, ты еще ничего нового не создал!

— Это правда. Даже сына.

Он улыбнулся и спросил:

— Слушай, а ты написал ту штуку, о которой мне как-то рассказывал?

— Какую штуку?

— Какую-то вещь о знаменитых любовниках... Двое влюбленных, а перед ними шествуют все великие любовники: Марк Антоний и Клеопатра, Петрарка и Лаура, Камоэнс и Натерсия[1]...

— А! — отозвался я равнодушно. — Никогда больше об этом не вспоминал. Почему ты спрашиваешь?

— Если ты не возражаешь, я бы воспользовался идеей.

— Что? Ты сделаешься поэтом? — вскричал я в изумлении.

— В некотором роде.

— Так передо мной коллега? Превосходно!

— Прошу прощения. Ты сочиняешь стихи. А я их высекаю.

— А... Ты хочешь воспользоваться этой темой для скульптуры?

— Вот именно.

— Прекрасная идея! А я потом напишу стихи о том, как вдохновил тебя. Тем самым, мы посотрудничаем. Помнишь, как ты говорил? "Скульптор творит тела, а писатель — души..." Из наших совместных трудов родится жизнь!

— Жизнь...

Он изобразил кислую улыбку, черты лица скривились, но горечь исчезла. И он с энтузиазмом стал описывать замысел своего творения.

Мой друг работал! Значит, он спасен. При некоторых недугах нет целителя лучше, чем работа.

* * *

Среди странных творений Рауля Вилара особо выделяются группа "Алкоголь" и барельеф "Любовь" — шедевр, ныне принадлежащий американскому миллионеру, королю чего-то

1. Натерсия — по легенде анаграмма имени Катерина, выдуманная Камоэнсом для сокрытия подлинного имени возлюбленной, которой он посвятил одноименный сонет.

там. Португальскому правительству, вечно склонному к бездумному расточительству, не хватило решимости выложить семьдесят тысяч эшкудо, которые предыдущий владелец скульптурной группы просил за это чудо национального искусства.

Описать эту работу невозможно, да и описывать незачем, поскольку ее все знают, по крайней мере, по репродукциям, фигурировавшим во всех газетах и журналах.

"Любовь" была выставлена в Салоне 1904 года, предпоследнем состоявшемся при жизни художника, умершего в феврале 1906-го.

Работа иностранного мастера удостоилась исключительного внимания парижской критики. Ей посвящали длинные статьи. В одной из них Рауль Вилар был провозглашен величайшим скульптором современности. Французский журнал "Иллюстрация", позаимствовав это определение, использовал его в качестве подписи под портретом Рауля, напечатанным в одном из номеров рядом с великолепной фотогравюрой барельефа.

После успеха "Любви" мой друг начал работать с лихорадочной поспешностью. Со всех сторон на него сыпались заказы.

Прежде он был как бы гением-любителем, а тут превратился в настоящего профессионала.

Беспрестанно и успешно трудясь, надеялся я, он позабудет свои бредовые идеи.

Ему не хватало времени на разговоры со мной, жену свою он часто оставлял одну, на что Марсела не раз мне жаловалась.

— Терпение... Теперь у него рабочая полоса. Она минует... как и все предыдущие, — говорил я ей.

На Рождество нынешнего, 1904-го, года в Риляфолеше после многочисленных попыток, предпринимавшихся им, несмотря на неусыпное наблюдение, покончил с собой Патрисиу Круш. Он узнал — неведомо, как, — что его "хирургическая операция" была лишь фарсом.

Эта новость и впрямь потрясла меня, особенно потому, что мне казалось, будто Патрисиу полностью излечился от мании, и я полагал, что он готов выйти из сумасшедшего дома.

Рауль, узнав о случившемся, попросил меня рассказать все в подробностях. То был единственный раз за всю его рабочую страду, когда он оторвался от трудов и проговорил со мной примерно полчаса.

После того как я рассказал ему все, что знал, он спросил:

— Что ты думаешь о Патрисиу? Он был безумец?..

— Безусловно, — подтвердил я. — Кто сомневается?

— Я.

— Ты?

— Да, я.

— И на чем же основываются твои сомнения?

— Ни на чем особенном. На внутреннем чувстве. Врачи и все вы ошибаетесь, когда объявляете нечто безумием. Ваш дух слишком ограничен, чтобы понять то, что отклоняется от нормы... от тривиального.

VIII

Для работы Раулю нужны были натурщики. Так, его "Афродита" была сделана с обнаженного тела Луизы Важ, существа, насладившегося своим часом славы в Лиссабоне.

Эта актрисочка дебютировала в ярмарочном театре, где распевала скабрезные куплеты. Оттуда она перекочевала в "Театр на Авеню"[1], где ее заметили благодаря ее скульптурной красоте. Газеты заговорили о ней — влюбленный в нее критик из одной газетенки "потянул за ниточку", — и вскоре в этот театр публика ходила только на Луизу Важ.

С выходом нового годового ревю успех ее побил все рекорды.

В то время Рауль искал модель, но не находил никого, полностью соответствовавшего его замыслу. Когда он рассказал об этом Эдмунду де Норонье, журналист вспомнил о Луизе. Он привел Рауля в театр и представил ему "звезду", которая, предвидя прекрасную рекламу, с энтузиазмом приняла предложение скульптора.

Скульптор не стал скрывать это от жены. А так как ему показалось, что она приняла новость не слишком радостно, он поинтересовался:

— Почему ты дуешься? Не хочешь, чтобы я работал? Ревнуешь? Ну что ты! Натурщица — это безжизненный манекен... всего лишь "вещь"... хотя и красивая, безусловно.

— Она — не натурщица.

— А кто же тогда?

— Актриса.

— Ну вот... — возразил Рауль. — И что же?

1. "Театр на Авеню" или "Театр Авеню" — театр, располагавшийся на авеню Свободы в Лиссабоне с 1888 по 1967 гг., когда был полностью уничтожен пожаром.

— А то, что я была твоей моделью, и прекрасно помню, что не была для тебя “просто манекеном”...

— Что за довод! Но тебя я люблю... Ты моя женушка... а другие... пустое место, пшик! — заключил он презрительно.

Переубедил он ее или нет, Марсела подчинилась. Рауль начал работать с Луизой.

Его намерения были чисты, он думал лишь об искусстве. Но он был мужчиной — ему не хватило характера отвергнуть домогательства разбитной девицы. Плоть взыграла, и плотью он и полюбил соблазнительницу-актрису. Опьяненный желанием, он обладал ею на том же ложе в своей мастерской, где прежде сжимал в объятьях Марселу. Ужасаясь “святотатству”, он зарекался не повторять его, но... Вечное “но”: плоть слаба.

После часа работы над “Афродитой” следовали два часа любви, если можно назвать любовью удовлетворение утонченной похоти. Луиза говорила ему:

— Хочу, чтоб ты меня любил, как я тебя люблю... Всем своим телом: руками... ладонями... ртом...

Так они и любили друг друга... В основном, ртом...

Все это закончилось с завершением статуи. Освободившись от навязанной близости, Рауль воздержался от ее продолжения к превеликому огорчению натурщицы.

Сказать, что “Афродита” — произведение автора “Алкоголя”, — значит и ее признать шедевром, впрочем, пожалуй, наименее значительным из всего им созданного. Это реалистическая, безукоризненно сделанная статуя, но в ней не чувствуется дыхания гения.

Именно в то время я заметил, что Марсела утратила свою привычную веселость; бесцветные губы, припухшие глаза с наворачивающимися слезами свидетельствовали о тайном страдании. Я ждал, что она изберет меня в наперсники, как уже было однажды. Но она молчала. Тогда я решил заговорить первым. Она держалась уклончиво. Я не настаивал.

Причина этой грусти стала мне известна позже. Марсела узнала об отношениях Рауля и Луизы. В первый раз между супругами произошла сцена. Вначале Рауль негодовал. Потом умолял о прощении, рыдал, каялся. И добился того, о чем просил...

* * *

Но, продолжая работать, он по-прежнему нуждался в натурщиках. Тем не менее, Луиза была изгнана.

Несмотря ни на что, Марсела больше не доверяла мужу и жила в состоянии постоянного раздражения: ее любезный

однажды уже предал ее; трудно было надеяться, что он на этом остановится. Прежнее счастье теперь было омрачено набежавшими тучами.

Стоило Раулю направиться в мастерскую, как Марсела, которая раньше уговаривала его работать, говорила ему отрывисто:

— Ты меня больше не любишь, кажется, ты бежишь от меня... тебе скучно со мной...

— Сумасшедшая! — возмущался он. — Я люблю тебя... Люблю, как никогда.

— Я тебе не верю. Ты уже раз солгал мне. Откуда мне знать, что ты сейчас говоришь правду?

— Ах, Марсела... Марсела, — с жаром восклицал Рауль, — ты мне поверишь! Однажды я предоставлю тебе неопровержимое доказательство... Тогда ты убедишься, клянусь! Это будет величайшее... величайшее свидетельство любви!

Ревнивая, как истинная южанка, она шпионила за мужем. Но ничего предосудительного он не совершал, и на душе у Марсело постепенно полегчало. С возвратившимся доверием вернулись и счастье, и прежняя веселость...

Рауль же работал не покладая рук. "Он исцелился, без сомнения, исцелился, — думал я, забыв о его странностях. — И характер его преобразился, он проявляет здравость и рассудительность".

Как я заблуждался... Как заблуждался...

IX

Прошло несколько месяцев. Внезапно мой друг вновь забросил свое искусство. Я понял, что он сделал это ради того, чтобы полностью отдаться божественному мрамору — телу Марселы.

Он сбежал из Лиссабона и укрылся в своем прекрасном особняке рядом с Коларешем. Однажды он написал мне: просил с ним поужинать. Я поехал. Меня встретил прежний Рауль — мрачный и таинственный, тогда как его жена, напротив, светилась счастьем.

Мы поужинали и решили, что я не вернусь в столицу до следующего воскресенья. После трапезы Рауль захотел со мной прогуляться. Марсела осталась дома.

Стояла ночь, мерцающая звездами, но темная из-за отсутствия лунного света.

Мой друг повел меня к Яблочному пляжу. Стояла абсолютная тишина. Только однажды нарушил ее последний трамвай линии "Синтра—Океан".

Скульптор, до сих пор отвечавший мне односложно, вдруг воскликнул, с силой сжав мою руку:

— Ах, ты и представить не можешь, как я несчастен... И представить не можешь...

— Несчастен, но почему? — удивился я.

— По многим причинам.

— Каким же?

Он ответил не сразу, лишь через несколько минут, и так, словно стал мыслить вслух:

— Это ужасно... Марсела мне не верит... Однажды я ей уже солгал... мог бы солгать и вновь... Теперь она говорит, что верит... Но так ли?.. С чего бы ей верить? Ведь я не доказал ей... *Еще не доказал...*

— К черту! — не выдержал я. — Что за несуразица? В чем ты сомневаешься? Во что твоя жена не верит?

— В мою любовь.

— Не может быть! — вскричал я удивленно.

Тогда он подробно рассказал мне о своих отношениях с Луизой и о ревности Марселы.

— Глупости! — успокоил его я. — Она тебя любит и уже все забыла. Разве ты не видишь, каким счастьем лучится ее взгляд, все ее лицо? Как она беззаботно смеется своим хрустальным смехом?

— Возможно... Но не уверен... Не знаю... Есть у меня еще одно подозрение, более тяжкое... куда более тяжкое, оно терзает душу, сжигает меня изнутри... Однажды она сказала: "В день, когда ты меня обманешь, я тебя тоже обману: это Закон Возмездия, дорогой мой..." Но она знает, что я ее обманул... что у меня была любовница... Отомстит ли она? Ах, наверняка уже отомстила... женщины так мстительны... Ее радость — от мести. Я потому и сбежал, укрылся здесь...

— Так ты ко всему прочему еще и ревнивцем сделался? — возмутился я.

— Ревнивцем? Да. Я ревную... ужасно ревную... Особенно к тебе. Ты — мой лучший друг... А *такое* всегда происходит с лучшими друзьями...

Возмущенный, я зажал ему рот.

— Следи за своими словами!

— Прости меня... прости, — взмолился он. — Я так несчастен. Так несчастен...

— Дружище, ты превратился в Отелло? — продолжал я. — Если память мне не изменяет, раньше ты считал ревность величайшей человеческой глупостью.

— Тогда я не любил, а теперь люблю.

Аргумент был сильный. Я изменил тактику.

— Мой бедный друг, тобой снова овладело безумие. Все, что ты мне сегодня говорил, — сумасшествие. Марсела тебя любит, она тебя простила. Так люби же и ты ее, и будьте счастливы... заведите детей, много детей...

— Если бы я мог, — пробормотал он с отсутствующим видом, — если бы я мог доказать ей мою любовь... Но я не нахожу... не нахожу... Я пообещал ей, что она узнает, что такое "величайшее доказательство любви"... и не сдержал обещания. Это ужасно... желать показать Истину и быть не в силах...

— Послушай, дорогой мой, самое лучшее доказательство — это оставить сумасбродные идеи. У тебя есть все, что нужно для счастья. Воспользуйся этим. То, что ты тут наплел, всего лишь бредни, повторяю.

Он зажег сигару и добавил тихо и меланхолично:

— Я мучусь не только из-за этого, нет... Вчера я вырвал у себя седой волос. Это старость. Приближающийся конец... Жить, чтобы умереть... Ах, как это ужасно... как ужасно... Время бежит с такой скоростью, в секунду проходит секунда, в минуту — еще одна минута, в час — еще один час. Это отвратительно! С каждым мгновением оно нас разрушает... беспрестанно...неумолимо...

— Время! "Время — страшный рак", — насмешливо процитировал я, вспомнив стихи поэта.

— Я несчастливец... Великий несчастливец, поверь...

— Не могу тебя жалеть. Я завидую тебе.

Мы замолчали. "Мой друг — подумал я про себя, — переживает очередной кризис. Рано радовался я его исцелению. Нужно было показать его врачу".

Между тем прошло совсем немного времени, и к Раулю вернулась беззаботность. Он стал расспрашивать меня о моих планах, о новом романе. Мы проболтали около часа, он держался дружелюбно, говорил разумно.

Мы вернулись домой и, как настоящие буржуа, выпили чай с гренками.

Я пошел к себе и заснул. Не увидев ни единого сна, проснулся от трели щегла прекрасным солнечным утром.

Едва завидев меня, Рауль сообщил, порывисто сжимая мне руку:

— Нашел!

— Что нашел? — не понял я.

— Способ доказать ей свою любовь... остановить время... стать счастливым... совершенно счастливым... навсегда...

— Что же это за "способ"? — спросил я.

— Не могу сказать.

— Жаль... дай мне посмеяться...

— Смейся, — ответил он. — Ты не понимаешь... ничего не понимаешь... Но ты увидишь... Тогда тебе будет не до смеха... Смеяться буду я... и буду счастлив... Остальное неважно.

Услышав эти неясные, волнующие речи, я ощутил тревогу. “Что он еще удумал?” — спрашивал я себя, снедаемый страхом.

Но, тут пришла Марсела, пышущая молодостью, ликующая, улыбающаяся, и позвала нас обедать:

— Сегодня готовила я, — заявила она.

— Значит, у нас будет пища богов, — галантно подхватил я.

Трапеза была веселой, Рауль, вероятно, довольный своим “способом”, забыл о меланхолии: разговаривал и хохотал вместе с нами.

X

В ноябре они вернулись в Лиссабон. Грусть моего друга развеялась. Рабочая лихорадка прошла. Все шло к совершенной гармонии.

Марсела, веселая и беззаботная, уже не вспоминавшая о случайной любовнице, светилась любовью и счастьем. Наконец, все, казалось бы, стало хорошо...

Все было плохо.

Когда навязчивая идея поселяется в больном разуме, ослабить ее хватку можно только извне. Вот об этом-то я и не подумал, а должен был, должен был подумать.

Рауль, как казалось, забыл о своих маниях и выглядел беззаботным и счастливым, но на деле он более, чем когда-либо, был ими обуян. Об этом свидетельствуют его ежедневные записи: причудливые, туманные и в большинстве своем не поддающиеся расшифровке, они во множестве остались в его дневнике того периода. Привожу здесь одну страницу:

Лиссабон
30 декабря 1935, 2 ч. ночи

Она думает, что я сплю... Но я не сплю. Пишу. Не могу спать. А она спит. Счастлива ли она? Откуда мне знать?..

Жизнь... Изобретая ее, Природа — если угодно, Бог, Создатель — боролась с величайшей трудностью. Но не преодолела ее. Нет, не преодолела...

Как появляется человек? Благодаря наслаждению... Творить жизнь — необходимость... необходимость восхитительная, а следо-

вательно, и порочная. Природа уразумела, что никто не стал бы творить жизнь, если бы не корысть, извлекаемая в виде удовольствия... И жизнь зарождается только поэтому... только поэтому...

Задача была трудной; столь трудной, что Бог не сумел ее упростить... Не сумел... не знал как. Ребенок, рождаясь, терзает свою мать... часто убивает ее... и отнюдь не смеется, входя в мир... Нет, не смеется, а плачет... кричит...

Я живу. И жизни не произвел. Я был мудрее — только наслаждался...

Размножение — зло: оно плодит несчастных. Убийство — преступление согласно закону. Но несравненно большее преступление — поставлять будущих убийц.

Ребенок должен был бы проклясть родителей. Ведь это они приговорили его к существованию... к вечной муке...

Хуже жизни только одно — смерть.

Если бы человечество было разумно, если бы оно превозмогло себя, оно бы покончило с людьми. Высшее счастье! Высшее превосходство! Человечество показало бы, что оно сильнее самого Творца: оно разрушило бы позорный плод его трудов.

Но никто не хочет укрощать свои чувства; и, чувствуя, никто не умеет лицемерить...

Смерть — это награда за жизнь. Люди, которые всегда все портят, испортили и эту награду: выдумали душу, ад и рай.

Постигается только постижимое. Вселенная непостижима. Поэтому люди ею восхищаются, по-дурацки замирают, ошеломленные этим жалким “чудом”...

Жизнь причиняет боль. А смерть?

Я еще докажу свою любовь. Она совершенна, безмерна. Я вознесусь над всеми ними. Гений? Безумец, преступник?! Что ж!..

Уже скоро. Величайшее доказательство любви... величайшее доказательство любви...

Если бы я не был мужчиной... ах! Если бы я не был мужчиной...

Я привел эти строки в качестве примера. Смысл их темен, изложение непоследовательно, беспорядочно; то и дело зачеркнутые слова и чернильные пятна. Упоминанием “величайшего доказательства любви” изобилуют и другие страницы, и другие фразы, еще более запутанные.

* * *

С этого времени ход событий ускорился.

Однажды после обеда Рауль, во время трапезы проявлявший чрезмерные веселость и игривость, не слишком для него типичные, повернулся к жене и внезапно сказал:

— Это будет завтра. Завтра ты наконец убедишься... ты поверишь мне...

— Поверю? Поверю во что?..

— В мою любовь.

— Как будто я в ней сомневаюсь, глупыш! — с этими словами она поцеловала ему руку с величайшей нежностью.

— Я обещал тебе доказательство. И еще не сдержал слово. Завтра я это сделаю.

— Ты меня пугаешь! Опять ты за свое...

— Клянусь, нет никаких причин для страха. Мы будем очень... очень счастливы... Ты даже вообразить себе не можешь...

Глаза его сверкнули. Его рот впился грубым поцелуем в губы Марселы.

Я пересказываю эту сцену, основываясь на записи в дневнике: надо сказать, что в тот день скульптор исписал своими мыслями и подробностями своего плана почти две тетради.

* * *

В ночь самоубийства Рауль, проведя весь день в мастерской за запертой дверью, казался очень веселым. Я с ними ужинал.

Не вспоминая об их давешнем разговоре, он, между прочим, сказал Марселе:

— Сегодня ляжем очень поздно... очень поздно... Хорошо, милочка?

— Когда захочешь, — натянуто улыбнулась она.

Я тоже улыбнулся. Подумал о ночи любви и постарался пораньше распрощаться.

В час ночи, когда прислуга улеглась, Рауль с Марселой направились в мастерскую. На пороге он спросил:

— Знаешь, что мы будем делать?

Знала ли она? Там, внутри, прошли лучшие мгновения ее жизни... Там, внутри, вся мебель, каждый предмет напоминали ей о поцелуях, о ласке, объятиях... Знала ли она, что они будут делать... знала ли...

Рауль открыл дверь. Марсела вскрикнула. Зал был ярко освещен, повсюду стояли цветы, тяжелые портьеры золотого бархата были раздвинуты.

Он заставил ее войти. Закрыл за собой дверь, усадил на тахту и, встав перед ней на колени, воскликнул:

— Этот час настал. Ты мне поверишь... Убедишься в сверхчеловеческом величии моей любви! Послушай: никто не любит стариков... больных и безобразных... Любовь, которая должна была бы быть влечением одной лишь души, на самом деле — влечение чувственное. Мы любим, потому что любить приятно... мы изливаемся липкой... мерзкой жидкостью... Любовь — это развлечение... как театр... как церковные празднества... Мы любим женщину, ибо она прекрасна... из-за ее волос, глаз, губ... всего ее тела... Можно любить и уродливую женщину из-за ее головокружительных, извращенных пороков... Но никто не любит безжизненное тело, дряблую и отвратительную плоть; никто не целует безносое лицо... слепые глаза, губы, изуродованные открытой раной... Так вот! Если бы ты была слепа, если бы все твое тело было изъязвлено, я бы любил тебя так же, любил еще больше!.. Да! Марсела, люблю тебя превыше всего!.. Ах, люблю твои поцелуи... твою плоть... люблю переплетать мои ноги с твоими... Но велика ли цена всему этому?! Ведь я люблю твою душу, а она будет прекрасна всегда, даже если тело станет уродливо... я всегда ее буду любить... всегда... всегда!.. Ты мне не веришь... не веришь, что моя любовь так сильна... Я докажу, что не лгу... Предоставлю тебе величайшее доказательство любви... Поцелуй меня... дай мне твои губы... мне нужна смелость... большая смелость... Послушай меня, пойми меня и не бойся: я разобью шедевр твоего лица... превращу его в страшные шрамы, где не разобрать черт... глаз... губ... Я сожгу твои груди... навсегда оскверню незапятнанную белизну твоей кожи... И такую, отвратительного урода, я буду любить, буду любить еще больше, потому что все время буду видеть твою душу... мою любимую маленькую душу... Не бойся... не кричи... не кричи... Ты будешь очень счастлива... Мы будем очень счастливы... С сегодняшнего дня ни одно облако не омрачит ясного неба нашей жизни... Меня уже не будет страшить Время... Время не старит изъязвленное тело... смерть его не уродует... Пусть проходят годы... пусть придет смерть... Это будет не важно... не страшно... Теперь понимаешь, как мы будем счастливы?..

И в бреду, в состоянии помрачения рассудка он подбежал к полке... схватил какую-то склянку...

Марсела в ужасе, еще до конца не понимая происходящего, попыталась убежать, плакала, кричала...

Рауль, загородив дверь, взревел:

— Не беги... не плачь... вот купорос... Я плесну его тебе в лицо... размажу по телу... Я убью твое тело, чтобы дать боль-

ше жизни душе... Подарю тебе вечность... остановлю время... Подожди... не кричи... не бойся... это не больно... не больно... Да и если бы было больно... Это для того, чтобы ты была счастлива... очень счастлива... всегда...

В диком страхе несчастная убегала от него. Наконец, Рауль схватил ее. Готовясь плеснуть на нее жидкость, он воскликнул в гневе:

— Жалкое существо! Ты такая же, как все... Тебе нравится быть красивой... нравится возбуждать мужчин... Распутница... Распутница!.. Я уничтожу твою красоту... ты станешь ужасна... Все будут бежать от тебя... никто тебя не полюбит... но я... я люблю тебя... люблю... Любовь моя... Любовь моя!..

Марсела отчаянным рывком впилась зубами в руку, сжимавшую склянку. От сильной боли Рауль выпустил ее. Она упала на паркет, но не разбилась и не откупорилась.

Марселе удалось достичь двери и убежать.

Скульптор остался стоять, будто прирос к месту. С широко открытыми глазами и вставшими дыбом волосами смотрел он, как сомнамбула, на коридор, где скрылась Марсела... слушал ее дикие крики...

На шум явилась разбуженная прислуга. Заслышав приближавшиеся шаги, Рауль вышел из ступора, издал душераздирающий крик... схватил склянку... опрокинул ее в рот и выпил залпом содержимое.

Когда через несколько секунд слуги вошли в мастерскую, они увидели его ужасную агонию: он корчился от страшной боли в груди и в обожженных разъедающей жидкостью внутренностях...

Марсела была при смерти из-за воспаления мозга, мы опасались за ее рассудок. Но теперь она счастлива. Она начала жизнь сначала, снова вышла замуж, родила двух прекрасных близнецов, живет в Риме. Ее муж — первый секретарь нашей миссии.

Она всегда была ребенком. Дети все забывают... быстро.

* * *

Я приблизился к завершению своего рассказа. Я сознаю, что не смог объяснить необъяснимое, поэтому воздержусь от выводов. Пусть их делает читатель, если пожелает. Единственное, о чем я прошу, прежде чем вы воскликнете: “Рауль Вилар был безумцем, какие выводы можно извлечь из безумия?” — поразмышляйте немного над прочитанным.

От себя я скажу лишь следующее.

Рауля ужасало Время, которое было одной из его главных навязчивых идей. Ах, в самом деле, как разрушительна

мысль: “Сегодня — 26 июня 1910 года. Никогда больше не проживу я дня, точно такого же, как этот, больше никогда не сделаю я того, что сделал сегодня... Ни одна его секунда не повторится даже через сто тысяч лет!”

Рауль хотел доказать свою любовь и для этого решил пойти на преступление. Все его наверняка осуждают за это. Тем не менее невозможно отрицать, что его “доказательство”, пусть и зверское, крайне эгоистичное, было и впрямь “решающим”, “величайшим доказательством любви”, как он его называл. “Любят лишь из корысти. Никто не любит безобразное тело”. Он обладал совершенным существом и собирался уничтожить ее красоту. Его любовь не уменьшилась бы... напротив: убив тело, он любил бы ее душу только душой.

Да, я знаю, это безумство, прекрасно знаю. Лишь в больном мозгу рождаются такие мысли. Мы, “разумные люди”, не думаем о таких вещах, мы не думаем об очень многом, потому что принимаем жизнь такой, какая она есть, ибо мы к ней привыкли... Рауль не мог привыкнуть. Несчастный.

“Этот бедный самоубийца вполне достоин сострадания”, — с этим, думаю, согласятся все. Даже если считать его преступником.

И я говорю:

— Прошу вас, не питайте к нему отвращения, не ропщите, отводя глаза от его статуй, не говорите: “Убийца!” Помните: он был безумен. Будьте милосердны... милосердны к этому несчастному. Все как один признали его сумасшедшим. Но сумасшедшие не несут ответственности — так гласит Закон.

Безумие... Безумие...

Лиссабон, май–июнь 1910

Сезариу Верде

Мир чувств западного человека

Поэма

Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

Посвящается Герре Жункейру

I

Аве Марии[1]

Когда начнет темнеть, и не видать
Отчетливо вещей, на всем — вуаль седая,
Дух моря, Тежу вид печалят, пробуждая
Во мне абсурдное желание страдать.

Меня тошнит, когда светильный газ
Вширь разливается, там, в зыбкой глуби, где-то
Все тонет в облаках немыслимого цвета:
Однообразного и мерзкого для глаз.

Извозчики в мерцанье улиц сонном
Счастливчиков везут к вечерним поездам,
В журналах глянцевых Париж и Амстердам,
Санкт-Петербург — весь мир цветет в окне вагонном!

© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, 2015

1. Аве Мариями называли в Португалии вечерний звон колоколов (в 6 часов вечера), который знаменует окончание трудового дня. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

На клеток ряд похожие скорей
В строительных лесах дома; высоко, в тучах,
Шныряют плотники, шустрей мышей летучих.
Стихают мерные удары звонарей.

Среди толпы работников поджарых,
Вот, конопатчиков ватага вдалеке.
Блуждают улочки, спускаются к реке,
Брожу по пристани среди швартовов старых.

И в памяти проносятся тогда
Морские хроники: флотилии в дозоре,
Спасает рукопись Камоэнс в бурном море,
Идут под парусом бессмертные суда!

И сумерки одушевят меня!
От англичанина скользят на берег лодки;
На суше перезвон: кастрюли, сковородки,
В отелях к ужину затеялась стряпня.

Колышутся, белея, херувимы[1],
Оплоты очага, с балконов рвутся прочь.
Без шляпы лавочник у двери, смотрит в ночь,
И арлекин народ смешит неутомимо.

Блестит река огромной вязкой глыбой,
Опустошаются и верфи, и цеха,
Как черная вода вздымается, тиха,
Течет по улицам толпа торговок рыбой.

Их стан прямой мощней колонн в соборе!
Я женщин не видал сильней и здоровей.
На головах несут в корзинах сыновей,
Которым суждено погибнуть в бурном море.

Все босиком! На выгрузке угля
Весь день они в порту под жгущими лучами;
Живут в кварталах, где коты орут ночами,
Где тухлой рыбою отравлена земля!

1. Видимо, херувимами здесь автор называет висящее на балконах белье — характерный признак Лиссабона, как XIX века, так и современного, часто отображаемый на разнообразных зарисовках, картинах и акварелях с видами улиц города.

II

Ночь *наступила*

Железный лязг тюремных окон. Звук
Безумие во мне рождает, затихая!
Старух, детей в тюрьме терзает ночь глухая,
Нет, знатным женщинам — не ведать этих мук.

Когда огни зальют квартал до края,
При виде старой Сэ[1], и тюрем, и крестов,
Я даже аневризм подозревать готов,
Так сердце в грудь стучит, раздувшись, обмирая.

По временам из мрака этажи
Высвечиваются, потом кафе, аллея.
Как простыня, в ночи растянется, белея,
Сама луна, как цирк: жонглеры, миражи.

Сочится клир из церкви мрачной тенью,
Пятном на мостовой — чернее темноты.
Я инквизитора провижу там черты
В угоду памяти и в тон воображенью.

Часть города разрушена ужасным
Землетрясением, и новых зданий ряд
Однообразием в унынье вводит взгляд.
Внимаю звонам я, монашеским, бесстрастным.

Но у одной часовни, вверх по склону,
Средь перечных дерев с облупленной корой
Монументальный торс: то бронзовый герой[2]
Эпически взошел на древнюю колонну!

Мне видится Бубонная Чума,
Скопленье хилых тел — рассадников Холеры,
Вот призраки солдат построились в шпалеры,
Вот загорается дворец, а ночь нема.

Вот всадники, стараясь с ночью слиться,
Из монастырских стен спешат: грозят враги.
Средневековья прах! Других солдат шаги,
Их толпы катятся по стынущей столице...

1. Сэ — аббревиатура от Sedes Episcopais — резиденция епископов. Собор, построенный в 1150 г. первым королем Португалии для первого епископа Лиссабона.
2. Имеется в виду Камоэнс.

Ты, город, страсть былую мне живишь!
Те, элегантные, вселят печаль, тревожа,
Когда они, смеясь, брильянтов блики множа,
К витринам клонятся средь пестроты афиш.

Цветочницы, кто в шляпке, кто в берете,
Из магазинов вниз бегут к делам другим.
Высоко головы держать непросто им!
По вечерам они — хористки в опереттe.

В подзорную трубу с одним стеклом
Сюжеты я ловлю, мятежные картины;
В пивную захожу; там эмигранты чинно
При свете уличном играют за столом.

III

П*ри свете газа*

И выхожу. Ночь угнетает. На
Свой промысел идут гулящие неспешно,
И сострадательны, и вялы. Ветер здешний
Их плеч не милует. Холодная весна.

Стою среди витрин, а в голове
Скамьи для прихожан, и кафедра, и речи,
Носилки для святых, и алтари, и свечи...
Собор уводит вдаль, все тонет в синеве.

Мещаночки католицизма — слез
Никак им не сдержать, от музыки больные,
Так истеричны, как монашки в дни страстные,
Когда постом они измучены всерьез.

Вот в фартуке ножовщик у станка,
Кузнец работает, расправив грудь и плечи.
И благородный дух — то свежий хлеб из печи —
Веселый ветерок несет издалека.

Мысль в поиске: я думаю о книге,
Чтоб опреснить ее реальностью самой.
Витрины светятся вдали сплошной каймой,
Воришка молодой мечтает о ковриге.

О долгие, таинственные спуски!
Где краски взять стихам для ваших фонарей,

Для лунной бледности колонн монастырей,
И для ветвей кустов, где дремлют трясогузки?

Какая-то особа, на змею
Повадкою своей похожа похотливой,
Присматривает шаль с улыбкою кичливой,
С претензией большой и к цвету, и к шитью.

Та, старая с прической сложной! Странно
На веер шлейф ее похож, и слуги с ней:
Удерживают двух ее гнедых коней,
Двум мекленбуржцам ждать невмочь у ресторана.

Вот кружева заморские, а рядом
Растенья чудные, вот белые песцы,
В атласных облаках ныряют продавцы,
И рисовая пыль парит над этим чадом.

Но блекнет свет, во мраке тяжелее,
Фасады медленно уходят в глубину.
Взгрустнулось в темноте торговцу-ворчуну.
Сверкавшие дома стоят, как мавзолеи.

"Сочувствия!" — я слышу каждый раз
Идя по улице походкою беспечной...
Старик там, на углу, ждет милостыни вечно:
Учитель, что латынь преподавал у нас!

IV

Г*лубокая ночь*

Высь воздухом заполнена до края
И длится до мансард, свободою дразня,
Скольженье звездных слез... И полонит меня
Перемещения химера голубая.

А улиц вязь плетется, как лоза.
Я слышу, вот шуруп летит на мостовую,
Вот ставни хлопают. Сквозь темень гробовую
Таращит шарабан кровавые глаза.

Прочерчена двойная параллель
Двойным течением торжественных фасадов,
Там, над рекой, в тиши у обветшалых складов
Пастушьей флейты зов, летит печально трель.

О если б я жил вечно и всегда
Я совершенства мог искать и добиваться!
Нахлынули мечты, мне сладко забываться:
Виденья чистых жен приносит мне вода.

Вы, нежные, как трепетные птицы!
В жилищах тонкого, прозрачного литья
Хочу я видеть вас! О, наши сыновья!
Каким из светлых снов судилось воплотиться?

Как дедовских времен отважный флот,
Как наши рыжие потомки-командоры,
Мы будем покорять иных земель просторы,
Мы будем бороздить бескрайности широт!

Но здесь живем мы в каменной тюрьме,
В долине пасмурной с горами-этажами.
Мне кажется, что парк ощерился ножами,
И крик о помощи почудится во тьме.

Как мерзки мне утробы кабаков!
Вот пьяницы в ночи, где слышен каждый шорох,
По двое тащатся в туманных коридорах,
И лепет грустный их гнусав и бестолков.

Их не боюсь. Они идут с дружками,
Поодаль от других. Но, от меня вблизи,
При свете фонарей, костлявые, в грязи,
Псы молчаливые мне кажутся волками.

У здания напротив пустыря
Видны фигуры двух охранников тщедушных.
Распутницы в своих халатиках воздушных
Выходят на балкон и кашляют, куря.

Огромная, бесформенностью споря
С громадами домов, где сонм людских неволь,
Взрывает горизонт, простора ищет Боль,
Приливы желчи в ней жесточе шторма в море!

Газета путешествий
Июнь, 1880
Порту

Флорбела Эшпанка

Сонеты

Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

Истома

Закат на родине... Мираж не тает,
Лилейна свежесть, облаков штрихи,
Закат пречистый, отпусти грехи!
Твой вечер, Анту[1], твой, земля златая...

Закаты нежно в памяти листаю:
Часы благословенные тихи,
И дым, и пепел, и стихи, стихи...
Часы тоски, в которых я — святая.

Сгустились фиолетовые тени,
К фиалкам глаз прильнули в томной лени,
И крылья век смежились на лету.

А рот хранит немые поцелуи,
И бархат рук, лелея и милуя,
По воздуху рисует сон — мечту.

© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, 2015
1. Португальский поэт Антониу Нобре (1867–1900) писал под псевдонимом Анту. (*Прим. перев.*)

Посвящено Анту

Один, болезнь, чужбина, ностальгия...
Ты в тридцать два ушел в страну теней.
Осталась книга, словно литургия...
Нет книги в Португалии грустней.

Боялся ты, что боль ушедших дней
Поранит души скорбные, нагие...
О, библия тоски, как сладко в ней
Читать молитвы, сердцу дорогие!

Моя печаль сродни твоей печали...
Ты видел сны, что к смерти приучали,
И этим снам во мне теперь расти.

Моя любовь к тебе под стать хворобе...
Как сыну — мать, даю тебе во гробе
Свой поцелуй — последнее прости.

Весна

Моя любовь, прислушайся, весна!
Поля сменили грубые одежды,
Сердца деревьев, полные надежды,
Открыты настежь, цветом ночь полна!

Ах! Если любишь, эта жизнь ясна.
Противятся ей гордецы, невежды.
Скользи по ней, как по́ морю... Но где ж ты?
Я жду тебя, мне ночь — душна, тесна.

И я снимаю свой наряд печальный,
И пахну, словно розмарин венчальный,
Ах! Голова кружится, не до сна...

Украсила я волосы цветами,
О, распусти их, заплети мечтами!
Прислушайся, любовь моя, весна!

Тише!

Судьба моя — отверженность надлома,
Ночь мертвая, неистовая ночь,
Я — ветра стон у стен твоих, у дома,
Я — ветра плач, и мне уже невмочь.

Кто я теперь, отчаяния дочь,
Себе самой так странно незнакома,
Поглощена влюбленностью, влекома
Пить голос твой... Ну, как уйти мне прочь?

Твой голос пить — вкушать вино причастья.
Или в стихах, деля с тобою счастье,
Тонуть душой, восторга не тая...

Ты слышишь звук неясный там, на тропке?
Мои шаги... Они впервые робки.
Нет! Тише, друг! Открой же! Это я...

Дым

Ты вдалеке — свет лунный не блистает,
Ты вдалеке — не свищут соловьи,
Ты вдалеке — темны пути мои,
Дни без тепла, в молчанье ночь растает!

Глаза мои... То нищие плутают
По зимней ночи... Милый, не таи:
Открыты, ласками полны твои
Родные руки, обо мне мечтают!

О плач осенних дней! Как, умирая,
Бледнеют хризантемы... Тьма сырая,
В ней скорбным жалобам — дрожать... дрожать...

Тянусь к любви! Мечта неодолима!
И вижу: это только струйка дыма...
Летит сквозь пальцы дым — не удержать...

Равнина в цвету

Наполни грудь страдание одно,
Молю я, колдовство в себя вбирая,
Родятся розы, вереск попирая
Обугленный, уж так заведено.

Те речи, чье значение темно,
Мне шепчут, дивно звуками играя,
И, как от ласки в неге замирая,
Все существо мое потрясено.

Снимаю саван, точно смерть миную,
О, ты увидишь женщину иную —
Не Со́рор Сауда́де, нет, не ту...

В глазах — экстаз, в устах — огонь и сладость,
Плода под солнцем зреющая радость:
Я — дикая равнина, вся в цвету!

Б*ыть поэтом*

Поэтом быть — быть выше, больше всех...
Как нищий царь, чьей все подвластно воле
По обе стороны Вселенской Боли,
Дарить печаль взыскующим утех!

Входить в сердца, как почву рвет лемех...
Кусать, как целовать! Все в этой доле:
Желаний блеск, неведомых дотоле,
И кондора отточенный доспех!

И жаждать, и узреть иные Лики,
Шептаться с Вечностью в ночном окне...
И стон веков сгущать в едином крике!

И так любить тебя... Самозабвенно!
Ты станешь кровью и душой во мне,
Чтоб петь могла о том, что сокровенно...

М*оя боль*

О, боль моя! Суровый монастырь...
Аркад он полон, галерей и теней,
Все — в каменных конвульсиях сплетений,
Изысканных, но мертвых, как пустырь.

Здесь вечно слышу звуки погребений,
Читают по умершему псалтырь...
И эта ночь — огромный нетопырь —
Сулит так мало дней или мгновений...

Ты — монастырь, о Боль! Увяли в муке
Здесь ирисы под колокола звуки,
Но эта смерть чарует, как весна...

В той келье, где висит луна седая,
Я день и ночь молюсь, кричу, рыдая,
И жду: меня услышат... Тишина...

Фернандо Пессоа

Книга неуспокоенности

Фрагменты романа-эссе

Составитель — Бернарду Суареш, помощник бухгалтера в городе Лиссабоне

Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

ЖИЗНЬ представляется мне неким постоялым двором, где приходится ждать прибытия дилижанса, отвозящего всех в небытие. Я не знаю, куда меня отвезет дилижанс, не знаю ничего. Могу считать этот постоялый двор тюрьмой, так как принужден ожидать именно здесь; могу считать его общественным местом, так как встречаюсь здесь с другими. Но я не тороплюсь и не чувствую себя связанным со всеми другими. Пускай себе запираются в своих комнатах, пускай лежат на своих постелях в бессонном ожидании; пускай себе беседуют в залах, откуда доносятся до меня музыка и их голоса. Я сижу около двери и впитываю глазами и ушами цвета и звуки открывающегося передо мной пейзажа и тихонько напеваю, только для себя одного, смутные песни, которые слагаю в ожидании.

Для всех нас когда-нибудь опустится ночь, и придет дилижанс. Я наслаждаюсь данным мне легким бризом и душой, которая дана, чтобы я мог наслаждаться им, и ни о чем не спрашиваю, и ничего не ищу. Если то, что я пишу в книге путешественников, прочтут однажды другие люди, и это развлечет их, а может, и поддержит в пути, ну и хорошо. Если же никто не прочтет этой книги, и даже не обратит на нее никакого внимания, тоже хорошо.

Я люблю в медленные летние вечера спокойствие нижнего города и, особенно, тот покой, что подчеркивает контраст с днем, утонувшим в сутолоке и шуме. Арсенальная улица, Таможенная улица, печальные улицы, ведущие на восток, отделенные от спокойных набережных, — они утешают меня в печали, стоит мне только нарушить вечером их уединение. Я живу то-

© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, 2015
© Издательство "Ad Marginem Press"
В полном виде "Книга неуспокоенности" выйдет в издательстве "Ad Marginem Press".

гда в другом времени, более раннем, чем то, в котором нахожусь на самом деле; я могу представлять себя современником Сезариу Верде, и во мне живут не стихи, подобные его стихам, но какая-то субстанция, такая же, как в его стихах. До самой ночи ношу я в себе ощущение жизни, подобной жизни этих улиц. Днем они полны шума, и это ни о чем не говорит; ночью полны отсутствием этого шума, что также ни о чем не говорит. Днем я есть ничто, ночью я есть я. Не существует никакой разницы между мною и улицами, близкими к Таможенной, за исключением одного: они — улицы, а я — живая душа, но, возможно, это ничего не значит перед тем, что есть сущность всех вещей. У нас одинаковая судьба, ибо и для людей, и для вещей существует определение, одинаково смутное, в алгебре таинства.

Я прошу у жизни немного, но и в этом немногом она мне отказывает. Луч солнца, ближнее поле, глоток покоя и кусок хлеба — вот меня уже и не огорчает мое существование, вот я и не требую ничего от окружающих, только бы и они не требовали от меня ничего. Но и в этом малом мне отказано, как если бы кто-то не подал милостыню не со зла, а лишь от нежелания расстегивать пиджак, чтобы вынуть из кармана мелочь.

Пишу, печальный, в моей тихой комнате, одинокий, каким всегда был, есть и буду. И думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким слабым и ничтожным, субстанцию тысяч голосов, неудержимую жажду высказать себя тысяч жизней, терпение миллионов душ, покорных, как и моя, этой повседневной участи, этому бесполезному мечтанию, этой безнадежной надежде. И эта мысль заставляет мое сердце биться сильнее. Жизнь моя становится в эти минуты интенсивнее, подпитываясь энергией других жизней. Чувствую в себе силу веры, во мне рождается подобие молитвы, подобие мольбы. Но вскоре мне приходится упасть на грешную землю... Снова вижу себя на пятом этаже над улицей Золотильщиков; ощущаю сонливость; вижу, поверх наполовину исписанного листа бумаги, мою некрасивую руку и дешевую сигарету, которую машинально держу левой рукой над старой промокательной бумагой.

И здесь, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! говорю о том, что чувствуют души! продуцирую идеи, подобно мудрецам, гениям! Вот так!..

Сегодня, в одном из бесцельных мечтаний, в каких протекает большая часть моей духовной жизни, я вообразил себя навсегда свободным от улицы Золотильщиков, от патрона Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльно-

го, от мальчика и от кошки. Чувствовал так явственно свою свободу, будто приливы южных морей мне уже обещали чудесные острова, которые я должен открыть. Будто меня уже ждали отдых, свободное творчество, интеллектуальное самовыражение моей личности.

Но внезапно, а мечтал я в одном из кафе, во время скромного полуденного отдыха, в мое воображение ворвался какой-то диссонанс и разрушил мечтание: я почувствовал, что мне жаль чего-то. Да, говорю со всей откровенностью, я почувствовал боль, как от потери. Патрон Вашкеш, бухгалтер Морейра, кассир Боржеш, все неплохие молодые люди — служащие, веселый парнишка, который носит письма на почту, мальчик на побегушках, ласковый кот, — все они стали частью моей жизни; я не мог их оставить без боли, без понимания того, что какая-то часть меня останется с ними, что отделение от них есть разделение меня самого, есть подобие моей смерти.

Один мой знакомый, компаньон фирмы, преуспевающей в делах государственной коммерции, считая, что я получаю мало, как-то сказал: "Тебя эксплуатируют, Суареш". Но разве не все мы в этой жизни являемся эксплуатируемыми, так не лучше ли быть эксплуатируемым Вашкешем, продающим земельные угодья, чем быть угнетаемым высокомерием, славой, досадой или завистью? Есть и такие, кого "эксплуатирует" сам Бог, это пророки и святые в пустыне мира.

Я выбираю для себя в качестве домашнего очага этот чужой дом, эту просторную контору на улице Золотильщиков. Я укрываюсь за моим письменным столом, как будто он является бастионом, защитой от жизни. Чувствую нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые заношу заключенные контракты, к старой чернильнице, к сгорбленной спине Сержиу, оформляющего накладные для посылок немного в стороне от меня. Я люблю все это, возможно, потому, что мне нечего больше любить, а может быть, оттого, что ничто по-настоящему не заслуживает любви, и, если уж есть потребность отдать свое чувство кому-то или чему-то, не все ли равно: любить старую чернильницу или холодное безразличие звезд над нами

Патрон Вашкеш. Вспоминаю о нем с тоской уже сейчас, как будто я уже в будущем, когда буду тосковать о нем — я это знаю. Знаю, где бы я ни был, я буду с тоской вспоминать патрона Вашкеша, контору на улице Золотильщиков; однообразная повседневность жизни будет для меня воспоминанием о любви, которая не случилась, или о победах, которые не стали моими.

Ах, я понимаю! Патрон Вашкеш — это сама Жизнь. Жизнь — монотонная и необходимая, властная и непознаваемая. Этот достаточно банальный человек представляет собой баналь-

ность Жизни. Он является для меня всем, что приходит извне, потому что Жизнь — все, что находится вне меня.

А если контора на улице Золотильщиков символизирует для меня Жизнь, то мой третий этаж, где я живу, на той же улице, символизирует для меня Искусство. Да, Искусство, которое живет на той же улице, что и Жизнь, но в совершенно другом месте, Искусство, которое приносит утешение Жизни, но не приносит облегчения живущему, Искусство, которое так же монотонно, как и сама жизнь, только по-другому — "в другом месте". Да, эта улица Золотильщиков заключает в себе весь смысл вещей для меня, разрешение всех загадок, кроме тех, что не имеют разгадки.

Может ли чье-либо признание оказаться ценным или полезным для других? То, что с нами произошло, чаще всего происходит со всеми, и тогда это не ново, если же оно произошло только с нами, то будет никому не понятно. Если я пишу о том, что чувствую, то только потому, что таким образом ослабляю лихорадочное желание чувствовать. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, поскольку ничто не имеет значения. Я творю пейзажи из собственных ощущений. Устраиваю себе отдых в ощущениях. Хорошо понимаю тех, кто вышивает, чтобы отогнать печаль, и тех, кто вяжет, потому что это — жизнь. Моя старая тетя раскладывала пасьянс бесконечными вечерами. Эта исповедь впечатлений — мой пасьянс. Не пытаюсь истолковать свои ощущения, как это делает раскладывающий карты, чтобы узнать судьбу. Не ощупываю их, ведь в пасьянсе сами карты, собственно, не имеют значения. Разматываю себя, как разноцветный моток ниток, или сплетаю из себя самого веревочные фигурки, какие обычно плетутся вручную исколотыми пальцами, а потом переходят от одного ребенка к другому. Забочусь только о том, чтобы большой палец не упустил узел, который он прижимает. Потом поворачиваю ладонь, и изображение меняется. И возобновляю процесс вязания.

Скука, включающая в себя предвосхищение еще бóльшей скуки; горе уже сейчас оттого, что завтра будешь сожалеть о том, что огорчался сегодня, — страшная путаница, в которой ни пользы, ни истины, страшная путаница...

...где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, мое презрение спит под плащом моего уныния...

...мир картин моего воображения, из которого построены также мои познания и сама моя жизнь...

У меня были горячие стремления и грандиозные мечты — но такие же были и у посыльного или у портнихи, ведь мечтают все; что нас отличает — это сила, дающая возможность осуществить мечты, или удача, которая тоже помогает их осуществлению.

В своих мечтах я равен посыльному и портнихе. Меня выделяют только мои литературные способности. Да, только то, что я могу писать, отличает меня от них. В душе мы все одинаковы.

Если бы передо мной лежал весь мир, я уверен, что променял бы его на билет до улицы Золотильщиков.

Может быть, моя судьба — вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература — это бабочка, присевшая мне на голову, и чем она красивее, тем более смешно и нелепо я выгляжу.

Пишу с ощущением странной боли, причиняемой неким удушьем разума, причина которого — в совершенной красоте вечера. Это небо, синевы драгоценного камня, потихоньку блекнет, окрашивается в бледно-розовые тона нежным розовым бризом — хочется закричать от восторга. Я пишу, в конечном счете, чтобы убежать и найти пристанище. Избегаю идей. Забываю точные выражения, но они возникают, сверкая, в процессе физического действия — письма, будто это настоящее наказание — их производить.

Ото всего, о чем я думал, что я чувствовал, остается смутное, бесполезное желание плакать.

Не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год от роду. Все, что есть рассеянного и грубого в моей восприимчивости, происходит из-за отсутствия ее тепла, из-за бесполезной тоски о ее поцелуях, которых я не помню. Я — искусственный. Всегда просыпался у чужой груди, укачиваемый чужими.

Ах, эта ностальгия по другому, кем я мог бы стать, вот что меня рассеивает и пугает! Кем бы я мог стать, если бы мне и дальше была дана та нежность, которую я знал только в материнском чреве и поцелуях на своем маленьком личике?

Возможно, что тоска по небывшей материнской ласке сыграла решающую роль, породила безразличие в моей душе, в моих чувствах. Кто прижимал мое детское личико к своей груди, не мог прижать меня к своему сердцу. Она находилась далеко, в месте упокоения — та, что была бы мне родной душой, если бы Судьба судила мне иметь родного человека, родного по крови.

Мой отец, живший далеко, покончил с собой, когда мне было три года, я никогда его не знал. Я даже не знал, почему он жил далеко от меня. Да и не хотел этого знать. Помню, я воспринял известие о его смерти как значительное событие, это было во время первого завтрака. Помню, как на меня тогда смотрели. И я в ответ смотрел, с трудом понимая что-либо. Ел, соблюдая все правила, потому что на меня продолжали смотреть, хотя и старались это делать незаметно.

В первые дни осени, приходящей всегда внезапно, когда сумерки обнаруживают очевидность какой-то преждевременности и кажется, что мы не успеваем закончить ничего из наших дневных дел, я наслаждаюсь, даже посреди каждодневных трудов, предвосхищением отдыха от работы, приносимым сумеречной тенью, ведь за ней придет ночь, а ночь — это сон, родные края, освобождение. Когда огни зажигаются в просторной конторе и она перестает быть темной, когда вечереет, но дневные труды еще не закончены, я ощущаю какое-то странное удовольствие, будто это воспоминание другого человека, и спокойно пишу так, как обычно читают, до тех пор, пока не почувствую, что погружаюсь в сон.

И внезапно на широком разлинованном листе моей судьбы-числителя старинный дом моих старых тетушек дает мне приют, он закрыт для мира, чай в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещая только стол, накрытый льняной скатертью, своим светом придает фигуре Морейры расплывающиеся, неясные очертания, каким-то темным электричеством затеняет бесконечности, таящиеся там, за мною. Несут чай — и прислуга, старше моих тетушек, приносит его вместе с руинами моего сна и плохим настроением, навеянным нежной памятью о прошлом, — и я выписываю без ошибок определенную денежную сумму или некий итог сквозь все мое умершее прошлое. Снова погружаюсь в себя, теряю себя в себе, забываю о далеких ночах, незапятнанных еще долгом и миром, девственных, далеких от таинств и от будущего.

И так нежно это чувство, так отчуждает оно меня от дебита и от кредита, что, если кто-то задает мне вопрос, отвечаю мягко, будто мое существо — полое внутри, будто оно — не более, чем печатная машинка, что я ношу с собою, портативный я, с откинутой крышкой, готовый для письма. Меня не задевает, что прерывают мои мечты: они такие нежные, что остаются со мной, когда я говорю, пишу, отвечаю, даже долго беседую с кем-то. И сквозь все это мой потерянный чай заканчивается, и контора закрывается... Поднимаюсь от книги, закрываю ее медлен-

но, мои глаза устали от не пришедших к ним слез, и меня увлекает в свой круговорот какая-то смесь ощущений, я страдаю оттого, что вместе с конторой закрывается и моя мечта; что с тем жестом, которым я откладываю в сторону книгу, скрывается от меня безвозвратное прошлое; и надо идти в постель жизни, не имея ни сна, ни спутника, ни покоя, в приливы и отливы моего спутанного сознания, подобные ночным приливам и отливам в конце судеб, исполненных ностальгии и отчаяния.

Порой я думаю, что никогда не уйду с улицы Золотильщиков. И тогда написанное мной представляется мне вечностью.

Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, единственно – свобода.

Найти личность, потеряв ее – даже вера одобряет такое осознание судьбы.

...Глубокое и тоскливое презрение со стороны тех, кто работает для человечества, тех, кто сражается за родину и отдает свою жизнь за сохранение цивилизации...

...презрение, полное тоски, со стороны тех, кто не знает, что единственная реальность для каждого – его собственная душа, а все остальное – внешний мир и другие люди – некрасивый кошмар, как результат мечтания в условиях несварения духа.

И все полезное и внешнее мне представляется ничтожным и тривиальным перед высшей реальностью моей души, перед верховным и чистым величием моих самых необычных и повторяющихся мечтаний. Они для меня гораздо более реальны.

Завидую всем людям, кто не является мною. Изо всех невозможных вещей – быть другим всегда представлялось мне самым невозможным, и это составляло мою повседневную тоску, отчаяние всех моих грустных часов.

Один слабый луч тусклого солнца погасил в моих глазах физическое ощущение зрения. Желтизна тепла застыла на зеленой черноте деревьев. Оцепенение...

Порой чувствую, как меня, неизвестно отчего, будто касается предчувствие смерти. Или, может быть, неопределенная болезнь, которая не проявляется в боли и поэтому имеет тенденцию охватывать под конец всю нашу душу, а может, это

такая глубокая усталость, под бременем которой душа жаждет смертного сна, ибо простой сон для нее уже недостаточен — несомненно, я чувствую себя, точно больной, чье состояние хуже и хуже, раскидываю, без сил, без тоски, слабые руки поверх печального покрывала.

Полагаю, это и есть то, что мы называем смертью. Не хочу говорить о таинстве смерти, ведь я его не постигаю, но это физическое ощущение, что жизнь прекращается. Человечество боится смерти, но бессознательно; обычный человек храбро сражается, обычный человек, больной или старый, редко смотрит с ужасом на пропасть небытия, видя в этой пропасти именно небытие. Все это — недостаток воображения. Нет ничего глупее: думать, что смерть — это сон. Смерть вовсе не похожа на сон. Главное свойство сна — мы можем проснуться, а от смерти, как предполагаем, проснуться нельзя. И если смерть была бы подобна сну, мы должны были бы предполагать, что от смерти тоже можно пробудиться. Однако вовсе не так представляет себе это обычный человек: он думает, что смерть — это сон, от которого не просыпаются, который нельзя определить. Смерть не подобна сну, потому что во сне я жив и сплю; не знаю, как может кто-нибудь сравнивать смерть с чем-то, не имея опыта смерти.

Для меня, когда я вижу умершего, смерть подобна отъезду. Труп оставляет во мне впечатление сброшенной одежды. Кто-то уходит и уже не нуждается в том единственном костюме, который он носил.

Таинство жизни по-разному огорчает и пугает нас. Порой оно нисходит на нас, будто бесформенный призрак, и душа трепещет от наихудшего из страхов — страха перед уродливым воплощением небытия...

Но тот ужас, что сегодня снедает меня, менее благороден и разрушает сильнее. Это желание не иметь мышления, стремление не быть ничем, сознательное отчаяние всех клеточек субстанции души. Это внезапное понимание своего вечного заточения в келье бесконечности. Разве можно думать о побеге, если эта келья — весь мир?

И поэтому приходит ко мне желание, чрезмерное, абсурдное, напоминающее сатанизм, предшествующий Сатане, чтобы однажды — в день вне времени и материи — случилось бегство от Бога, и самое глубокое в нас осталось бы, не знаю, каким образом, чтобы стать частью бытия или небытия.

Печаль сумерек, сотканная из усталости и лживых отречений, скука и нежелание чувствовать что-либо, боль, как от подав-

ленного рыдания или от постигнутой истины. Разворачивается в моей невнимательной душе этот пейзаж отречения — аллеи оставленных жестов, высокие клумбы, где цветут мечты, которые даже не раскрыли своих бутонов, непоследовательности, как заборы из самшита, разделяющие пустые дороги, предположения, как старые водоемы со стоячей водой, без живых струй, все путается и все выглядит жалко в грустном беспорядке моих неясных чувств.

Чтобы понять, я себя разрушил. Понять — значит забыть о любви. Я не знаю ничего другого, в одно и то же время фальшивого и многозначительного, как это высказывание Леонардо да Винчи о том, что нельзя любить или ненавидеть что-то, чего ты не понимаешь.

Одиночество приводит меня в отчаяние, общество людей меня угнетает. Присутствие другого человека мешает ходу моих мыслей;

В присутствии другого человека — всего одного человека — мое мышление сразу тормозится, и если у обычного человека общение с другим является стимулом к проявлению себя и к разговору, то во мне контакт с другими является “антистимулом”, если это составное слово может прижиться в речи. Я способен, сам с собою, выдумывать столько изречений — проявлений духа, быстрых ответов на незаданные вопросы, способен на вспышки разумного общения ни с кем; но все это исчезает, если я нахожусь рядом с человеком во плоти, я теряю способность рассуждать, говорить и через некоторое время чувствую только сонливость. Да, беседа с людьми вызывает у меня всего лишь желание спать. Только мои друзья, призрачные и воображаемые, только мои беседы, протекающие в мечтах, только они по-настоящему реальны, имеют беспристрастную рельефность, и в них отражается дух, словно в зеркале.

Огорчает меня, впрочем, сама идея быть принуждаемым к общению с другими. Простое приглашение на ужин к одному из друзей вгоняет меня в тоску, которую сложно определить. Мысль о любой социальной обязанности или долге — пойти на похороны, выполнить какое-то поручение в конторе вместе с другим человеком, встретить на станции кого-то, знакомого или нет, — только одна мысль об этом способна нарушить мои размышления на весь день, а порой уже вечером, накануне такого поручения, я беспокоюсь и потом плохо сплю, само же поручение, когда оно на следующий день выполняется, оказывается совершенно незначительным, совсем не оправдывает

моего беспокойства; но эти случаи повторяются, а я так и не извлекаю никакого опыта из них, ничему не научаюсь.

"Мои привычки — от одиночества, не от людей"; не знаю, кто это сказал: Руссо или Сенанкур[1], Но это был дух, подобный моему, вернее было бы сказать — дух моей породы.

Не знаю, только ли со мной это случилось или со всеми, кого цивилизация заставила словно родиться во второй раз. Но, кажется мне, что для меня или для всех, кто чувствует, как я, искусственное стало натуральным, а подлинно натуральное нас удивляет. Лучше сказать так: искусственное не стало натуральным, нет, просто натуральное перестало от него отличаться. Ненавижу средства передвижения и не нуждаюсь в них, ненавижу результаты научных открытий, которые делают жизнь легкой — телефоны, телеграф, — и не нуждаюсь в них, или субпродукты фантазии — фонографы, радиоприемники — они для тех, кого развлекают, делая жизнь забавной.

Ничто из этого меня не интересует, я не желаю ничего из этого. Но я люблю реку Тежу и большой город на берегу этой реки. Я наслаждаюсь небом, когда смотрю на него с пятого этажа на улице Байша. Ничего не могут мне дать поле или природа такого, что сравнилось бы с королевским величием спокойного города в лунном свете, когда смотришь на него с площади Грасы или улицы Сан-Педру-де-Алка́нтара. Нет для меня таких цветов, что были бы краше залитого солнцем красочного разноцветья Лиссабона.

Красота обнаженного тела ценится только народами, в чьем обычае — ходить одетыми. Целомудрие имеет значение, главным образом, для чувственности, как препятствие для энергии, для легкого достижения желаемого.

Искусственность — это один из способов наслаждаться естественностью. Необъятное поле мне так нравится потому, что я не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил под гнетом принуждения.

Цивилизация учит ценить природу. Искусственное — путь, на котором начинают высоко ценить естественное.

Но, тем не менее, важно никогда не принимать искусственное за натуральное.

Гармонически сочетать естественное и искусственное — естественное свойство высокой человеческой души.

1. Это сказал Шатобриан. (*Прим. перев.*)

Все зло романтизма — в путанице между тем, что нам нужно, и тем, чего мы желаем. Все мы нуждаемся в нашей жизни, в самом насущном для нее, в ее сохранении и в ее продолжении; все мы желаем жизни более совершенной, счастья более полного, реализации наших мечтаний...

Это свойственно человеку — хотеть того, что нам необходимо, и также свойственно человеку — хотеть того, что для нас не является необходимым, но чего мы сильно желаем. Болезнь приходит, когда начинают хотеть одинаково интенсивно, как необходимого, так и желанного, и страдают от несовершенства так, как страдают от голода из-за отсутствия хлеба. Вред романтизма именно в этом — возжелать луну таким образом, словно есть способ ее получить.

Как бы я ни был в душе близок к языку романтиков, не нахожу отдыха нигде, кроме как в чтении классиков. Даже их некоторая ограниченность, узость, благодаря чему достигается ясность, меня успокаивает, хотя не могу объяснить, почему. Получаю от них радостное впечатление свободной жизни, созерцающей широкие просторы, которые не надо пересекать. Будто сами древние боги язычников отдыхают от мистерий.

Читаю и становлюсь свободным. Обретаю реальность. Перестаю быть собой, исчезаю. И то, что я читаю, вместо того, чтобы быть чем-то вроде моего платья, едва мною замечаемого и лишь иногда мне тесного, становится огромной ясностью внешнего мира, он весь виден и понятен, солнце, освещающее всех, луна, роняющая тени на тихую землю, широкие пространства, оканчивающиеся океаном, черная плотность деревьев, колышущаяся зеленым в вышине, прочный покой водоемов в садах усадеб, дороги, укрытые виноградными лозами, на коротких спусках откосов.

Читаю, будто отрекаюсь. И точно так же, как королевская корона и мантия никогда не бывают более значительны, чем в миг отречения короля, оставляемые им на полу, так и для меня становятся дороже все мои триумфы, мечты и печали, когда я слагаю их с себя на мозаичный пол прихожей и вступаю на парадную лестницу, оставляя себе единственное величие – всевидящий взгляд.

Читаю, будто странствую. И благодаря классикам, всегда спокойным, — а если они и страдают, то молчат об этом, — я чувствую себя святым путником, помазанником и пилигримом, просто созерцателем этого бесцельного мира, Наследником Престола Великого Изгнания, подающим нищему, уходя, последний обол своего отчаяния.

Сонеты из цикла “Крестный путь”

Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

VII

Когда бы осужден я был заране
На жизнь без жизни, тлеющую где-то
Дождливой ночью, ночью без рассвета
Среди подводных скал воспоминаний...

Как если бы в предутреннем тумане
“Не будь ничьим”, — вещала мне комета...
О цели вопрошал я без ответа
И ждал грядущего без упований...

Когда б я был метафорой ничтожной,
В стихах поэта ноткою тревожной,
Того, кто умер, слабый и больной,

В бою, на пораженье обреченном,
Припав лицом к развернутым знаменам
В последний день империи одной...

X

Из вечности, где некогда блуждала,
Пришла ко мне вот эта жизнь. И странно
Из существа, что было первозданно,
Путем неведомого ритуала

Из дальних блесков, гаснущих устало,
Из ностальгии, ноющей, как рана,
Неясных криков, слышных из тумана,
Та сущность родилась, что мною стала.

И в том, что было мною, тучей грозной
Нависло небо в серой тишине,
Ложилась ночь, дождлива и беззвездна...

© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, 2015

Ищу в душе, что я берег бы свято, —
Пустыня там, где Бог имел во мне
Забвенья средоточие когда-то...

XI

Я — полотно, сейчас на мне картину
Напишет мастер. Знал я наперед:
Коль душу я, покорствуя, отрину,
Мое начало целью расцветет.

Что до того, пусть осень паутину
Плетет, и скуки нарастает лед,
И до причуд души, что сквозь рутину
О царских почестях в чаду поет?

Рассеян... Веером сложилось время,
Душа — высокий свод, и в ней простор...
А скука? Боль? На миг забыто бремя...

Для обновленья крылья распростер,
И на земле, куда достанет око,
Полета тень трепещет одиноко...

XII

Пастушка, ты брела в густых туманах
Путем несовершенства моего —
Прощенья жестом было для него
То стадо между трав благоуханных...

“Ты королевой будешь в дальних странах”, —
Однажды предрекли, но отчего
Ушла, меня оставив одного?
Лишь тень скользит от юбок домотканых...

И быть тебе, как прежде, той же девой,
И в дальних землях в облике знакомом,
Пастушкой тихой, а не королевой,

Идущей вдаль пастушкою простой,
А мне — мостом непрочным над разломом
Меж будущим неясным и мечтой...

XIII

Посланец я, но от меня таят
Посланий смысл, и речь моя потоком
Слетает с губ, и мню себя пророком,
И сам как будто надвое разъят...

Я тот, чьи прорицанья свет струят,
И я — ничтожный червь во рву глубоком,
И миссия моя — к людским порокам
Внушает мне презренья грозный яд...

А вдруг умолкнет голос отдаленный,
И сам себя на царство я венчал,
Своей гордыней страшно ослепленный?

Но ширится высокая тревога,
Оттуда, из начала всех начал...
И — вот оно, прикосновенье Бога...

Ирина Фещенко-Скворцова

Триумфальный день Фернандо Пессоа

8 марта 2014 года научные круги Португалии отмечали столетие “триумфального дня Фернандо Пессоа”, когда он, по его словам, в состоянии экстаза написал более тридцати стихотворений “Хранителя стад” – в этот день “родился” его гетероним Альберту Каэйру, ставший Учителем для самого Пессоа и для других его двойников – Рикарду Рейша и Алвару де Кампуша. В тот же день были созданы шесть стихотворений цикла “Косой дождь” под именем самого Фернандо Пессоа и “Триумфальная ода” Алвару де Кампуша. Об этом поэт сообщил своему другу Адольфу Казайшу Монтейру в знаменитом письме от 13 января 1935 года, где указал место и время рождения, образование, детали биографии своих гетеронимов, не забыл упомянуть их рост и даже описал внешний вид.

Не является ли этот фантастически продуктивный день еще одной мистификацией Великого Мистификатора Фернандо Пессоа? Профессор Лиссабонского университета Иву Каштру произвел тщательный анализ рукописей “Хранителя стад”: почерк Пессоа был не тем, каким он писал в спешке, в порыве вдохновения, использованы разные типы бумаги, четыре различные ручки, да и даты, стоявшие под стихами цикла, относились к различным дням. Вывод ученого: даже первые тридцать из сорока девяти стихотворений цикла не могли быть написаны в один и тот же день. По-видимому, цикл был написан в течение двух месяцев, с 4 марта по 10 мая 1914 года. Тем не менее день, когда в голове поэта родился замысел, получивший такое плодотворное развитие, в Португалии чтят и помнят.

Коллоквиум, участницей которого мне посчастливилось быть, проходил 6–8 марта в Лиссабоне в одном из павильонов Фонда Калуста Гулбенкиана. Участники подчеркнули, что главную заслугу Фернандо Пессоа перед миром составляет его “Книга неуспокоенности”. Этот текст, увидевший свет лишь после смерти автора, переиздавался у него на родине с 1961-го по 2013 год тридцать пять раз, он выдержал девятнадцать изданий в

© Ирина Фещенко-Скворцова, 2015

Бразилии, двадцать одно — в Испании; сорок два — в Италии; четырнадцать — в Германии; по девять — во Франции и в Швейцарии; семь — в Великобритании, пять — в США; по четыре — в Норвегии, Чехии и Венгрии, по три — в Голландии и Швеции; выходил также в Греции, в Японии и Израиле, в Польше, в Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Хорватии, Словении, в Марокко, Мексике, Аргентине, Индии, Китае, Турции.

Преподаватель Лиссабонского университета Педру Тиагу Феррейра так и назвал свое выступление на конференции: "Филология как опекун и соавтор: случай Пессоа". Он высказал убеждение в том, что "Книга неуспокоенности" в том виде, как она была оставлена автором, не пригодна к публикации: только кропотливая работа филологов над компоновкой ее фрагментов, выбором отдельных пометок автора из множества имеющихся, над определением, какие авторские правки считать окончательными, помогает скомпоновать цельное произведение. Вот почему "Книга неуспокоенности" при каждом последующем издании предстает в измененном виде, раскрывая внимательному читателю все новые глубины.

Ряд выступлений был посвящен исследованию общности отдельных аспектов мировосприятия Фернандо Пессоа и крупнейших философов XIX–XX веков — Серена Кьеркегора, Фридриха Ницше, Людвига Витгенштейна. Интересно прозвучала тема итальянского исследователя Винченцо Руссо "Фернандо Пессоа — прочтение Аленом Бадью". Имелось в виду эссе французского философа "Век поэтов" (оно известно и русскоязычным читателям в переводе Сергея Фокина[1]), где Пессоа включен в плеяду таких лириков современной эпохи, как Малларме, Рембо, Тракль, Мандельштам, Целан. Португальская исследовательница Мадалена Лобу Антунеш показала близость творчества Пессоа и мистических озарений Уильяма Блейка. Исследовательница из Коимбры Криштина Зоу рассматривала вопрос о гнозисе — высшем эзотерическом, мистическом знании, которое занимает важное место во всем творчестве Пессоа.

Значительная часть выступлений была посвящена гетеронимам Пессоа, при этом акцент делался на творчестве "главных" из них: Алберту Каэйру, Рикарду Рейша и Алвару де Кампуша. Они считаются "главными" не только из-за большого количества подписанных их именами произведений, но и потому, что Пессоа дал каждому из них особую биографию, описал их внешний вид. Другие, тоже вымышленные, персонажи вроде "автора" "Книги неуспокоенности" Бернарду Суа-

1. Новое литературное обозрение, 2003, № 63, с. 11–23.

реша, барона де Тиеве и прочих считаются полугетеронимами, они не разработаны поэтом столь тщательно, не вступают в дискуссии между собой и с самим Пессоа, не проявляют себя так, будто существуют на самом деле.

Рассказ о Рейше исследователя, литературного критика, поэта и переводчика Ричарда Зенита, ставшего организатором многих изданий произведений Фернандо Пессоа, Луиса Камоэнса и многих современных португальских поэтов, сопровождался чтением од поэта-гетеронима и их метрическим анализом. Для меня это выступление было особенно интересно, поскольку именно данный аспект творчества Рейша/Пессоа был объектом и моего выступления на коллоквиуме, занимал меня при поиске адекватной манеры перевода его стихов.

Пессоа прямо утверждает: первое, что следует сохранить при переводе стихов с одного языка на другой, это ритм оригинала[1]. Рейш/Пессоа не только в одах, но и в заметках о поэзии подчеркивал, что именно метрическая система стиха доносит до читателя эмоциональный заряд произведения. В одной из своих од Рейш/Пессоа дает свое представление о том, как рождаются стихи:

Разум увлечь высотой и слепо
Верить своим законам –
Строгим – стиха плетенье;
Если идея парит высоко,
Слово за ней стремится,
Служит ей ритм покорный[2].

В поэтическом мире самого Пессоа, или Пессоа-ортонима (в отличие от гетеронимов), можно увидеть начала традиционного португальского лиризма. В ритмах и образах сборника “Cancioneiro” различимы отсылки к лузитанским колыбельным, мелодиям романсов, мотивам волшебных сказок. Для языка поэта здесь характерна краткость, недоговоренность, вопросительная интонация, большинство стихов рифмованы, имеют четкий ритмический рисунок.

Несколько отличаются по ритму традиционные португальские “троваш” – куплеты в народном стиле, написанные семисложником. Русским читателям они еще неизвестны, между тем Пессоа писал их всю жизнь, и последние датированы 1935 годом – годом смерти поэта. В этих куплетах всегда строго соблю-

1. Pessoa inédito. – Lisboa: Livros Horizonte, 1993, p. 386.
2. Р. Рейш Разум увлечь высотой и слепо... (*Здесь и далее – перев. мой.*)

дается число слогов в стихе, а ударение плавающее. “Троваш” писали большинство португальских поэтов, наиболее популярны в свое время были куплеты Антониу Нобре. Но “троваш” Нобре больше напоминают студенческий фольклор:

Студенты вьются вокруг
И все влюблены, ей-богу!
Окончит курс милый друг,
Уедет, забыв дорогу...

Куплеты Пессоа иные. Некоторые из них по языку и содержанию бесхитростны, подобны нашим отечественным частушкам, автор как бы рядится в одежду простого сельского парня (еще одна маска?). В других появляются выраженные языком народа излюбленные темы поэта, знакомые по многим его стихам. Вот несколько примеров:

Стул забытый, старый дом,
За окошком — куст жасминный.
Эх, кабы на стуле том
Мой дружок сидел старинный!

Ах ты, речка-ручеек,
Гладь спокойная речная!
Дай совет, дай хоть намек,
Как прожить, любви не зная.

Колос в поле все тучней —
Время жатвы, обмолота.
Правда — дверца, только к ней
Не приходят отчего-то.

Рифмованы, четки по метрическому складу, пронизаны душевным подъемом стихи “Послания” — единственной книги, опубликованной при жизни Фернандо Пессоа, незадолго до его кончины. Количество слогов в стихе здесь колеблется от семи до десяти, чаще встречаются короткие строки — семи- и восьмисложник. В “Послании” поэт выступает в роли своеобразного демиурга. Любовь к родине, гордость ее минувшей славой, подвигами мореходов-первооткрывателей, ностальгия по этому прошлому определяют выбор языка — лаконичного, торжественного, строгого, афористичного:

Господь велит, мечтает человек —
Так план родится будущих событий:
Чтоб от земли к земле легли навек
Морских путей невидимые нити.

Для замысла он избран был один,
И пенный след прорезал синь без края,
Единая — круглилась из глубин
Земля, в лазурной чаше золотая.

Его стремленьем обретает плоть
Завет о море — в грозном свете молний,
Империя разрушилась — Господь,
Теперь и Португалию исполни!

Пессоа смело экспериментировал в области поэтической метрики, эти эксперименты отведены его главным гетеронимам. Каждому из них Пессоа подбирал своеобразный язык; по его словам, легче это было сделать в стихах, сложнее — в прозе. Поэтику португальского Горация — латиниста, классика Рикарду Рейша Фернандо Пессоа выстраивал особенно тщательно. В поисках новой метрики он исследовал метрические системы других культур, в частности, античную греко-латинскую и английскую. Но законы стихосложения античности резко отличались от португальской, достаточно свободной системы. Строгие правила, характерные для построения строф античных логаэдов, стали бы для португальской поэзии удушающим корсетом. С другой стороны, разнообразие этих логаэдов открывало богатейшие возможности, для того чтобы сделать собрание од Рейша многоголосым музыкальным произведением.

Как решает эту проблему Рейш/Пессоа? Он создает свои собственные метрические системы на базе разнообразных античных строф, имитируя таким образом античные логаэды, приспособляя их строгие правила к португальской системе версификации. К такому выводу приходит Фернанду Лемуш и другие исследователи метрики од Рейша/Пессоа.

Лишь в отдельных случаях Пессоа относительно строго соблюдает античную метрику. Мне удалось найти в корпусе од Рейша/Пессоа оды, написанные с использованием малой сапфической строфы:

Ведом страх мне, Лидия, перед роком.
Если камень легкий, попав случайно,
Чуть кренит колеса моей повозки,
        Падает сердце.
Все, что мне грозит переменой малой,
Даже если к лучшему, мне не мило,
Пусть позволят боги остаться прежним,
        Пусть неизменны
Дни мои проходят вослед за днями,

Тихо, тихо к старости жизнь склоняя,
Так и день склоняется час за часом
К ночи спокойной.

Большая сапфическая строфа используется португальским Горацием в несколько измененном виде:

Бледность дня слегка позлатить тщатся лучи, блистая,
Солнцем зимним, словно росой, искрятся на изгибах
Ветви куста сухие.
Дрожь пробирает, зябко.
Изгнан родиной золотой веры моей старинной,
Я утешен думой моей, что лишь к богам стремится,
Грею себя, дрожащий,
Солнцем иным, не этим —
Что светило на Парфенон, рвущийся ввысь Акрополь,
Освещало медленный шаг, речью перемежаем:
Вслух Аристотель мыслил.
Но Эпикур мне ближе,
Голос, ласковый и земной, слаще звучит для слуха,
Он теперь как равный богам с ними ведет беседу,
Жизнь созерцая мирно
Из беспредельной дали.

Удалось также встретить в одах Рейша/Пессоа в чистом виде вторую асклепиадову строфу:

Право, я не из тех, кто предпочтение
Отдал в дружбе, в любви полу единому.
Мне равно красота вечно желанною
Будет в каждом обличии.

Птица к ветке летит только на дерево
То, что нравится ей, издали выбрано.
Бег река устремит склоном, что встретится,
А не там, где нам надобно.

Так и я не хочу делать различие:
Где случилась любовь, там и живет она.
И невинность сама не оскорбляется,
Если любит, как любится. <...>

Четко воспроизводит Рейш/Пессоа дактилический каталектический гекзаметр:

Лидия, ты приходи посидеть у реки неширокой.
Будем спокойно следить за теченьем ее, понимая,

Так же проходит и жизнь, ну а за руки мы не
держались.
(Лидия, руку мне дай).
Взрослые дети, теперь наступает мгновенье подумать:
Жизнь ничего не вернет, и сама никогда не вернется,
В дальний течет океан, что Судьбы омывает утесы,
Там, где обитель богов.
Руки разнимем с тобой, докучать нам не стоит друг
другу,
Счастливы мы или нет, мы проходим, как реки
проходят,
Лучше в молчанье идти, в тишине научиться
терпенью,
И беспокойства не знать.
Лучше любови не знать, ни страстей, поднимающих
голос,
Зависти, застящей взгляд, ни заботы, тревожащей
ночью,
Если имела бы их, то стремилась без устали к морю,
Вечно текла бы река.
<...> Если я раньше уйду, хорошо, что ты сможешь
спокойно
Вспомнить без боли меня, без тоски и волнений
печальных:
Не целовались с тобой, не сплетали мы рук в жаркой
ласке,
Были мы только детьми.
Если же раньше меня свой обол понесешь ты Харону,
Не обречен я страдать, о язычнице грустной
припомнив,
Будешь ты, нежная, мне вспоминаться с букетом
душистым
Возле спокойной реки.

С использованием алкеева девятисложника, элемента античной алкеевой строфы, написана ода “Пустыми пусть пребудут руки”:

Пустыми пусть пребудут руки,
Душа пусть ничего не помнит,
И даже пусть, когда положат
Тебе в ладонь обол последний,

Из этих вновь разжатых пальцев
Ничто не упадет на землю. <...>

Алкеев одиннадцатисложник лежит в основе оды “Оставим знанье, Лидия, может ли...”:

Оставим знанье, Лидия, может ли
Оно цветы, как Флора, рассаживать
Курс менять колесницы
Светлого Аполлона?
Оставим лучше мы созерцание,
Оно от близкого отстраняется,
Слепнет, пристально глядя:
Взор туманит усталость.
Смотри, Церера все не меняется,
Вздувает колос зреющим семенем,
А под флейтами Пана
Поле вмиг замолкает.
Смотри, античной грацией полные,
Газель затмили сада небесного
Нимфы, танцем несомы,
И не зная покоя.
И как с ветрами, лесом летящими,
Гамадриады нежные шепчутся,
Пана отвлечь пытаясь
От пристрастия к флейте.
И нам ли способ новый придумывать,
Мы радость видеть в жизни обязаны,
В золоте Аполлона,
В лунном лике Дианы. <...>
И пусть придет потом седовласая
К нам старость, если боги пожалуют,
Этот час сберегая
От проклятья Сатурна.
Но пусть богами будем всесильными
Самим себе, никто нам не надобен,
Кто себя почитает,
Поклоненья не ищет.

В большинстве од Рейша/Пессоа сочетаются отдельные элементы различных античных строф. Фактически, перед нами не известные строфы, а имитация античных логаэдов, продукт творчества Рейша/Пессоа. В качестве примера приведу оду, сочетающую алкеев одиннадцатисложник с первым акаталектическим ферекратеем:

Под теми, этими ли деревьями
Некогда вел я танец,
Да, вел я танец, нимфы наивные,
Для удовольствий вольных,

Что вам даны. Почти человечными
Будьте в свободном танце,
Пусть радость ваша в ритмах рассыплется,
Празднично-строгих ритмах,
Тех ритмах, кажущихся лукавыми
Жизни, привычно-грустной,
Что не умеет здесь, под деревьями,
Танец вести свободный.

Своеобразна и метрика двух других гетеронимов — Альберту Каэйру и Алвару де Кампуша. На первый взгляд, это просто нерифмованный стих, многие португальские филологи, не занимающиеся специально этим вопросом, считают, что метрика Каэйру ничем не отличается от метрики Кампуша. Но в исследовании Поли Эллен Бот можно встретить интересные выводы о различии между ритмикой Каэйру и Кампуша. По мнению исследовательницы, "свободный стих" и Каэйру, и Кампуша нельзя считать полностью "свободным", каким является современный белый стих. Существуют предположения, что перед нами гекзаметр, но не строгий, гибкий, перемежающийся более короткими строками с измененным ритмом. Свободный стих Алвару де Кампуша часто определяют как "ритм абзацев". Этот ритм нуждается в эффектах, которые в традиционном стихе производились рифмой, стопой, фиксированными ударениями. Стихи Каэйру, подобные прозе, близки к разговорной речи, лишены украшений, неуместных для тех чувств, которые призваны передавать.

Исследовательница отмечает, что эффект свободного и сложного стиха Кампуша создается при помощи использования долгих, протяженных стоп, в которых каждый ударный слог сопровождается многими безударными или несущими легкое ударение слогами. Стопы же стиха Каэйру, имеющие большее число ударных слогов, более сжаты, поэтому они читаются медленнее. Даже при большей протяженности стих Каэйру не может читаться с той же скоростью, как и стих Кампуша, потому что ритм самих слов этого не позволяет. Стих Каэйру звучит медленно, чем достигается эффект ясного и прямого толкования его идей. Кампуш же, наоборот, комбинирует ритмы более спокойные с другими, ускоряющимися, передавая этим сложную смену эмоций.

Вот отрывок из одной из самых известных вещей Алвару де Кампуша:

Деревья неподвижные в саду, видимые через окно,
Деревья, чуждые мне, непостижимым образом я
сознаю, что я их вижу,

Деревья, такие же, как другие, но они существуют
лишь постольку, поскольку я вижу их,
Я не могу ничего делать с этими деревьями так, чтобы
мне не было больно,
Я не могу сосуществовать с вами там, вдали, пока я
вижу вас здесь.
И могу только подняться с этого кресла, отбросив
прочь свои сны...

Какие сны?.. Я не знаю, видел ли я сны... Какие суда
уходили, куда?
У меня было смутное впечатление, потому что на
картине передо мной
Суда уходят — не суда, лодки, но суда находятся во мне,
И всегда лучше неопределенное, которое укачивает,
чем определенное, которого хватает,
Ведь то, чего достаточно, заканчивается на этом, и как
только это происходит, его начинает не хватать,
И ничто, похожее на это, не дает ощущения жизни...

А. де Кампуш *Белый дом, черное судно*

Для сравнения даю стихотворение Альберту Каэйру из цикла “Влюбленный пастух”. Описываемое в нем состояние не характерно для Каэйру, это пришедшая к нему, как болезнь, влюбленность, во многом подорвавшая основы его прежнего мировосприятия. Каэйру, воспевавший умение “не думать или мыслить только чувствами”, теперь признает, что “любить и значит думать”.

Всю ночь не спал и наяву ее фигуру видел постоянно,
Всегда другой, не той, какой ее встречаю.
Пытаюсь вспомнить я, какой она бывает, когда со
мною говорит,
И в каждом образе меняется она, хотя себе подобна.
Любить и значит — думать.
Почти отвык я чувствовать, лишь думаю о ней.
Чего хочу, и даже от нее, не знаю сам, но думать я могу
о ней одной.
Какая-то рассеянность, что вдохновляет.
Когда я жажду встречи с ней,
Почти предпочитаю не встречаться,
Чтоб мне не оставлять ее потом.
О ней мне легче думать, ведь ее в реальной жизни я
боюсь немного.

Чего хочу, не знаю сам, и знать я не хочу, чего хочу.
Хочу я только думать про нее.
И больше ни о чем я не прошу, и даже у нее, хочу я
только думать.

А. Каэйру *Из цикла "Влюбленный пастух"*

Свободный стих, говорит Пессоа в одном из своих критических текстов, это третья стадия развития поэтической формы после греко-латинской и силлабической. И она требует от поэта дисциплины более интимной и глубокой, чем две первые, дисциплина которых была заложена в самих используемых ими средствах — строгой метрике строфы, рифмовке, чередовании ударений. Он сравнивает "свободный стих" и "стих, заключенный в жесткие рамки" с двумя путями в Рим: второй путь более долгий, он использует окружные дороги, у него больше пространства. Первый же путь — путь "свободного стиха" — это путь по прямой от пункта А к пункту Б, он сложнее и опасней, потому что требует точности с самого начала.

Гетеронимия позволила Пессоа раскрывать многочисленные грани своего таланта, говоря языком разных поэтов, оригинальных и неповторимых каждый по-своему. Как возникло это явление — гетеронимия? В уже упоминавшемся письме от 13 января 1935 года Фернандо Пессоа упоминал о симптомах истерии и неврастении, которые якобы и послужили причиной появления гетеронимов. Но вряд ли стоит сводить творческий процесс к особенностям психики поэта. В письме к Жуану Гашпару Симойшу[1] Фернандо Пессоа писал: "Главную черту моей личности как художника составляет то, что я — поэт-драматург; я всегда, когда пишу, испытываю чувство глубокой экзальтации как поэт и чувство отстранения от собственной личности как драматург... Критик знает, что я чувствую как поэт; что как поэт-драматург чувствую, отделяя себя от себя самого; что как драматург (не поэт) превращаю автоматически то, что чувствую, в проявление чувств, весьма далекое от того, что я чувствовал, построенное на эмоции несуществующего лица, которое искренне испытывало бы это чувство..."

1. João Gaspar Simões. Novos Temas. — Lisboa: Inquérito, 1938, p. 391-402.

Жентил Маркеш
Легенды

Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой

Состоящая из нескольких тематических томов серия “Легенды Португалии” родилась благодаря глубокому интересу и любви ее автора к традиционным народным преданиям. Жентил Маркеш в течение долгого времени вел на радио программу, посвященную народным легендам, таким образом ему удалось собрать богатую коллекцию, которую он опубликовал в своем изложении, пересказал, как принято было пересказывать их из поколения в поколение. И хотя Маркеш серьезный исследователь, тут он выступил в роли сказителя, который, благодаря радио и печатному станку, сумел охватить гораздо более широкую аудиторию, чем его предшественники, и пробудить у многих читателей интерес к народному творчеству.

Легенда о золотой жиле

Среди земель, окружающих город Сантарень, есть одно место, поближе к реке Алвиела, которая изумительно красива благодаря водопадам.

Называется оно Вале де Фигейра. Здесь и живет древняя, как эти земли, легенда.

Однажды печальным зимним вечером мужчина и женщина, люди бедные, но благородные, запирали двери своего дома. Безжалостно шумел ветер, угрожая вырвать окна жалких лачуг, сорвать самодельные крыши. Дядюшка Мануэл да Азиняга смотрел на огонь в печке, еле пробивавшийся сквозь золу. Он был погружен в задумчивость. Вспоминал все неприятности, из-за которых их жизнь была так трудна. Вспоминал молча: Мария, его жена и подруга, не любила слышать жалобы. Видя задумчивость мужа и желая отвлечь его от грустных мыслей, тетушка Мария сказала:

— Какой дождь там, снаружи!

© 2006 Beta – Projectos Editoriais, Lda
© Ирина Фещенко-Скворцова. Перевод, 2015

Муж, нахмурив брови, ответил:

— И там снаружи... и здесь внутри! Домишко ветхий! Пора бы сделать ремонт... но деньги от нас бегают! Работаешь... работаешь... а зачем?

Мария попыталась успокоить мужа:

— Оставь это, óмень[1]! Настанут лучшие дни!

— И когда же это случится? С тех пор как мы поженились, ты твердишь одно и то же!

И передразнил жену:

— Лучшие дни! Лучшие дни!..

Его лицо стало еще более замкнутым. Он подытожил:

— С меня довольно!

Стараясь говорить спокойно, хотя на сердце у нее отнюдь не было спокойствия, тетушка Мария продолжала уговаривать мужа:

— Не все у нас так уж плохо. Мы здоровы, а это уже великая милость Божья.

Мануэл пожал плечами. Его голос оставался суровым, но выражение лица несколько смягчилось:

— Знаешь, мулéр[2], у меня другой нрав. Работать я тоже люблю и делаю все на совесть. Но хочу иметь от этого прибыль!

Мария напомнила грустно:

— Ты хорошо знаешь, что сеньор Франсишку сейчас не может тебе заплатить...

И, подняв глаза к небу, добавила:

— Спаси нас Боже от тех трудов, которые сейчас выпали ему на долю!

— Да, и то правда. Ну а жена Антониу? Почему она тебе не платит?

— Ох, бедняжка! С тех пор как она родила, все время болеет. Как ей собрать деньги, чтобы заплатить?

Дядюшка Мануэл снова посмотрел на жену с раздражением:

— Вот тебе и на! Если бы она захотела, могла бы дать тебе курицу, овечьего молока... да хоть что-нибудь, наконец! Все бы сгодилось! Послушай, а что ты скажешь о Розе?

1. В португальском языке слово “homem” переводится и как “мужчина”, и как “человек”. Для нас непривычно, чтобы жена обращалась к мужу: “Мужчина!”, но в Португалии такое обращение весьма распространено как при обращении к мужу, так и при разговоре с любым знакомым. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. “Мулер” по-португальски означает и “женщина”, и “жена”.

— О Розе?

— Да, о Розе! Ты ей уже помогала дважды и — ничего! Это просто подло!

И добавил, ударяя кулаком по столику, стоявшему возле его стула:

— Так вот, теперь шагу из дому не сделаешь!! Пусть платят вперед! Тогда получат помощь!

Тетушка Мария, видимо, огорчилась:

— Ох, омень, не говори так! Они в меня верят. Детки рождаются такими здоровенькими!

— Да, конечно... но, если ты заболеешь, кто придет тебе на помощь?

Тетушка Мария собиралась было ответить. Но конский топот, который слышался вдали, оборвался у дома дядюшки Мануэла да Азиняги. Последовали мощные удары. Мария поспешила к дверям. Но муж крикнул ей:

— Ты это куда? Стой, где стоишь!

Она бросила на него взгляд, в котором смешались робость перед гневом мужа и чувство собственного достоинства:

— Это наверняка муж Фелисмины. Она вот-вот должна родить.

Дядюшка Мануэл еще громче закричал:

— Пусть стучит в другую дверь! На дворе дождь! Ветер! Холод!

И ветер, будто желая подтвердить слова дядюшка Мануэла, завыл еще сильнее, сотрясая дверь и окно. Но удары в дверь возобновились. Мария не выдержала:

— Успокойся, омень! Иду открывать.

Как только дверь отперли, вошел незнакомец. За ним в дом ворвались порыв ветра и струя холода. На пришельце был красивый плащ, весь мокрый от дождя. Он снял шляпу. Мария приветствовала его:

— Спаси вас Бог! Кто вы?

Вместо ответа — лишь сухая фраза:

— В вас нуждаются, сеньора Мария.

— Но кто? Фелисмина?

— Нет. Кое-кто, кого Вы не знаете.

Мануэл посмотрел на незнакомца. Тот был еще молод, лицо довольно смуглое, правильные черты, большие, черные, блестящие глаза. Он никогда не встречал его в этих местах. Дядюшка Мануэл произнес твердо:

— Сегодня моя жена не выйдет из дому.

Незнакомец посмотрел на Марию так, будто не слышал слов хозяина дома, и спросил:

— Пойдете со мной?

Срываясь на крик, дядюшка Мануэл повторил:

— Я вам уже сказал, что она не выйдет из дому!

Тот, другой, словно не слышал крик Мануэла:

— Я отвезу вас туда, где надо спасти дитя и женщину.

Мария посмотрела на мужа:

— Манел[1]! Я не вправе отказываться.

Дядюшка Мануэл обернулся к незнакомцу:

— Но... кто вы?

Мужчина спокойно ответил:

— Некто, живший здесь ранее, а теперь — пленник этих земель.

Дядюшка Мануэл проворчал:

— Это не ответ! Откуда вы?

— Живу здесь поблизости — на самом берегу вашей реки Тежу.

Дядюшка Мануэл снова посмотрел на него. И с гримасой недоверия заметил:

— Вы чересчур хорошо одеты, чтобы жить в одной из наших хижин!

— А я и не живу в хижине.

Дядюшка Мануэл уставился на него:

— Как так? На берегу Тежу нет домов!

Так как мужчина молчал, Мария попыталась вмешаться:

— Мануэл, не задавай больше вопросов! У сеньора могут быть свои причины не говорить, где он живет.

Незнакомец слегка улыбнулся:

— Именно так, моя сеньора.

Дядюшка Мануэл снова рассердился:

— Послушай-ка, жена! Ты собираешься уйти из дому в такой вечер, как сегодня, с незнакомцем, и я даже не знаю куда? Ну нет, моя жена не пойдет неведомо куда!

Незнакомец впервые проявил признаки нетерпения:

— Моя сеньора. Нельзя терять время. От нас зависят две жизни.

Мария забеспокоилась:

— Ваша правда, сеньор, ваша правда!

И, обернувшись к мужу, сказала:

— Мануэл, успокойся... Я не могу не ослушаться тебя!

Дядюшка Мануэл покраснел. И закричал:

— Что? Ты пойдешь с ним?

И снова ударил кулаком по столу.

1. Манел — уменьшительно-ласкательное от имени Мануэл.

— Тогда знай, если выйдешь отсюда с этим человеком, больше не возвращайся!

Мария посмотрела на мужа с нарастающим беспокойством:

— Не узнаю тебя, омень! Ты не в себе. Я знаю, что ты меня пустишь обратно. Не преступление же я иду совершать!

— Тогда скройся с моих глаз скорее, пока я не передумал! Но если ты заболеешь, промокнув под дождем, посмотрим, кто тебе поможет!

Незнакомец спокойно произнес:

— Все добро и все зло, которое мы делаем, будет записано в большой Книге Жизни.

И, обращаясь к Марии, прибавил:

— Пойдемте, моя сеньора. Вы поедете со мной на моем коне.

Услышав это, дядюшка Мануэл снова вспылил:

— Ты что, обезумела, Мария? Поедешь с этим чужаком на одном коне?

Незнакомец положил конец спору:

— Нельзя терять время.

И, пропустив Марию вперед, вышел вслед за ней. Перед дверью стоял породистый конь в прекрасной сбруе. Незнакомец обернулся к Марии.

— Пойдемте, я помогу вам сесть в седло.

Ошеломленный дядюшка Мануэл увидел, как незнакомец завернул Марию в собственный плащ, усадил ее на коня, сам вскочил в седло и ускакал бешеным галопом. Дядюшка Мануэл только и успел, что хрипло прокричать вслед:

— Смотри, береги мою жену!

И ветер, как бы передразнивая его, задул еще яростнее... С галопа конь, направляемый твердой рукой таинственного всадника, перешел на рысь. Они направлялись к берегу Тежу. Марии казалось, что сам ветер ее несет. Ей сдавило сердце, она молча просила Бога о помощи. Над рекой стелился туман. Теперь они передвигались спокойнее: конь почти перешел на шаг. Но вокруг не было ни одного дома. Всадник съехал с дороги. Они двигались в направлении реки. Мария была напугана. Хотела расспросить спутника, но он молчал, и она не осмелилась заговорить. Внезапно конь остановился. Незнакомец, наконец, заговорил:

— Спешимся.

Слабым голосом Мария спросила:

— Приехали?

— Да, приехали.

Она огляделась вокруг. Ее сердце забилось взволнованно.

— Но... сеньор... где же ваш дом?

— Сейчас увидите.

И, подойдя к обломку скалы, дотронулся до него. Камень повернулся. Встревоженная Мария посмотрела на незнакомца:

— Да ведь это люк?

С привычным спокойствием он возразил:

— Это всего лишь дверь, такая же, как любая другая.

— Может быть, это логово разбойников!

— А... если и так... вы бы отказались спасти две жизни?

Мария взглянула на мужчину, который смотрел на нее с тревогой, и вздохнула:

— Вы правы, сеньор. Идемте. Да будет так, как того хочет Бог!

Мужчина улыбнулся. Выражение его лица стало менее напряженным, голос — почти ласковым:

— Будьте осторожны! С этого момента вы встретитесь со многими вещами, которые вам покажутся странными. Не задавайте вопросов, не пытайтесь запомнить то, что увидите. Помните одно: ваше дело — помочь рождению ребенка.

Мария утвердительно кивнула головой и, увидев впереди несколько лестниц, спросила:

— Спускаться сюда?

Он пояснил:

— Не нужно спускаться. Сама лестница вас поведет.

И добавил, улыбаясь:

— Не бойтесь. Представьте себе, что все происходит во сне.

Пораженная всем происходящим, Мария почти прошептала:

— А, может быть, я и в самом деле сплю?

Там, внизу, не было слышно воя ветра, туда не проникал бушующий снаружи ливень. Там она увидела фантастические залы, полные сокровищ. Мужчины с тюрбанами на головах проходили мимо, как бы не замечая ее. Шли женщины в просторных накидках, с лицами, закрытыми вуалью. Мария остановилась в середине зала, потрясенная увиденным. Незнакомец тронул ее за плечо:

— Пойдемте?

Мария позволила вести себя дальше. Она будто попала в сказку "Тысячи и одной ночи". Вспоминала истории о волшебницах и о заколдованных мавританках, которые бабушка рассказывала ей у зажженного камина. Все было нереальным! Все казалось сном!

Когда дитя заплакало, Мария, держа его на руках, с нежностью посмотрела на него. Она вырвала этого ребенка из лап смерти. И только благодаря своим умениям и терпению. С кровати из розового позолоченного дерева на нее смотре-

ла счастливая прекрасная женщина, полная благодарности к ней. Но ни одно слово еще не было произнесено. Как бы подытоживая ее труд, незнакомец, который привез ее туда, обратился к ней вновь:

— Вы оказали нам большую услугу. Мы не забудем об этом. Благодарю вас за доброту. Уже можно возвращаться наверх.

Внезапно Мария увидела, что она уже наверху, возле обломка скалы. Возле нее стоял улыбающийся незнакомец.

— Вы поступили храбро и благородно!

— Я выполнила свой долг.

— Вы сделали больше, чем думаете.

— Как это?

— Если бы вы отказали нам, погубили бы двух людей.

— Я лишь сделала, что должна была.

— С этого момента два человека стали свободными.

Мария удивилась и спросила:

— Свободными от чего?

— От колдовских чар.

— От колдовства?

— Да. А как вы думаете, где вы побывали?

— Не знаю. Это было похоже на дворец с заколдованными маврами и мавританками!

— Так и было. Но из этих мавров двое уже расколдованы. И все благодаря вашей храбрости.

Мария хотела ответить, но мужчина уже исчез. У ног она увидела корзинку и удивилась:

— Что это? Похоже на корзину с углем! Наверное, это плата за мои услуги. Но как мне донести ее до дому? К счастью, дождь уже прошел... Ну-ка, посмотрю!

Она попыталась поднять корзину. Пробормотала себе под нос:

— Ух! Какая тяжелая! Лучше я оставлю половину, а потом вернусь за остальным.

Начала вынимать лишнее, но обеспокоилась, видя, что воды реки поднимаются:

— Плохо, что вода придет сюда! Пока я вернусь за остальным, она унесет мой уголь.

Мария задрожала — уже знакомый ей голос пояснил:

— В корзине и на песке — не уголь!

Мария огляделась.

— Где вы, сеньор, почему я вас не вижу?

Незнакомец, который за ней приезжал, снова заговорил, не показываясь:

— Унесите домой, сколько сможете. Я дал вам золото. Ну же, посмотрите получше...

Мария вгляделась, глаза ее расширились от изумления. Действительно, это было золото — и то, что оставалось в корзине, и то, что она уже выгрузила на песок! Она пробормотала:

— Наверное, я сплю! Разбуди меня, Мануэл!

Снова послышался голос незнакомца:

— Ваш муж уже близко. Ищет вас. Но не забудьте, что все было во сне!

Она спросила:

— И золото?

— Золото... вы нашли случайно на песке. Можете им пользоваться, но никому не говорите, откуда оно! Иначе вам больше никогда не найти золото в песках Тежу.

Близко послышался голос:

— Мария! Мария! Что ты там делаешь? Это он бросил тебя у реки? Говори, Мария! Он тебя обидел? Это был сумасшедший? Дикарь?

Мария не отвечала. Дядюшка Мануэл, сильно запыхавшийся, подошел к жене:

— Отвечай, мулер! Не смотри на меня с таким ужасом! Что он тебе сделал?

Едва дыша от волнения, Мария ответила:

— Дал мне золото! Все это золото — плата за мои труды...

— Что ты говоришь?

Мария вздрогнула. Поняла, что нарушает обещание! Поправилась:

— Да... я хотела сказать, что он меня оставил здесь. Но... на этих песках... ураган помог мне найти золото!

— Золотую жилу?

— Разве ты не видишь?

— Да... это золото! Может, мы спим?

Мария улыбнулась:

— Может, и спим! Но пошли-ка домой — попробуем унести, сколько сможем!

Легенда рассказывает, что Мария иногда ходила одна на берег реки. Видели, что она разговаривает, жестикулирует, и сочли ее сумасшедшей. Но ее хижина, прежде такая бедная, теперь преобразилась. Превратилась в красивый домик, простой, но удобный. Теперь у нее всегда были деньги для нуждавшихся. И в народе пошли слухи о чем-то странном, что произошло с Марией. Под градом вопросов дядюшка Мануэл только твердил:

— Не знаю, что там случилось! Только знаю, что Мария одним зимним вечером нашла слиток золота в песках Тежу! Мы иногда туда ходим. Но я ничего не нахожу! Больше ничего объяснить не могу. Жена стала какой-то другой, я даже думаю, может, она больна! Ночью ее мучают кошмары... Разговаривает с

заколдованными маврами и мавританками!.. Все это мне кажется очень странным!

Так же думали и люди. И пытались разыскать в песках реки золотую жилу, которую, как говорили, нашла Мария. Но — ничего! Не было ничего! Однако даже и в наши дни есть люди, рассказывающие о золотой жиле, которая прежде существовала в песках реки Тежу...

Легенда о горном цветке

СЛУЧИЛОСЬ это в Венаде[1]. Там есть высокий утес странной формы, который неизменно привлекает внимание тех, кто неосторожно идет мимо. Называется он Пенеду-да-Мора, что означает Утес или Скала мавританки[2]. Завидев этот нависающий над дорогой утес, местные жители отворачиваются, страшась бросить на него прямой взгляд. Причиной, породившей это состояние души (ибо страх — это не более чем состояние души), была легенда, которую я сейчас вам расскажу так, как мне ее передали.

Прекрасна весна в Ми́ньу[3]. Поля зеленеют, покрываются буйной порослью. Цветы распускаются в горах, близ дорог, на балконах нарядных домиков. Так вот, весной все это и случилось.

Мария Клара погнала скот на поле. Но на этот раз она вернулась раньше, чем обычно. Это удивило ее мать, и она начала расспрашивать дочь:

— Уже вернулась?

Рапари́га, так звучит по-португальски слово "девушка", отвечала непринужденно:

— Да, вернулась, мама. Ведь солнце... оно уже садится.

— А скот?

— Обихожен. Ты знаешь, я всегда первым делом забочусь о скотине и лишь после этого иду в дом.

И добавила, пытаясь придать голосу равнодушие:

1. Небольшое древнее поселение в области Виана-ду-Каштелу; возникло задолго до XII столетия.
2. Penedo da Moura — хорошо известная в этой местности скала странной конфигурации. Жентил Маркеш ссылается на другого автора, Видала Калдаша Ногейру, который пишет, что местные жители считают эту скалу заколдованной мавританкой и запрещают детям ходить поблизости от нее.
3. Minho — самая древняя и одна из наиболее красивых провинций Португалии.

— Видела Зе?

Мать Марии Клары оставила работу. Посмотрела прямо на дочь. Видно было, что она рассердилась.

— Зе... Зе... Значит, это из-за него ты вернулась раньше? И не говори мне про него!

Мария Клара испугалась.

— Почему?

Ответ не заставил себя ждать:

— Потому что эта старая ведьма, его родственница, повсюду ходит и кричит, что он будет несчастен с тобой!

Мария Клара возмутилась:

— Несчастен со мной? Да ведь многие парни хотели бы быть на его месте!

— Может, и так. Но уж что верно, так это то, что нашлась работа для злых языков!

— И почему же?

— Видишь ли, дочка, мы очень бедны, и нет мужской руки, которая бы защитила нас. Так-то вот!

Мария Клара покраснела от возмущения. Но старалась показаться безразличной.

— Ора[1], мама, пусть их говорят! Они потому злятся, что у него есть кое-что за душой, а у меня — только мои бедные овечки! Их раздражает, что я знаю себе цену! Мне нравится Зе, и все тут! Люблю его... и мы поженимся!

Снаружи послышался смешок. И чей-то голос отчетливо произнес:

— Ну, ты здесь говоришь о Зе так громко, что на улице слышно...

Мария Клара, захваченная врасплох своим дружком, решила свести все к шутке.

— Я говорю громко... а ты подслушиваешь под дверью! Ну, и что же... ты слышал?

— Слышал, что ты меня любишь, и это для меня было прямо, как музыка в церкви!

Мария Клара снова покраснела от удовольствия. Пошутила:

— Видишь, мама, как он говорит? Вот на такие красивые словечки он меня и поймал!

Парень весело посмотрел на нее:

— Ты и сама красотка, кашóпа[2]! И вправду красотка!

1. Восклицание, употребляющееся для выражения сомнения, пренебрежения, нетерпения; переводится как “ну вот!”, “ну-ну!” и т. п.
2. От португальского cachopa — девушка.

Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала почти серьезно:

— Послушай, Зе... Что важнее? Красивое лицо или деньги в сундуке?..

Ее молодой приятель засмеялся, прежде чем ответить:

— Соображай, рапарига. Я, к примеру, предпочту красивое личико и доброе сердце самому что ни на есть набитому сундуку. Да вот видишь, не все так думают...

Мария Клара раздраженно прервала его:

— К примеру, эта старая ведьма, твоя тетка... говорит, что я тебе не пара!

Он взял девушку за руку, пытаясь ее успокоить. Улыбнулся, пытаясь утихомирить бурю, которую предвещало ее состояние.

— Не злись, кашопа! Ведь понятно, почему моя тетя так думает! Она судит по старинке, как в прежние времена. Любит меня...

— А я — не люблю?

— Тоже любишь, но по-другому!

— И чего она от тебя требует?

— Я сделаю только то, что хочу...

— А тем временем она продолжает болтать... и другие следуют ее примеру!

Он пожал плечами.

— Ну и что! В какой-нибудь день мы с тобой пойдем в церковь вдвоем, и на этом дурная молва прекратится.

Мария Клара застыла в нерешительности. Почти со страхом спросила:

— В какой-нибудь... день?

Он улыбнулся.

— Да. И очень скоро! Еще до Дня Господня! Пойдем и поговорим с сеньором приором.

Мария Клара снова покраснела.

— Ну, и что ты ему скажешь? Мне как-то боязно с ним говорить...

Парень заглянул в глаза своей подружке, как будто искал в них вдохновения для того, о чем собирался говорить. И ответил, по-прежнему пристально глядя на нее:

— Скажу так: "Сеньор приор! Хочу обвенчаться с этой кашопой, похожей на горный цветок — Flor dos montes.

Мария Клара не улыбалась. Она почти плакала от радости. Обернулась к матери, голос ее дрожал от волнения:

— Вы слышали, мама?.. Как Зе умеет красиво говорить!

Мать Марии Клары улыбалась смущенно. А там, вдали, на башне церкви, слышалась Аве Мария. И вечер переходил в сумерки, мерцая нежным светом...

Через несколько дней, счастливая, как никогда, Флор дуж Мóнтеш – Горный цветок, как уже называли Марию Клару местные парни, – поднималась в гору со стадом.

То было ее ежедневное занятие. Вокруг никого не было. Вода в роднике струилась потихоньку, как бы по секрету, будто хранила сладкую любовную тайну. И девушка мечтала, глядя вверх, на скалу, совсем позабыв те страшные истории, которые о ней рассказывают.

Вдруг Марии Кларе показалось, что утес залило золотым светом. Она вскочила испуганно, сразу вспомнив старинные рассказы. И как раз в этот момент девушка ослепительной красоты начала выходить как бы прямо из скалы, которая медленно раскрывалась!

Почти лишившись голоса – так велико было ее волнение, – Мария Клара прошептала:

– Спаси меня Божья Матерь! Столько золота!

Сделала несколько шагов вперед, но остановилась испуганная.

Между тем мелодичный голос говорил ей:

– Не бойся... Подойди поближе.

Клара пролепетала:

– Кто... вы?..

Девушка, светящаяся сквозь окутавшее ее дымное облако, казалось, была удивлена этим вопросом:

– Что? Ты разве никогда не слышала рассказов обо мне?

– О вас?

– Да. Или хотя бы... об этой скале...

Мария Клара, наконец, поняла. И, побледнев от страха, спросила:

– Вы... заколдованная мавританка[1]?

– Вот именно. И могу сделать тебя, девушка, самой богатой и счастливой во всех окрестных землях. Но ты должна меня выслушать.

– Я слушаю вас...

– Ты обещаешь сделать все, что я попрошу, и никому не рассказывать о случившемся?

– Если смогу, то сделаю!

– Да, сможешь, это очень просто. У тебя есть закваска от последней выпечки хлеба?

1. Сарацины, которых также называли маврами или арабами, жили на территории теперешней Португалии почти четыре столетия, что отразилось в многочисленных легендах о заколдованных маврах и мавританках. Особенно много таких легенд рассказывали в области Алгарве; собиратель переводимых мною легенд полагает, что и в нынешние дни есть люди, верящие в существование этих магических существ.

— Есть. Моя мать всегда сохраняет закваску.

— А сейчас где твоя мать?

— На речке, стирает белье.

— Пойш[1], тебе следует сейчас поторопиться! Иди домой и принеси мне закваску. Я присмотрю за твоим стадом.

— Сделать только это?

— Только это. Но никому не говори ни о том, что собираешься делать, ни о том, что видела меня, понимаешь? Если ты выполнишь свое обещание, ты так разбогатеешь, что никто в этой стране не сравнится с тобой!

— А зачем вам это — дарить мне богатство?

— Потому что тогда я освобожусь от колдовских чар!

Мария Клара на мгновение задумалась. Потом горячо проговорила:

— Обещаю! Обещаю все сделать!

И, задохнувшись от волнения, добавила:

— Как чудесно! Как это будет чудесно! Присмотрите за моим стадом. Я сейчас вернусь!

Легко перепрыгивавшая с камня на камень девушка напоминала летящую ласточку, так торопилась она выполнить просьбу мавританки. Внезапно ее кто-то окликнул:

— Эй, рапарига! Что это случилась, что ты бежишь сломя голову?.. Ты что, не слышишь? Похоже, ты ума лишилась, кашопа!

Мария Клара остановилась, запыхавшись. Увидела тетку своего намураду[2], ту самую, которая распускала о ней сплетни, и закричала ей:

— Чего ты хочешь от меня, ведьма?

Старуха только рот разинула. Никогда еще Мария Клара не говорила с ней так. Разозлившись, она воскликнула:

— Это я-то — ведьма?! Поглядите на эту нищую, она к тому же еще и грубиянка!

У Марии Клары вырвался нервный смешок.

— Нищая? Это вы так думаете!

И неожиданно для себя самой, в порыве ярости, вызванной новой обидой, надменно заявила:

— Я скоро буду богаче всех в округе!

Старуха вытаращила на нее глаза от изумления. Какие глупости говорила намурада ее племянника! Она только головой покачала:

1. Pois (*порт.*) — очень распространенное восклицание, часто обозначает согласие с собеседником; тут: “Ну, если так...”
2. Намураду и намурада — так называют влюбленных, даже если у них уже родились дети, но они еще не вступили в законный брак.

— Мало того что ты нищая, ты просто идиотка! Ты — богатая?.. У тебя нет земли, даже чтобы вырыть себе могилу! Да еще хочешь окрутить моего Зе! Не обольщайся... Он тебе не по зубам!

Мария Клара чуть не задохнулась от злости.

— Я буду богатой, да, сеньора! Если уж вы так хотите, можете забрать себе своего племянника!

Старуха переполошилась:

— Что это, ветер выдул тебе все мозги? Кто втемяшил эту бредовую идею в твою дурную голову?

— Мавританская принцесса из скалы!

И, повернувшись спиной к старухе, которая смотрела ей вслед с изумлением и ужасом, Мария Клара поспешила домой. Схватила закваску и по-прежнему бегом стала подниматься в гору.

Тем временем другие женщины, которым старая тетка Зе Кинтао успела доложить о случившемся, пошли по следам той, кого называли Флор дуж Монтеш — Горный цветок.

Задыхаясь от усталости, девушка даже не заметила, что скот сам, без присмотра, возвращается в овчарню. Вдруг она увидела, что скала уже почти не освещена. Принцессы там не было! Она стала недоуменно озираться вокруг, и в это время услышала голоса женщин и ребятишек, которые начали подниматься на гору по ее следам. И тут она словно прозрела: ведь она же нарушила обещание, данное мавританке! Хвастовство, желание отомстить за обиды ослепило ее, заставило забыть о данном слове! Принцесса исчезла. А ей предстояло остаться бедной, как и прежде, да еще сгорать от стыда из-за своего высокомерия.

Увидев сконфуженную, совсем растерявшуюся девушку, люди подняли ее на смех. Бедняжка кинулась бежать с горы в направлении своей хижины.

Теплый вечер клонился к сумеркам, будто покровом грусти окутывавшим радостный день. Простертая на своей постели Мария Клара смотрела в одну точку на потолке. Она не говорила, перестала спать, не хотела есть. Рядом с ней беззвучно плакала ее мать. Соседки не приходили к ним. Даже Зе Кинтао не появлялся. Так проходили дни... Мария Клара худела и чахла...

Но вот пришел вечер, принесший перемену. Снаружи донесся голос, который позвал:

— Флор дуж Монтеш!

Мария Клара услышала. Ее глаза открылись шире. Мать же начала рыдать.

Голос повторился:

– Горный цветок!

Мать девушки воскликнула в порыве надежды:

– Слава тебе, Господи! Это Зе Кинтао!

Она открыла дверь. Парень вошел.

Взволнованный, он целовал лоб и глаза Марии Клары. Грудь девушки вздымалась от тяжелого дыхания. Но она оставалась неподвижной и безмолвной. Зе Кинтао снова заговорил:

– Мария Клара! Ты зовешься Горным цветком. Но цветы, когда вянут, умирают... А ты должна жить! Сеньор приор ждет нас в это воскресенье.

После недолгой паузы неподвижное, лишенное всякого выражения лицо Флор дуж Монтеш оживилось. Она закрыла глаза, и из них потекли слезы, заливая все лицо.

А мать продолжала восклицать:

– Слава тебе, Господи!

Зе Кинтао настаивал:

– Тебе надо прийти в себя! Осталось только три дня!

Мария Клара приподнялась на постели. Впервые с того злополучного вечера, когда она бегом возвращалась домой, ее голос зазвучал в хижине:

– Зе... Ты говорил с приором?.. Ты хочешь... все еще хочешь... жениться на мне?

Он притворился удивленным:

– А почему ты спрашиваешь? Разве мы не договорились обо всем раньше?

– Да, мы договаривались... но...

– Но ты должна мне обещать, что никогда больше не пойдешь туда одна, наверх, к той скале!

Закрыв глаза, прогоняя воспоминание, она прошептала чуть слышно:

– Обещаю!.. Никогда больше! Никогда больше!

Зе Кинтао привлек девушку к себе, на свою широкую грудь. У него в глазах тоже стояли слезинки, которые он пытался скрыть.

Сумерки, будто ждали этого мгновения, чтобы подать ночи сигнал, и она спустилась мгновенно.

Но, как она ни торопилась, а застала двух влюбленных уже обнявшимися и счастливыми.

Мария Филумена Моника
Четыре эссе

Из книги *Мы, португальцы*

Перевод Антона Чернова, Марии Курчатовой

Салазар и великие португальцы

Зачем-то в последнее время ведется идиотская дискуссия по поводу того, что Салазара не включили в "список предложений" — как это назвали на телевидении, — из которого телезрителям предстоит выбрать величайшего португальца всех времен. Случайно несколько дней назад мне пришлось беседовать с руководителями государственной телерадиокомпании, и в разговоре я заметила, что, по-моему, не включать политика в этот список — абсурдно. Ответили мне, как бы извиняясь, что список считается "открытым", а значит, я, если пожелаю, могу его туда включить. Не сказать, чтобы я этого желала или не желала.

Кроме того, речь шла не о серьезной аналитической программе, посвященной вопросам истории, а о развлекательной передаче — кстати, весьма забавной, — так что я выкинула это из головы. И не думала до тех пор, пока не обнаружилось, что некоторые люди, которые прежде казались мне умными, выходят на площадь, выражая поддержку решению не включать это имя в список, как будто его присутствие в нем равносильно одобрению. Мне же, хотя от Салазара меня и тошнит, его отсутствие в этом перечне представляется нелепым. Сам он и его режим давно должны бы стать предметом серьезного анализа, но этого не происходит, если не считать обсуждений в узких академических кругах, да и там вся полемика носит исключительно номиналистский характер, то есть сводится к вопросам использования прилагательного "фашистский". Вопреки мнению Мануэла де Лусены, одного из главных специалистов по этому периоду, я полагаю, что не бывает фашизма без фашистского движения, однако на этом основании не следует делать никаких выводов относительно моего мнения о Салазаре. А что до термина "фашист", то после революции 25 апреля его стали употреблять не в строгом смысле, а просто чтобы обозвать ка-

© Maria Filomena Mónica, 2008
© Антон Чернов. Перевод, 2015
© Мария Курчатова. Перевод, 2015

кой-то кличкой тех, к кому питаешь отвращение или ненависть.

Так оно и шло, пока телевизионная пограмма не сорвала наконец, сама того не желая, покров с фигуры Салазара. Стыдливость телевизионщиков в данном случае кажется тем более странной, что на горизонте общественных движений нет — да и не может быть — ветерка в сторону реставрации салазаровского режима. И те "националисты", которые собираются иногда в парке Эдуарда VII и что-то кричат, воздевая руки, хотят не восстановления Нового Государства, они хотят положить начало активному и яростному движению, которое, возникни оно, действительно носило бы фашистский характер. Однако малочисленность группы явно демонстрирует, насколько незначительно распространение ультраправых идей в стране.

Бояться возрождения Нового Государства может только тот, кто не знает истории. Страна, в которой установилась салазаровская диктатура, в большей своей части была аграрной, католической и неграмотной. Условия, ставшие причиной краха Республики, обеспечили успех диктатора. Крестьянской нацией управлять нетрудно. И там, где республиканцам, горстке якобинцев, надо было грести против течения, Салазару можно было просто воспользоваться попутным ветром. Правда, чтобы уж действовать наверняка, он создал политическую полицию, призванную искоренить последние ростки республиканского движения, еще окончательно не зачахшие в Лиссабоне, и раздавить в зародыше коммунистическую партию. Но репрессии, проводимые этим новым органом, ни в какое сравнение не идут с тем, что происходило в те же годы в Италии, в Германии и в СССР. И совсем не из-за мягкотелости диктатора, а просто потому, что в них не было нужды.

Когда в 1928 году Салазар был назначен министром финансов, 80 % португальцев жили в деревне и кормились крестьянским трудом. В стране, склонной к буколическим мечтаниям, редко говорят об изъянах сельского люда. А их немало. Крестьяне — это легион жадных и хитрых лицемеров, недоверчивых и неспособных рисковать. Что, в общем, если вспомнить в какой нищете они живут, вполне понятно. И если добавить к этому ум и определенную культуру (почерпнутую, впрочем, в семинарии), получится почти полный набор качеств диктатора. Когда в 1932 году он был назначен председателем Совета министров, вся страна стала его вотчиной. И тогда, как это сделал бы любой крестьянин, Салазар принялся командовать, будто одержимый. Опасаться, что теперь возможно восстановление такого строя и с таким политиком во главе, может только безумец.

19 ноября 2006 года

Институциализированная ложь

"Ах так? Ну тогда все: беру больничный!" — повторяют

бесчисленные государственные служащие, когда решают позлить начальство или когда им просто-напросто надоедает работать. Показаться откровением это может лишь тому, кто далек от чиновничьего мира. Тридцать лет проработав в государственной системе, я каждый раз удивлялась наглости, с которой мне адресовали эту фразу. Не стану отрицать: есть образцовые служащие (я сама с некоторыми знакома), но, если принять во внимание тот факт, что никого в этой системе уволить нельзя, станет понятно, почему здесь царит безнаказанность. Наверное, что-то подобное творится и в частном секторе, где я уже слышала, как произносят с усмешкой: "Сеньор N сегодня бюллетенит", но там, я думаю, подобное вранье так просто не проходит.

Меня всегда удивляло, как легко в Португалии получить фальшивую медицинскую справку. Взять, к примеру, случай в Гимарайнше несколько лет назад, когда десятки школьников внезапно дружно "заболели", откуда следует, что врачи разных специальностей готовы обманывать под самым ничтожным предлогом. Есть еще один, особый, случай: справка от психиатра. Депрессии, фобии, панические атаки не проконтролируешь, поэтому психиатр может, например, решить, что пациенту, страдающему фобией, полезно съездить к морю, или посидеть с внуками, или сходить после обеда в кино. И в этом случае вообще непонятно, что делать.

Корня у этой проблемы два: во-первых, португальцы не считают зазорным дурачить свое государство, во-вторых, орден медиков Португалии не в состоянии призвать к порядку сословие, для которого этические нормы должны быть хлебом насущным. Ибо, не знаю, известно ли это вам, но обманывать некрасиво. Однако кто же возьмется объяснить это народу, привыкшему запросто получать отпущение грехов в исповедальне, и кто станет призывать господ докторов служить моральным примером? Как гласит пословица: "Или по справедливости, или уж налетай, расхватывай". В этом случае – налетай, расхватывай. Государство как нечто сугубо абстрактное при этом идет куда подальше. Иначе, что же, нам уж и больными нельзя сказаться, когда заблагорассудится? Можно, ответит большинство моих соотечественников.

Такой вывод следует из заявления, распространенного недавно профсоюзом технического персонала государственных учреждений, которое стало ответом на новый указ-закон, установивший, что каждый государственный служащий, по примеру работников частного сектора, в случае болезни обязан предоставить по месту работы справку из учреждения Государственной службы здравоохранения, а не просто писульку от своего приятеля. Эта законодательная мера основана на двух предположениях: во-первых, считается, что мнимый больной с меньшей охотой пойдет в поликлинику или обратится в приемный покой больницы, чем отправится к частному врачу, во-

вторых, ожидается, что доктора́ в государственных учреждениях, не связанные с пациентами личными отношениями, не будут столь щедры в раздаче фальшивых справок.

Эта мера, несмотря на то, что является вполне разумной, мгновенно вызвала негативную реакцию профсоюза, который, как ни удивительно, выступил в защиту частной медицины и заявил, что "государство таким образом оскорбляет, называя лжецами, заболевших сотрудников и врачей, которые их лечат". Не желая, видимо, отставать, профсоюз работников государственной администрации также выступил против указа, объяснив это тем, что новое постановление повлечет за собой, среди прочего, рост бюрократии (вот так-то, а мне казалось, что чиновникам это было бы на руку). Вместо того чтобы признать общеизвестное, а именно, что в частной медицинской практике совершается множество махинаций, эти организации предпочли защитить существующее положение вещей, которое в конечном счете вредит тем служащим, которые действительно больны.

Не часто приходится хвалить наше правительство, но в вопросе о медицинских справках я всячески приветствую его решение. Если португальцы не желают вести себя достойно, а орден медиков не может пресечь практику выдачи фиктивных справок, такое постановление оправданно. Не видеть этого может только слепой. Руководителям профсоюзов следовало бы посетить офтальмолога. Кто знает, вдруг их болезнь еще поддается лечению.

8 октября 2006 года

Индивидуальная налоговая декларация – это право

Среди вопросов, касающихся государственного бюджета, возможно, есть и более важные, чем те, о которых я хочу поговорить. Возьмем, к примеру, тот факт, что Португалия — страна с самым значительным ростом налогов за последние 20 лет во всей Организации экономического развития и сотрудничества, или то, какие меры наши государственные бухгалтеры предусмотрели нынче в отношении инвалидов, пенсионеров и других незащищенных членов общества. Если я все-таки настойчиво твержу о своем, то только потому, что считаю: португальцы практически не обращают внимания на вмешательство государства в их частную жизнь.

Как я ни старалась уберечься, моя независимость была поставлена под удар после замужества в 1995 году. Прежде я знала всего две формы брака: церковный и так называемый фактический брачный союз, и мне в голову никогда не приходило беспокоиться по поводу правового статуса своего собственного и семейного имущества. В первый раз (в двадцать лет) я вышла замуж с установлением су-

ществовавшего тогда по умолчанию режима совместной собственности на имущество, приобретенное в браке; во второй раз, в самый разгар Революции, мы, споривши обо всем на свете, имущественные вопросы обсуждать не стали.

Могут, конечно, спросить, почему я решила при всех своих странных порывах выйти замуж. На самом деле это никого, тем более государства, не касается: меня прежде всего заботят недопустимые последствия, к которым приводит эта ситуация. Год назад я купила место в гараже, и, когда пришла к нотариусу, чтобы зарегистрировать покупку, он сообщил мне, что необходимо предъявить удостоверение моего мужа, что было, по-моему, полной глупостью, ведь муж к этому никакого отношения не имел и никак не участвовал: деньги были мои, место это я покупала для себя, и в конце концов, может быть, я хотела сохранить это в тайне. Все, что я была готова предъявить, — это свидетельство, выданное мне в нотариальной конторе Лиссабона № 20, удостоверявшее, что брак был заключен с установлением режима раздельной собственности на все имущество супругов. Ни чиновник-бюроктрат, ни присутствовавший там адвокат во все это вникать не собирались, им нужно было только одно: документ моего мужа. Та же история повторилась и во второй раз: судья из Вила-Реал потребовал, чтобы я подписала какую-то бумажку, когда мой муж унаследовал некую двенадцатую часть чего-то в Дору, о чем я слыхом не слыхивала и слышать не хотела.

Итак, в обоих случаях мелкие тираны требовали от нас чего-то несуразного, если не противозаконного: в первом случае — от меня, чтобы я невесть что доказала при помощи документа моего мужа, во втором — чтобы он убедил меня подписать непонятно что, не имеющее ко мне никакого отношения. Вдобавок государство своими нелепыми законами о наследовании вынудило меня написать завещание и государство же отняло у меня право на индивидуальную налоговую декларацию. Поскольку у нас с мужем один бухгалтер, мы решили эту проблему так: наш бухгалтер заполняет общую декларацию для виду, а каждый из нас платит причитающиеся с него налоги отдельно. Затем мы написали в Министерство финансов (хотя в то время нам это было материально не выгодно) о том, что хотели бы участвовать в налогообложении как два независимых лица. Если у меня есть идентификационный номер налогоплательщика, если у меня есть свой личный доход, почему — черт возьми — я сама не могу заплатить за себя налоги?

Похоже, что вся эта аномалия, чего и следовало ожидать, имеет своим источником Конституцию, согласно которой налоговые органы должны иметь дело с доходом семьи как финансового целого, на основании чего соответствующие специалисты постановили, что декларации супругов должны подаваться совместно. Мне всегда было сложно употреблять местоимение первого лица во множественном числе: слово “мы” вызывает во мне дрожь, которая в подоб-

ной ситуации еще и усиливается. А исток всего понять просто: во-первых, он основан на мифическом понятии "семья", во-вторых, на привычном представлении о том, что, поскольку женщина с практической стороной жизни совладать не может, ей нужна защита и поддержка. Все это — анахронизм. Министерство финансов могло бы решить вопрос в одну секунду: достаточно было бы написать "утверждаю" на документе, разрешающем супругам при согласии обеих сторон заполнять налоговую декларацию индивидуально.

29 октября 2006 года

Перевод Антона Чернова

Тайный замысел мужчин

В последние годы я то и дело принимаю участие в заседаниях бесчисленных магистрских, докторских и профессорских диссертационных советов, но никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с аргументом, вроде того, что я услышала недавно: мол, при выборе между кандидатами мужского и женского пола со схожими резюме (или схожими на первый взгляд, ведь в таких случаях одинаковых людей не бывает) следует отдать предпочтение женщине, поскольку у нее — маленькие дети (хотя маленькие дети были и у кандидата-мужчины). Это утверждение породило горячую дискуссию, поскольку я отказалась признать, что при присуждении ученой степени или звания существенным фактором являются дети.

Данный аргумент очевидным образом связан с недавней полемикой по поводу введения квоты участия женщин в политической жизни. Как я уже говорила, мое мнение по этому вопросу изменилось. Теперь для меня нет ничего хуже, чем быть избранной в Парламент в составе группки самок. И уж тем более я бы не согласилась, — возможно, потому что однажды уже победила в государственном конкурсе кандидатур в Университет Лиссабона, в котором помимо меня участвовали мужчины, — чтобы меня судили по какому-либо критерию, кроме заслуг. Так или иначе, я считаю, что любая позитивная дискриминация — будь то по полу или расе — наносит ущерб тому, кого она призвана защищать.

Чего я хочу и чего нам, женщинам, следует хотеть, так это чтобы к нам относились как к равным. У мужчин, повсюду усердно пропагандирующих квоты, есть тайный замысел: они хотят нашего участия в политике в составе избранного по особым правилам презираемого гетто, надеясь, что в быту все останется как в Средние века. То есть надеясь, что по-прежнему забирать детей из школы, водить их на прививки и помогать с домашним заданием будут женщины. Эти пройдохи готовы — а что поделаешь! — соперничать с нами в государственных конкурсах и у избирательной урны, но с одним условием: чтобы дома им не пришлось и па-

лец о палец ударить. Из чего следует, что перемены должны касаться мужской склонности к безделью. А это тем сложнее, чем меньше в наши дни мужчин, в открытую признающих себя шовинистами. "Либералы", с которыми мы, женщины среднего класса, общаемся, старательно маскируются. Но не следует заблуждаться: быт — это поле решающей битвы.

Как это нелегко, я знаю по опыту. В 1968 году мой первый муж, обожавший детей, уехал на год учиться в США, а я осталась одна с двумя нашими отпрысками, четырех и пяти лет от роду. Родственники с обеих сторон посчитали это абсолютно нормальным. Но не так было, когда в 1971-м я решила поехать в Оксфорд. Каждый из нас оставался один с детьми примерно равное время: он — 270 дней, а я — 252. Но все сочли мой поступок исключительно негуманным. До сих пор находятся люди, которые спрашивают, как я могла "бросить" детей. По-видимому, никто не расценивает наше отсутствие, в обоих случаях с целью профессионального роста, одинаково. Воспитанная, чтобы быть домохозяйкой и прежде всего матерью, я страдала сильнее, чем было необходимо. Единственной причиной, по которой мне в голову не пришло отступить, была уверенность, что без профессиональной карьеры я бы покончила с собой. Так вот, мертвая мать, согласитесь, хуже матери отсутствующей.

Меня поражает, что тридцать лет спустя молодым женщинам до сих пор так трудно заставить — к сожалению, приходится использовать именно это слово — мужей исполнять отцовские обязанности. Поэтому я настаиваю: чтобы научиться быть "мамами", мужчинам следует брать годовой отпуск на своей, как принято считать, драгоценной службе, и тогда они поймут, почем фунт лиха. Если урок будет усвоен, квоты для женщин окажутся не нужны. Нет, не за счет надписи на лбу "измученная мать" мы хотим продвигаться по жизни. Мы хотим на равных соперничать в общественной сфере, что предполагает равенство полов в быту.

Перевод
Марии Курчатовой

Ирина Фещенко-Скворцова

Записки эмигранта

Язык Португалии, как и ее земля, несет следы языка и культуры населявших ее прежде народов, в первую очередь, мавров — арабов и берберов — мусульман с белой кожей. Арабские названия встречаются в Португалии на каждом шагу, это и всемирно известный своими пляжами Алгарве (Альгарв), и Алентéжу, Албуфéйра, Алкáсер-ду-сал — этот список можно продолжать очень долго. В самих названиях звучит особая, неповторимая музыка, а к ней присоединяются встающие перед глазами картины полуразрушенных в процессе войн древних крепостей, дворцы в мавританском стиле, кружевные галереи и арки... Столицу свою, Лиссабон, португальцы очень любят, зовется она по-португальски женским именем, к которому в песнях присоединяется самое распространенное здесь женское имя Мария: “Мария Лижбоа”. В более открытом, чем у славян, произношении португальцев хороши окончания слов “айш”, “эйру”, это неповторимое звучание редко удается передать в переводе. Я попыталась это сделать, переводя поэму “Путешествия по моей земле” португальского поэта XIX столетия Антониу Нобре.:

И мягко сумерки спадали,
Еще закатом рдели дали,
И плакал ледяной родник.
Кто Траз-уж-Мóнтеш позабудет?
Шум родника здесь жажду будит.
Пробившись сквозь густой
тростник.

И вот — подъем на тракт
Новéлаш,
Здесь толстый красный
Кабанéлаш
Вручал мне вожжи и при том
Шутил, что кони упросили:
Со мной они довольны были,
Я их не мог стегать кнутом.

Гостиница за поворотом,
Стремимся мы к ее щедротам:
Дом славный, звался он Казáйш.
Приветны доны Аны взоры:
“Чего хотят мои сеньоры?”
Бифштекс божествен, хлеб
свежайш...

Природа Португалии, ее влажный морской климат — благоприятен для самых различных растений. И сколько их здесь собрано, со всех концов света! Австралийская араукария со своими ветками, словно размеченными под линейку

© Ирина Фещенко-Скворцова, 2015

(совершенно симметрично и почти горизонтально через равные промежутки от ствола отходит розетка ветвей), и разнообразные виды пальм, покрытая позолотой по светлой зелени туя – японочка и цветущие алоэ с темно-красными "свечами", агава с широкими, отороченными желтой полосой длинными листьями, покрытые красными шариками плодов колючие кактусы-опунции, цветущие камелии, делающие для нашего глаза таким странным зимний пейзаж, ну и конечно, множество цитрусовых. Апельсины чаще всего не собирают, они усыпают землю под деревьями. Больше всего меня здесь, в Португалии, чарует небо. Оно здесь совсем другое, очень изменчивое. Похоже на океан. Особенно, когда по нему летят голуби. Впечатление такое, что это колышутся в неглубокой прибрежной воде открытые перламутровые раковинки, то сверкнут в свете проходящего сквозь воду солнца, то опять сливаются с водой.

Здесь я впервые увидела так близко аистов, они гнездятся на соснах и в эвкалиптовых рощах. Порой пролетают над головой, почти можно разобрать, что несут в клюве – птенцам. Белые ибисы без опаски ходят по пастбищу, совсем близко от проходящих за изгородью людей.

Зимы чаще мягкие, дождливые, в сильные ливни, если дождь не прекращается долго, а твердая глина не впитывает воду, некоторые дома бывают затоплены. Конечно, это случается со старыми домами, где порог находится на уровне улицы. Здесь вы увидите самые различные постройки: от вычурных особняков с садом до приземистых домиков, комнатенок с низкими потолками. Преобладает белый цвет, как во всех южных странах. На балконах много цветов. Характерный признак португальского жилья – вывешенное с балконов и из окон разноцветное белье. По белым стенам там и сям развешены причудливые клубки проводов.

Как и русским, знакомы португальцам – моим ровесникам – жизнь в "коммуналках", использование каждого клочка земли, даже коробок и горшков с землей на балконах для выращивания овощей, нехватка одежды. Еще недавно дети в бедных семьях или вообще не посещали школу, без их труда семьи не могли обойтись, или заканчивали 4 класса, а затем овладевали каким-то ремеслом.

Особенностью португальцев, как и всех южан, является "говорливость", многословие. Встретившись на улице или в кафе, знакомые могут стоять часами на одном месте, ведя оживленный разговор, непременно сопровождаемый жестами. Определенно присутствует в характере местных жителей некоторая беззаботность и необязательность. Во многих справочниках для туристов эта черта называется "неторопливостью". Пример тому – традиционная сиеста, во время которой все магазины и конторы закрыты. Длится она, в основном, от часа до двух, но бывает, и на протяжении всего времени с 12.00 до 15.00. Если тебе сказали в магазине, в конторе зайти завтра, это значит, хорошо, если

результат будет через неделю. Может и гораздо позже. И происходит подобное не из-за плохого отношения к людям вообще, к тебе, в частности, — нет. Наоборот, люди здесь улыбчивые, в основном добродушные. Но так уж заведено у них: "шпéра пикадинь" — подождите немножко. Даже в песнях услышишь: "шпера́муш по́ку, ум поки-инью майш..." (подождем немного, еще чуть-чуть). И ждут терпеливо.

Эта беззаботность приводит порой к трагедиям, когда проявляется в поведении водителей на дорогах. Недаром во французском путеводителе по Португалии для туристов, купленном мной еще в Киеве, говорится о непредсказуемости португальских водителей, особенно в опасных дорожных ситуациях. Машины здесь практически не соблюдают необходимой для безопасности дистанции, если одна из них резко тормозит, могут врезаться друг в друга два-три следующих авто. Надо видеть, как здесь ездят мотоциклисты! Только услышал за спиной шум приближения мотоцикла — миг — он уже превратился в точку далеко впереди. Только в последнее время ужесточились законы по отношению к водителям. Выпить немного вина за обедом, в основном, не возбраняется, многие начинают день с кафе, где могут "пропустить" и рюмочку. Справедливости ради отмечу: на некоторых предприятиях запрещено пить не только вино, но и пиво в течение рабочего дня.

Португальцы — страшные бюрократы. Наш родной бюрократизм, мне кажется, им в подметки не годится. Они сами же страдают от этого, причем, похоже, в первую очередь, работники контор, погребаемые ежемесячно под грудой всевозможных бумаг. Процедура продления визы, например, каждый раз сопровождается сбором огромного количества копий, причем с каждым годом прибавляются новые. Так что, идешь и берешь с собой, на всякий случай, даже больше чем требуют, и обязательно — оригиналы документов. Несколько лет назад в листе-списке необходимого было указано: копии всех страниц паспорта. И были такие работники офиса по делам эмигрантов, что требовали копии действительно всех страниц паспорта, а не только использованных, отправляли людей копировать чистые страницы.

Из-за многословия и неумения чиновников и офисных работников четко объяснить, что необходимо сделать, понять их очень трудно. Что говорить об эмигрантах, если часто работники одной государственной конторы не понимают, что имеют в виду служащие другого офиса, приславшие им письмо на родном португальском — но канцелярско-бюрократическом — языке. Ошибки при оформлении разнообразных справок встречаются на каждом шагу, все надо проверять тут же, иначе процедура изменения документа затянется надолго.

Считается, что португальские женщины раньше других выходят замуж. Вначале молодые обручаются, девушку начинают звать "но́йва" — невеста.

Это время длится месяцами, при этом они живут каждый в своем доме, с родителями.

Но в последние десятилетия в этой католической стране среди молодежи прижились современные нравы. Парень и девушка часто просто начинают жить вместе, пока не регистрируя брак. При этом женщина называется не “эшпóза” (жена), а “намурáда” (возлюбленная). Регистрируют брак чаще после рождения ребенка, так как священники отказываются крестить детей, если родители не венчались. Венчание могут совмещать по времени с крещением детей. Но не менее часты случаи, когда у женщины уже двое детей от мужчины, а они не состоят в браке. Некоторые женщины делают вид, что такой союз ничем не отличается от законного брака, но это, конечно, не так, права женщины-матери в случае “развода” таких пар защитить сложнее. Португальские мужья, по моим наблюдениям, не очень рвутся помогать женам в их повседневных хлопотах. В порядке вещей, что муж после работы сидит с друзьями в кафе, а жена в это время хлопочет по хозяйству. Женщина — человек второго сорта, такая установка постоянно проявляется и на работе, и в повседневной жизни. Но это только отголоски того униженного положения, в котором женщина находилась во времена диктатуры.

Национальные праздники проходят весело. Они всегда сопровождаются народными танцами и песнями, среди выступающих и детские самодеятельные ансамбли, и люди уже пенсионного возраста. Особенно хороши, четкие, под ритм кастаньет, танцы жителей северных областей. Один из самых ярких праздников — Сардиния Асáда (в дословном переводе “праздник жареной на углях сардины”). Жареная рыба и вино раздаются бесплатно, нарядные люди всей семьей гуляют по улицам города, звучит музыка, на площади начинаются танцы. Традиционное развлечение португальцев во время различных праздников — подразнить быка. Во время “игр” с быком дежурит “скорая помощь”: бывают несчастные случаи. Парни, подростки и взрослые мужчины не выходят из огороженного участка дороги, засыпанного песком: хочется “подергать опасность за усы”, дать выход южному азарту, темпераменту. Кто хватает быка за хвост, кто за рога, кто дразнит куском картона, кто сшитым из мешковины и набитым соломой человечком... Наблюдающая публика висит на деревянном ограждении. Если раздразненный обидчиками бык поворачивается и кидается на этот забор, люди моментально спрыгивают, а те, кто находился внутри загородки, взмывают вверх — на ограду, самые же настырные просто отпрыгивают в сторону.

Вот тут и видишь, что под напускной невозмутимостью характера скрыт горячий темперамент и та романтическая тяга к приключениям, которая заставляла каравеллы португальцев идти вперед, покоряя штормовой океан...

Елена Огнева

“О *были величавой и тревожной навеки мы преданье сохраним...*”

Луис де Камоэнс *Лузиады* / Сост. Ю. В. Фридштейн, А. В. Чернов.; пер. с португ. М. И. Травчетова. — М.: Центр книги Рудомино, 2014. — 430 с.

Издание нового перевода классического произведения всегда событие значимое. Это не только показатель культурной состоятельности общества, его способности сосредоточиться на чем-то “несиюминутном”, но и свидетельство интереса к тому диалогу, в который вступают Время и Литература. Ведь каждая эпоха по-своему издает и читает классику.

Напечатанная в Лиссабоне “с позволения “Святой Инквизиции” в 1572 году эпическая поэма “Лузиады” великого португальца Луиса де Камоэнса (1524–1580) — яркое тому доказательство. Родившийся в год смерти знаменитого мореплавателя эпохи великих географических открытий Васко да Гамы, Камоэнс славит в своей книге подвиги португальской армады. Умерший в год, когда Португалия утратит свою независимость, поэт словно предчувствует это и в предгрозовое для его Родины время ищет то, что может стать залогом сплочения нации. Поэтому история дерзких мореплавателей-лузитан, описание исторических битв, подвиги героев и интриги богов под пером Камоэнса становятся не просто данью исторически сложившейся поэтике, но попыткой вывести “формулу гармонии” в дисгармонии окружающего мира, противопоставить Величие и Человечность разрушительному времени и произволу тиранов.

И вот перед нами поэма Камоэнса, изданная Центром книги Рудомино в новом для российского читателя переводе М. И. Травчетова. Чтобы в полной мере представить себе значение этого события, необходимо напомнить, каким путем шел к нам “русский Камоэнс”. История литературы знает немало примеров того, сколь причудливыми путями иногда добирается до читателя знаменитая иностранная книга. Это, впрочем, неудивительно, когда речь идет об “экзотической” литературе — такой, например, как португальская...

Судьба “Лузиад” в России воистину была полна превра-

ностей. С одной стороны, поразительно, что интерес к поэме возник еще в 40-е годы XVIII века – благодаря М. В. Ломоносову. С другой – важно отметить, что поэтический строй и образность "Лузиад" в подлиннике долго оставались для российских читателей тайной за семью печатями, так как Ломоносов, хоть и обращавшийся к португальской грамматике, все же судил о достоинствах Камоэнсова творчества по французскому переводу Дюперрона де Кастера. Именно французам мы обязаны "модой" на Камоэнса в XVIII веке: за переводом Дюперрона последовал перевод Лагарпа. А затем появились "Лузиады", роскошно изданные на средства графа де Соуза Ботельо, снабженные иллюстрациями Фрагонара. Они считались – и были в прямом смысле – "королевским подарком". Первый экземпляр издатели торжественно представили французскому королю, а французский королевский дом, в свою очередь, презентовал несколько экземпляров европейским монархам...

Однако "подарочная" версия интереса к "Камуенсу" (как его называли во времена М. В. Ломоносова) дополняется другими, немаловажными, обстоятельствами: вскоре о нем высказался тогдашний властитель дум Вольтер. И хотя его замечания носили скорее критический характер и знаком он был с текстом "Лузиад" (как ни парадоксально!) только по английскому переводу поэмы, он в своем "Опыте об эпической поэзии" (1763) привлек внимание россиян к фигуре португальского поэта. Так началась своеобразная "русская одиссея" португальской героической поэмы, сначала занявшей заслуженное место в энциклопедиях (с 1791 года), а затем и нашедшей путь к читателю.

Интерес к поэме в немалой степени подогревался и легендой о самом Камоэнсе, "поэте-несчастливце", как окрестил его французский критик П. де Сен-Виктор. На заре XIX века история воина и изгнанника, скитальца, рано познакомившегося с людской несправедливостью, изведавшего полную лишений жизнь в Гоа и Макао, горечь предательства и гнев властей, свирепость морских бурь и кораблекрушений поражала своей яркостью, накалом трагизма. Кто из писателей-романтиков мог остаться равнодушным к такой судьбе? Имя Камоэнса возникает в дневниках, переписке, трактатах, поэзии и прозе. Братья Шлегели и Байрон, Шатобриан и де Виньи – крупнейшие европейские писатели каждый по-своему отдают дань великому португальцу. Его соотечественник крупнейший португальский романтик Ж.-Б. Алмейда Гаррет и австрийский поэт Ф. Гальм посвящают ему поэмы, вслед за ними это делает в 1839 году В. А. Жуковский.

Его драматическая поэма "Камоэнс" соединила в себе черты реквиема и гимна. Это плач о поэте, в героической судьбе которого неблагодарные современники видят лишь жизненные поражения, отсутствие "прибытка", и прославление несдающегося та-

ланта, даже в смертный час готового отстаивать свое кредо: "Поэзия есть Бог в святых мечтах земли!". Крылатые слова Жуковского, вложенные в уста Камоэнса, подхватят потом многие русские поэты. Поэтому представляется вполне оправданным включение "Камоэнса" В. А. Жуковского (и текстов-отзвуков, вызванных поэмой в последующей русской литературе) в издание Центра книги "Рудомино". Это своего рода постскриптум к "Лузиадам", свидетельство связи времен и той переклички поэтов, особое место в которой занял и голос М. И. Травчетова.

Публикация поэмы Жуковского в журнале "Отечественные записки" (1839) вызвала новую волну интереса в России к судьбе и творчеству Камоэнса. Однако и к тому времени российский читатель располагал лишь прозаическим переложением "Лузиад", выполненным А. И. Дмитриевым в 1788 году, – автор сделал его с французского перевода Лагарпа. Но даже этот добротно составленный, выверенный пересказ не мог, конечно же, в полной мере заменить поэтический перевод с языка оригинала – не зря ведь когда-то В. К. Тредиаковский замечал: "Поэма без стихов есть как тело без души...".

"Тело" поэмы начало обретать "душу" только в 1882 году, когда В. В. Марков опубликовал стихотворный перевод нескольких отрывков из "Лузиад". И после этого, казалось бы, диалог русской культуры с поэмой Камоэнса прерывается на целый век. Только в 70–80-е годы XX века увидели свет отдельные главы поэмы, переведенные А. Косс и И. Тыняновой, и, наконец, в 1988 году О. А. Овчаренко осуществила полный перевод "Лузиад" на русский язык (М., "Художественная литература").

Неужели на протяжении этих ста лет никого больше из российских переводчиков не соблазнила эта грандиозная задача? Неужели поэты, переводчики, филологи-романисты минувшей эпохи не находили в героической поэме Камоэнса ничего созвучного своему времени? Ответ на этот вопрос дала Т. В. Балашова в своей книге, вышедшей в 2002 году: "Начало работы над полным стихотворным переводом относится только к 30-м годам XX века (в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки хранится неизданный экземпляр перевода ленинградского филолога М. И. Травчетова, погибшего в дни блокады)"[1].

В судьбе текста этого перевода есть удивительное совпадение с историей рукописи "Лузиад", по легенде чуть было не утраченной во время ужасного кораблекрушения. Михаил Травчетов работал над переводом "Лузиад" на протяжении 1930-х годов и в 1940 году сдал полностью подготовленную рукопись в издательство. Однако это был не тот экземпляр перевода, речь о котором идет в книге Т. В. Балашовой, – готовая к печати авторская рукопись погибла (или

1. Т. В. Балашова. Камоэнс в русской литературе. – М.: Рудомино, 2002, с. 10.

пропала) в блокадном Ленинграде, как погиб там и сам переводчик! Восстановление целостности текста перевода Ю. Г. Фридштейну и А. В. Чернову, подготовившим настоящее издание, пришлось начинать, имея дело с ветхими страницами черновиков автора, расшифровывая рукописную правку М. И. Травчетова.

Людям, не принимавшим участия в реконструкции текстов, невозможно даже представить, сколько энтузиазма и упорства потребовал это труд. Свою работу по восстановлению перевода Ю. Г. Фридштейн и А. В. Чернов не случайно называют "романом с текстом". Их буквально заворожила перекличка трагических судеб двух поэтов, разделенных несколькими веками, — автора поэмы и его российского переводчика. Действительно, задумаемся хотя бы о том, как страшно "предсказывает" легенда об умирающем от голода Камоэнсе наиболее вероятную версию последних дней его русского переводчика в блокадном Ленинграде!

В отличие от португальского поэта, российский так и не увидел изданной свою книгу... И вот, наконец, эта книга перед нами, оформлена так, что не стыдно сравнить ее с "королевскими подарками", достойными французского двора: копии гравюр (истинный ценитель с удовольствием прочтет под ними имена Жерара, Фрагонара и Дезанна), когда-то послуживших вящей славе "Лузиад", были предоставлены издательству "Рудомино" Л. Э. Бреверн.

К сожалению, не сохранилось надежных свидетельств, как и почему М. И. Травчетов отважился на свой подвижнический труд, что именно вдохновляло его в поэме Камоэнса, что было близко его тревожному времени — 30-м годам XX века.

Возможно, это эпический герой — "коллективный портрет" смельчаков-лузитан, отправившихся на поиск новых земель и морских путей? Ведь все исследователи сходятся на том, что в фокусе поэтического видения Камоэнса — вся португальская нация. Сюжет (что необычно для эпической поэмы) был заимствован из недавней для Камоэнса истории страны. Причем, рассказывая о плавании Васко да Гамы в Индию в 1479—1499 годах, поэт "корректирует" его маршрут и обстоятельства, насыщая историю экспедиции фактами, известными ему по опыту собственных странствий.

Может быть, важно и то, что современникам М. И. Травчетова была созвучна жажда покорения новых высот, полюсов, просторов? Поэзия и драматизм великих географических открытий, сопряженных с трудами и риском, упоением и потерями — обо всем этом вдохновенно говорит Камоэнс.

Любопытно и другое. Чем руководствовался Госиздат, приняв в 1940 году заявку на издание перевода героической поэмы Камоэнса? Скорее всего, не только и не просто желанием познакомить читателя с шедевром португальского Возрождения. Поэма "Лузиады" была написана за 8 лет до рокового в истории Португалии рубежа, в предчувствии испанского нашествия. Это

эпос, созданный во славу португальской истории, в нем воспеты подвиги лузитан в борьбе против завоевателей на протяжении многих веков. Поэма вся проникнута духом национального единения.

А что было интересно и близко в поэме самому М. И. Травчетову? Мечтатель и ценитель поэзии, он не мог не увлечься картинами "волшебного вымысла" и способами их отражения в переводе. Камоэнс, создавая "Лузиады", опирался не только на материалы хроник, но и на богатейшую классическую литературную традицию, воссоединяя в эпической поэме о путешествии реально существовавших героев — и богов, и нимф. "Мифологический пласт" поэмы, при всей его условности, придает "Лузиадам" дополнительное измерение. Во все века читателям поэмы запоминался прежде всего образ великана Адамастора, превращенного в зловещий Мыс Бурь (Песнь V), пророчившего гибель

Решившимся сквозь бури по
волнам
Вести свою армаду гордецам.

Образ загадочного гиганта и по сей день дает богатый простор воображению не только переводчиков, но и романистов (так, например, Адамастор стал неотъемлемой частью "лиссабонского текста" в культовом романе 1982 года нобелевского лауреата Жозе Сарамаго "Год смерти Рикардо Рейса"). Причем каждый из писателей видел этот образ по-своему. М. В. Ломоносов, например, переводя описание Адамастора, подчеркивал "гнусные члены его", "нескладный стан". В романе Ж. Сарамаго акцент делается на скорбном и трагическом в облике великана. Таков и Адамастор М. И. Травчетова. Это тоже не просто страшная сила, но страдающее существо, измученное безответной любовью к "водной царице".

Глубоко личные, собственные интонации переводчика "удваивают" напряжение тех лирических отступлений, где португальский поэт с горечью говорит о современности, которую он отказывается понимать ("Я не могу постигнуть почему...", Песнь X). Закончив воспевать подвиг прошлых лет, он напрасно ищет нового вдохновения:

Меня не пенье утомило
А мысль, что я в своем краю
чужой.

В финале тревожное ощущение надвигающихся перемен, одиночества поэта не диссонирует с общим жизнеутверждающим строем поэмы, но подводит под ним своеобразную черту. Камоэнс отваживается завершить "Лузиады" советами монарху, призывая его не пренебрегать теми, кто составляет цвет нации, кто стяжал себе славу подвигами, и не слушать "клевет". Как знать, какие дополнительные оттенки исторического смысла вложил переводчик в эти строки, какие аналогии из своего времени имел в виду. Его уже нет с нами, но есть его текст, который и филологи, и историки вольны истолковывать вновь и вновь. Ибо каждый перевод несет на

себе не только печать творческой личности переводчика, но отдает — вольную или невольную — дань тому времени, когда перевод был сделан.

И все вместе эти лики "русского Камоэнса", от первых конспектов М. В. Ломоносова до современного перевода О. А. Овчаренко, суть звенья единой цепочки. Поэтому восполнение утраченного звена — публикация героической поэмы Луиса де Камоэнса "Лузиады" в переводе М. И. Травчетова — не только восстанавливает историческую справедливость — оно призвано обеспечить преемственность культурных эпох.

Антонио Перейра Нобре

Мельник ностальгии

Отклики читателей

От редакции

Знакомство российского читателя с Антонио Перейрой Нобре (1867—1900), с одним из апостолов португальской поэзии, началось с поэмы “Путешествия по моей земле”, напечатанной в 2012 году в антологии “Век перевода”. В том же году в сентябрьской книжке журнала “Иностранная литература” появилась большая подборка его стихов. А в 2013 году в издательстве “Водолей” был опубликован полный перевод единственной книги поэта, вышедшей при его жизни. “Собрание стихов, перемешанных с прозой, похожей на стихи”, как определил ее один из португальских критиков, в русском издании получило название — “Мельник ностальгии”. Перевод в первом, во втором и в третьем случаях был выполнен Ириной Фещенко-Скворцовой. Она же автор вступительных статей в журнале и в книжном издании.

Каким остался Нобре в памяти его современников и соотечественников?

“Надменный, как принц, и обворожительный, как ребенок... Оригинальный человек, рожденный облаками и закатами для того, чтобы беседовать с рыбаками, жить в Лесе, мечтать, писать стихи и быть несчастным”, — так вспоминает друга юных лет писатель Жулио Брандан (1869—1947).

Один, болезнь, чужбина,
ностальгия...
Ты в тридцать два ушел в страну
теней,
Осталась книга, словно
литургия...
Нет книги в Португалии
грустней, —

писала в стихотворении, посвященном Анту, своему “брату по духу” Флорбела Эшпанка (1894—1930). Анту — поэтический псевдоним Нобре.

“Когда он родился, родились мы все”, — признавался Фернандо Пессоа (1888—1935).

Исследуя новаторство Нобре в области поэтической формы, структуру и ритмы его стихов, Ирина Фещенко-Скворцова подчеркивает и национальные истоки творчества поэта. Вслед за Пессоа она отмечает, что Антонио Нобре, любовно и ностальгически вбирая в себя старинные обычаи и нравы, живописные религиозные торжества, тоскливые и радостные пейзажи, особую мелодику народной речи, “первым раскрыл европейцам душу и национальный уклад жизни португальцев”.

В его стихах слышится гордость за открывателей сказочных стран — отважных моряков шест-

надцатого столетия, за великое прошлое:

Я — внук мореходов, героев
морей,
Правителей индий, бродяг,
бунтарей,
Властителей моря!

Слышится и бесконечная нежность к родной Лузитании, желание согреть сердечным теплом тех, кто живет на этой земле и кто обездолен.

Отразились в стихах Нобре и изгнанничество, одиночество, и предчувствие скорой смерти от неизлечимой в то время чахотки ("исчезну, странный гость, никем не зван", "я здесь, и нет меня почти"). Анту не мог не писать о своих горестях, но не мог и не обмолвиться: "не ранить бы души вам песней унылой".

Книга Антонио Перейры Нобре "Мельник ностальгии", вышедшая в издательстве "Водолей", издана малым тиражом, но она не осталась незамеченной.

Публикуем ниже несколько откликов любителей поэзии на эту книгу.

Фаду о мессе тьмы и глазах скелета

Португальское фаду — это один из ярких стилей в музыке народов мира, это визитная карточка музыкальной культуры Португалии. Фаду зародилось в начале XIX века как синтез греческого, арабского, бразильского, испанского музыкальных направлений, и этот удивительный жанр лирической песни по сей день популярен. Основой для многих классических композиций фаду стала поэзия Фернандо Пессоа, а его личность заинтересовала еще одного знаменитого португальца, Жозе Сарамаго, и была подробно описана в его романе. Необычные интонации стихотворений Пессоа словно специально созданы для особого настроения лирики фаду, для которого характерна смесь одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления.

Одной из наиболее значимых для Пессоа фигур поэзии XX века стал Антонио Перейра Нобре (1867–1900) – автор, практически безвестный при жизни, но позже ставший настоящим символом португальской литературы. В сборник "Мельник ностальгии" целиком вошла единственная книга Нобре "В одиночестве", официально изданная при жизни. Собственно, это первое знакомство русского читателя с необычным человеком и талантливым стихотворцем Антонио Перейрой Нобре.

Нобре родился на севере Португалии, и красота родных мест нашла отражение в его поэзии. Именно за патриотизм и энергию стиха поэта называли певцом родного края критики, историки литературы и простые читатели. Начинавший как последователь французских символистов, Нобре довольно быстро пришел к своей индивидуальной манере письма, в которой опирался на традицию, обогащая поэтический язык с помощью ярких образов и эмоций. Значительная часть стихов Нобре по своей пронзительности напоминает музыку фаду. Он даже на-

писал стихотворение “Саудаде” — печальное сочинение о тоске по любимой девушке, имевшее автобиографическую основу. Именно состояние души “саудаде”, по мнению португальцев, особенно характерно для их народа, а одноименная композиция стала классикой жанра, своего рода музыкальным стандартом.

Книга снабжена подробным комментарием, без которого современному читателю было бы трудно читать сборник, понять реалии португальской жизни. Например, строки из стихотворения мрачного и декадентского цикла “Луна ущербная”, навеянного Бодлером и Верленом:

Вы, очи грустные, осенние
пожары,
Чей свет мерцающий, как
дальний звон кифары!
О, черные глаза! Чернее ран
Христа!
Торжественная тень
восставшего креста!
О, пропасти в ночи! Пучина без
ответа!
О, блики лунные в глазницах у
скелета!
О, тьма мистичная! Тяжелая
завеса,
Скрывающая день!
О, тьмы святая месса!

Немногие помнят о старинном обычае — “мессе тьмы”, дне предательства Иуды. В этот день читали четырнадцать специальных псалмов, зажигали свечи, после прочтения каждого псалма гасилась одна свеча. Позже католическая церковь изменила обряд богослужения, и “месса тьмы” ушла в небытие.

Порой стихи Нобре звучат как доверительное повествование:

О, ты, Траз-уж-Монтеш, моя
сторона,
Где в камешке каждом жива
старина!
Один португалец оттуда далеко
Судьбой был заброшен и жил
одиноко.
По Борбе родной на чужбине
скучал,
Вернулся, и девушку он
повстречал.

Пять последних лет поэта прошли в мучениях. Страдая тяжелейшим туберкулезом, Нобре не переставал сочинять, но при жизни успел издать всего один сборник. Антонио Перейра умер в 32 года, оставив после себя еще две книги. Жозе Сарамаго и Фернандо Пессоа, безусловно, ярко представляют культуру Португалии. Однако и менее известные за пределами страны литераторы, в том числе автор данного сборника, также составляют часть португальского литературного золотого запаса.

Артем Пудов
http://www.ng.ru/poetry/2014-02-06/6_pudov.html

Иногда приходится слышать споры о том, должен ли переводчик поэзии быть поэтом. Мне кажется, что участники таких споров упускают из виду гораздо более важное обстоятельство: переводчик должен в первую очередь быть *читателем*. Читателем любящим и ответственным. Именно такова Ирина Фещенко-Скворцова,

переводчик Антонио Нобре и других португальских поэтов.

Ритмический строй португальской поэзии отличается и от русской, где преобладает силлаботоника, и от поэзии на других романских языках, где господствует силлабика, то есть счет слогов без учета ударений. В португальских стихах считают слоги, но два-три главных ударения в строке тоже учитываются, и их взаимное расположение создает замечательное разнообразие стихотворных ритмов. Перед переводчиком встает интересная задача: как передать эти ритмические вариации средствами русского стиха, сохранив при этом аромат оригинала.

Ирина подходит к этой задаче как филолог, изучает ритмы Нобре, их источники и эволюцию. Вооруженная этим знанием, она подключает свое поэтическое чутье (ведь Ирина — и поэт, автор нескольких поэтических сборников) и воссоздает ритмы Португалии по-русски.

А Португалию она тоже знает не по энциклопедиям, прожив там не один год. Знает и любит ее реалии, историю, литературу и людей. Поэтому в ее переводах дышит живой, подлинный дух страны и языка.

Дмитрий Манин,
переводчик

Книга переводов на русский язык из Антонио Перейры Нобре, одного из лучших португальских поэтов конца XIX столетия, выполненная Ириной Фещенко-Скворцовой, произвела самое благоприятное впечатление.

Обстоятельное предисловие, рисующее не слишком знакомую читателю фигуру поэта, объемно и всесторонне.

Что привлекло внимание в самих текстах?

Пожалуй, в первую очередь разнообразие поэтических форм, которые использует переводчик. Конечно, в этом отношении он следует оригиналу. Но так бывает далеко не всегда, подчас переводы выполняются так, как переводчику удобнее. В данном же случае поэтическая речь автора в переводе звучит чрезвычайно гибко и выразительно, легко и естественно.

Понятно, что такая кропотливая работа помимо переводческого таланта требует и очень большого труда. Обширные комментарии и чрезвычайно познавательный справочный материал, размещенные в конце книги, автоматически переводят ее в ранг академического издания.

В общем, такую книгу можно смело ставить на полку "Шедевры мировой поэзии". Выглядеть там она будет вполне достойно.

Владимир Гутковский,
член Национального Союза писателей Украины, почетный (иностранный) член Союза писателей Санкт-Петербурга

Португальская литература на страницах "ИЛ"

1967

Филипи Даниэл — *Открытие любви.* Поэма. Перевод М. Самаева [9]

О'Нейл Александр — *Стихи.* Перевод и вступление Е. Долматовского [12]

1975

Тавареш Родригеш У. — *Рассказы.* Перевод Лилианы Бреверн [8]

1976

Рассказы португальских писателей. Переводы Л. Бреверн, И. Тыняновой [9]

1977

Гомеш Феррейра Жозе — *На площади Маяковского.* Стихотворение. Перевод Р. Казаковой [11]

1978

Сеабра М. де — *Traduttore, traditore?* Перевод Г. Вержховской
Рубрика *Трибуна переводчика* [11]

1979

Сказать "добрый день" – значит сказать сущую правду. Несколько мнений о португальской литературе сегодня. Перевод, вступительное слово и составление Т. Коробкиной [12]

1980

Гомеш Феррейра Жозе — *В СССР.* Фрагменты поэмы. Перевод В. Резниченко. Вступление Р. Рождественского [4]

Из португальской поэзии. Переводы. Вступление Е. Ряузовой [5]

Камоэнс Луис де — *Стихи.* К 400-летию со дня рождения. Переводы В. Левика, В. Резниченко. Вступление С. Ереминой [8]

1984

Тавареш Родригеш У. — *Что читают сегодня в Португалии* [1]

Намора Ф. — *Об искусстве врачевания.* Писатель о себе и о своих книгах. Статья [3]

1987

Намора Фернандо — *Река печали.* Роман. Перевод Лилианы Бреверн [3—5]

1988

Пессоа Фернандо — *"Клубятся тучи в вышине" и др. стихи.* Из "Книги тревог" (К 100-летию со дня рождения). Переводы Г. Зельдовича, А. Гелескула, Т. Родименко. Вступление А. Гелескула [11]

1997

Портрет в зеркалах: Фернандо Пессоа [9]

Пессоа Фернандо — *Разрозненные страницы.* Перевод Бориса Дубина [9]

Сена Жоржи де — *Письмо к Фернандо Пессоа.* Перевод Александра Богдановского [9]

1998

Сарамаго Жозе — *Евангелие от Иисуса.* Роман. Перевод А. Богдановского [5, 6]

1999

Сарамаго Жозе — *О том, как герои учат автора ремеслу.* Нобелевская лекция 1998 года. Перевод А. Богдановского [4]

Сарамаго Жозе — *Каменный плот.* Роман. Перевод А. Богдановского [9, 10]

2008

Сарамаго Жозе — *Слепота.* Фрагмент романа. Перевод А. Богдановского. Послесловие Дмитрия Померанцева [3]

2011

Лобу Антунеш Антониу — *А мне что делать, когда все горит?* Фрагменты романа. Перевод Екатерины Хованович [5]

2012

Нобре Антониу — *"Когда родился он, родились мы все".* Стихи. Перевод и вступление Ирины Фещенко-Скворцовой [9]

Антониу Лобу Антунеш
António Lobo Antunes
[р. 1942]. Португальский писатель и журналист. Лауреат премии Союза писателей Португалии [1985, 1999], *Европейской литературной премии* [2000], премии Камоэнса [2007], премии Хуана Рульфо [2008] и др. Удостоен высшей награды Португалии – ордена Сантьяго-Меченосца [2005].

Автор романов *Познание ада* [*Conhecimento do Inferno*, 1980], *Трактат о птицах* [*Explicaçao dos Pássaros*, 1981], *Смерть Карлоса Гарделя* [*A Morte de Carlos Gardel*, 1994], *Пособие для инквизиторов* [*Manual dos Inquisidores*, 1996], *Я не видел тебя вчера в Вавилоне* [*Ontem Não te vi em Babilónia*, 2006], *Архипелаг бессонницы* [*O Arquipélago da Insónia*, 2008] и др. В *ИЛ* опубликованы фрагменты романа *А мне что делать, когда все горит?* [2011, № 5].
Перевод романа выполнен по изданию *Memória de Elefante* [Publicações Dom Quixote, 1983].

Жозе Сарамаго
José Saramago
[1922–2010]. Прозаик, поэт. Лауреат Нобелевской премии [1998], премии Ассоциации португальских писателей, английской премии *За лучшую иностранную книгу* и многих других. Основатель Национального фонда защиты культуры.

Автор романов *Поднявшиеся с земли* [*Levantado do Chão*, 1980; рус. перев. 1982], *Воспоминания о монастыре* [*Memorial do Convento*, 1982; рус. перев. 2003], *Год смерти Рикардо Рейса* [*O Ano da Morte de Ricardo Reis*, 1984; рус. перев. 2003], *Каменный плот* [*A Jangáda de Pedra*, 1986; рус. перев. в *ИЛ*, 1999, № 9–10], *Евангелие от Иисуса* [*O Evangelho Segundo Jesus Cristo*, 1991; рус. перев. в *ИЛ*, 1998, № 5–6], *Слепота* [*Ensaio Sobre a Cegueira*, 1995; рус. перев. 2008], *Книга имен* [*Todos os nomes*, 1995; рус. перев. 2010], *Двойник* [*O Homem Duplicado*, 2002; рус. перев. 2008], *[Про]зрение* [*Ensaio Sobre a Lucidez*, 2004; рус. перев. 2013], *Перебои в смерти* [*As Intermitências da Morte*, 2005; рус. перев. 2006], *Странствие слона* [*A Viagem do Elefante*, 2008; рус. перев. 2011], *Каин* [*Caim*, 2009; рус. перев. 2010].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Provavelmente Alegria* [Editorial Caminho, 1985] и *Os Poemas Possivies* [Lisboa: Editorial Caminho, SARL, 1978].

Екатерина Александровна Хованович
Переводчик с испанского и португальского языков. Победитель первого конкурса *Современная зарубежная художественная литература*,

В ее переводе печатались произведения М. Скляра, Х. Кортасара, Х. Х. Арреолы, Г. Мистраль, П. Неруды, В. Уидобро, Р. Ортеги Монтенегро и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

проводившегося Издательской программой Института *Открытое общество* [Фонд Сороса; 1998–1999], призер конкурса переводчиков поэзии Пабло Неруды, проводимого Фондом Пабло Неруды, посвященного столетию поэта [2004], обладатель диплома критиков *зоИЛ* [2011].

Жозе Луиш Маркеш Пейшоту
José Luís Marques Peixoto
[р. 1974]. Прозаик, поэт и драматург. Лауреат премии Жозе Сарамаго [2001], испанской премии *Каламо – Новый взгляд* за лучший иностранный роман [2007], итальянской премии *Ливро д'Эуропа* [2013].

Автор таких прозаических произведений, как *Ни одного взгляда* [*Nenhum Olhar*, 2000], *Дом во тьме* [*Uma Casa na Escuridão*, 2002], *Противоядие* [*Antídoto*, 2003], *Кладбище фортепьяно* [*Cemitério de Pianos*, 2006], *Известь* [*Cal*, 2007], *Книга* [*Livro*, 2010] и др., трех сборников поэзии *Дитя в руинах* [*A Criança em Ruínas*, 2001], *Дом, тьма* [*A Casa, a Escuridão*, 2002], *Ящик для бумаг* [*Gaveta de papéis*, 2008], трех пьес *Анафема* [*Anathema*, 2006], *К утру* [*À Manhã*, 2007] и *Когда придет зима* [*Quando o Inverno Chegar*, 2007], книг для детей, текстов песен и либретто. Его произведения переведены на многие языки.
Рассказы взяты из разных сборников.

Гонсалу Мануэл Албукерке Тавареш
Gonçalo Manuel Albuquerque Tavares
[р. 1970]. Прозаик, поэт, преподаватель университета. Лауреат самых престижных португальских литературных премий *Португал Телеком* [2007], имени Жозе Сарамаго [2005] и *ЛЭР/Миллениум* Португальского коммерческого банка [2004], а также X Международной премии *Триеста* [2008, Италия] и за лучший иностранный роман [2010, Франция].

Автор серии книг коротких новелл-зарисовок *Квартал* [*O Bairro*], серии *Королевство* [*O Reino*], эпопеи *Путешествие в Индию* [*Uma Viagem à India*], нескольких книг стихов и др.
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *O Senhor Juarroz e o pensamento* [2004].

Луиш Франсишку Ребеллу
Luiz Francisco Rebello
[1924–2011]. Драматург, театральный критик, историк театра и публицист. По профессии адвокат. Совместно с Жозе Сарамаго, Арминду Магальяншем, Мануэлем да Фонсека и Урбану Таварешем Родригешем основал Национальный фронт защиты культуры [1992]. Награждён различными орденами Португалии и других стран. Лауреат Театральной премии бывшего Сообщества писателей [1964] и Гран-При Португальского сообщества авторов [1994].

Автор многочисленных книг по истории театра, эссе, сочинений по юриспруденции и пьес, в частности *Басня в одном акте* [*Fábula em um Acto*, 1947], *Мир возник в 5:47* [*O Mundo Começou às 5 e 47*, 1948], *Приговоренные к жизни* [*Condenados à Vida*, 1963], *Срочно требуется любовь* [*É Urgente o Amor*, 1958], *Кому-то придется умереть* [*Alguém Terá de Morrer*, 1956], *На следующий день* [*O Dia Seguinte*, 1953], *До последней страницы* [*O Fim na Última Página*, 1951], *Птицы с подрезанными крыльями* [*Os Pássaros de Asas cortadas*, 1959], *Неповиновение* [*A Desobediência*, 1998].
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Teatro in Intervencao* [Lisboa: Editorial Caminho, SARL, 1978].

Ирина Фещенко-Скворцова
Поэт, эссеист, переводчик. Кандидат педагогических наук. Член Союза российских писателей С 2003 г. живет в Португалии.

Автор четырех книг стихов и литературно-критических эссе, последняя книга *Блажен идущий* [2014], литературных публикаций в поэтических антологиях и периодических журналах, статей об особенностях поэтической техники отдельных португальских авторов, более 60 научных публикаций по проблемам творчества в педагогике и психологии. Переводила португальских, бразильских, испанских поэтов, в их числе Ф. Пессоа и его гетеронимы. В ее переводе с португальского напечатана книга стихов и поэм А. Нобре *Мельник ностальгии* [2013]. Готовится к публикации книга Бернарду Суареша/Фернанду Пессоа *Книга неуспокоенности*. В *ИЛ* напечатан ее перевод стихов А. Нобре [2012, № 9].

Мариу де Са-Карнейру
Mario de Sa-Carneiro
[1890–1916]. Поэт, прозаик и журналист. Совместно с Фернандо Пессоа издавал журнал *Орфей*.

Автор пьесы *Дружба* [*Amizade*, совместно с Томашем Кабрейрой Жуниором], сборников новелл *Начало* [*Princípio*, 1912] и *Небо в огне* [1915], повести *Исповедь Лусиу* [*A Confissao de Lúcio*, 1914], сборника из 12 стихотворений *Рассеяние* [*Dispersao*, 1914] и др.
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Loucura...* [Lisboa: edições rolim].

Жозе Жуакин Сезариу Верде
José Joaquim Cesário Verde
[1855–1886]. Поэт.

Автор только одной книги стихов *Книга Сезариу Верде* [*O Livro de Cesario Verde*, 1887], опубликованной уже после смерти поэта его другом – художником Силвой Пинту. При жизни публиковался только в периодических изданиях: журнале *Белое и черное* [*Branco e Negro*], газетах *Ежедневные известия* [*Diario de Noticias*], *Ежевечерник* [*Diário de Tarde*], *Трибуна* [*Tribuna*], *Просвещение* [*A Ilustraçao*].
На русском языке его стихотворения опубликованы в антологиях *Лузитанская лира* [1986] и *Век перевода* [2012].
Публикуемые стихи печатаются по изданию *Книга Сезариу Верде* [*O Livro de Cesário Verde.* Texto integral e estudo da obra. Editora Estante, Agosto 2010].

Флорбела де Алма да Консейсан Эшпанка
Flor Bela de Alma da Conceiçao Espanca
[1894–1930]. Поэт, прозаик, переводчик с испанского и французского языков.

Автор сборников стихов *Книга печалей* [*Livro de Mágoas*, 1919], *Книга Сестры Ностальгии* [*Livro de Sóror Saudade*, 1923], *Равнина в цвету* [*Charneca em Flor*, 1931], книг прозы *Маски судьбы* [*As Máscaras do Destino*, 1931] и посмертных изданий *Дневник последнего года* [*Diário do Ultimo Ano*, 1981] и *Черное домино* [*O Dominó Preto*, 1982]. На русском языке в антологии *Век перевода* опубликованы ее сонеты *Любить!* и *Сорор Саудаде* [2012].
Публикуемые сонеты печатаются по *Полному собранию сонетов* [*Sonetos Completos.* (Livro de Mágoas, Livro de Sóror Saudade, Charneca em Flor, Reliquiae). Coimbra: Livraria Gonçalves, 1934].

Фернандо Антониу Нугейра Пессоа
Fernando António Nogueira Pessoa
[1888–1935]. Поэт, прозаик, мыслитель-эссеист, литературный критик, переводчик, лидер и неоспоримый авторитет лиссабонского авангарда. Лауреат премии Антеру де Кентала.

При жизни опубликованы одна поэтическая книга *Послание* [1934] на языке португальском и три книги стихов на английском. После его смерти напечатаны сборники стихов и эссе его гетеронимов Алберту Каэйру, Рикарду Рейша и Алвару де Кампуша, книга философской прозы полу-гетеронима Пессоа – Бернарду Суареша *Книга неуспокоенности.*
Перевод публикуемых стихов и фрагментов *Книги неуспокоенности* осуществлен по изданию *Главные произведения Фернандо Пессоа* [*Obra essencial de Fernando Pessoa.* Edição Richard Zenith. Assírio Alvim, 2006, 2007, 2012].

Жентил Эштевейра Маркеш
Gentil Esteveira Marques
[1918–1991]. Поэт, прозаик, переводчик, жур-

Автор романов *Наш хлеб* [*Pão nosso*, 1940], *Эса де Кейрош: роман о жизни и творчестве* [*Eça de Queiroz: o romance da sua vida e da sua obra*, 1945], *Камилу: роман о его жизни и творчестве* [*Camilo: o romance da sua vida e da sua obra*, 1951] – роман о Камилу Каштелу Бранку. В его переводе опубликованы роман Г. Сенкевича *Куда идешь?*, произведения А. Кристи и др.

налист, работал в кино и на радио.

Публикуемые легенды печатаются по изданию *Легенды Португалии* [*Lendas de Portugal.* Вета – Projectos Editoriais, Lda, 2006].

Мария Филумена де Карвалью Годинью Моника
Maria Filomena de Carvalho Godinho Mónica
[р. 1943]. Историк и социолог. Доктор социологии. Лауреат премии *Максима* по литературе.

Автор книг *Образование и общество в Португалии при Салазаре* [*Educação e Sociedade no Portugal de Salazar*, 1978], *Ремесленники и рабочие* [*Artesãos e Operários*, 1986], *Визиты во власть* [*Visitas ao Poder*, 1993], *Турист поневоле* [*Turista à Força*, 1996], *Дети Руссо* [*Os Filhos de Rousseau*, 1997], *Сцены из португальской жизни* [*Cenas da Vida Portuguesa*, 1999], *Эса де Кейрош* [*Eça de Queiroz*, 2001], *Король Педру V* [*D. Pedro V*, 2005], *Удостоверение личности* [*Bilhete de Identidade*, 2005; автобиография], *Мы, португальцы* [*Nós, os Portugueses*, 2008], *Стоит ли отдавать детей в школу?* [*Vale a Pena Mandar os Filhos à Escola?* 2008], *Кантуш: трагедия семьи с Азорских островов* [*O Cantos: A Tragédia de uma Família Açoriana*, 2010]. Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Nos, os Portugueses* [Quasi, 2008].

Елена Владимировна Огнева
Литературовед, переводчик с испанского и португальского языков, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник филологического факультета МГУ, заслуженный научный сотрудник Московского университета, член Союза писателей.

Автор статей о латиноамериканской, португальской, испанской литературе. С ее предисловиями выходили произведения Ф. Наморы, Ж. Сарамаго, Ж. Амаду, Л. Фагундес Теллес, К. Фуэнтеса, М. Пуига, А. Переса-Реверте и др.
В ее переводах публиковались эссе А. Карпентьера и Ж. Амаду, письма и интервью Х. Кортасара, Э. Сабато и др. В *ИЛ* публиковались ее статьи *Фантастическое у Кортасара* [1978, № 8] и *Эпоха единения* [1984, № 1]. Была постоянным обозревателем рубрики *ИЛ Из месяца в месяц* [1976–1986].

Переводчики

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков.

В его переводе издавались произведения Л. де Гонгора-и-Арготе, Л. де Веги Карпио, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, Р. Альберти, Х. Марти, Х. Лесамы Лимы, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, Дилана Томаса, У. Х. Одена, Р. Уиллера, Р. Пенна Уоррена и др.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Мария Курчатова
Переводчик с английского и португальского языков, преподаватель. Руководитель школы с культурологическим подходом для детей-билингвов в г. Порту. Живет в Португалии.

Автор статьи *Работа с профессиональной лексикой при использовании информационных технологий обучения иностранным языкам* [в соавторстве с Варюхиным В. В. и Каманиной Г. И., 2004].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Антон Чернов
[р. 1985]. Переводчик с французского, итальянского, испанского и португальского языков. С 2011-го работает в Библиотеке иностранной литературы, сотрудник редакционно-издательского отдела ВГБИЛ.

В его переводе вышла книга Ж. Де Нерваля *Несмолкающий мотив* [2014], а также его переводы включены в сборник *Итальянская новелла XXI век* [2011] и двуязычный сборник *Избранные стихотворения в итальянских переводах* Фета [2012]. В *ИЛ* публикуется впервые.

“ИЛ” в 2016 году

В Букеровском романе **“Жара и пыль”** американо-индийской писательницы РУТ ПРАЙВЕР ДЖАБВАЛЫ разворачиваются две любовные истории: первая — в колониальной Индии, другая — в Индии, обретшей независимость. Мы погружаемся в увлекательное параллельное повествование — авторское и дневниковое, — линии которого тесно переплетены: близкая нам по времени вторая героиня совершает путешествие в Индию, чтобы разузнать утаиваемую в семье историю бабушки, но там с ней самой происходит много неожиданного. “Индия всегда меняет людей, и я не исключение”, — признается она.

Повесть чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Гимн ангела с поджатой ногой”** — поэтичное описание одного дня тринадцатилетнего мальчика — можно назвать современным “романом воспитания”.

Мексиканский писатель ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТЬЯ в своем романе **“Мертвые”** воспроизводит реальные события, рисует жизнь публичных домов в захолустных городках. Перед читателем раскрывается мир провинциальной Мексики, развращенный и лицемерный, где все имеет свою цену, даже женщины.

В подборку малой прозы ГЕРМАНА ГЕССЕ вошли небольшие тексты разных жанров, написанные приобретающим популярность писателем в 1904–1908 годах, а также две притчи более позднего времени. Уже в ранних рассказах появляются важные для его творчества черты: автобиографизм, внимание к деталям, ясность композиции, перекличка разных сюжетных линий. Гессе обращается к излюбленным романтическим темам: странствие, поиски себя, противопоставление героя и мира.

“Лжетрактат о манипуляции” АНЫ БЛАНДИАНЫ — очерки, написанные с блеском опытного колумниста. Людьми манипулируют и они сопротивляются или поддаются — на эту ось нанизано множество фактов, от которых румынская поэтесса Ана Бландиана, не раз публиковавшаяся в “ИЛ”, уходила в стихи и на которых росли ее фантазии в прозе.

Три театральных монолога известного итальянского драматурга, эссеиста и критика КЛАУДИО МАГРИСА.

Впервые на русском языке выйдут несколько рассказов из сборника **“Неоновая пустыня”** НЕЛЬСОНА ОЛГРЕНА, известного американского писателя, лауреата главной литературной премии Америки “Национальная книжная премия”. Подобно нашему Горькому, Олгрен много скитался, повидал жизнь — и описал ее талантливо и бесхитростно в произведениях с криминальным сюжетом и живыми, списанными с жизни персонажами.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Москва” (ул. Арбат, д. 20);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине “Мы” (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.6.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 9213.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru,
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент картины португальской художницы Паулы Рего [р. 1934].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

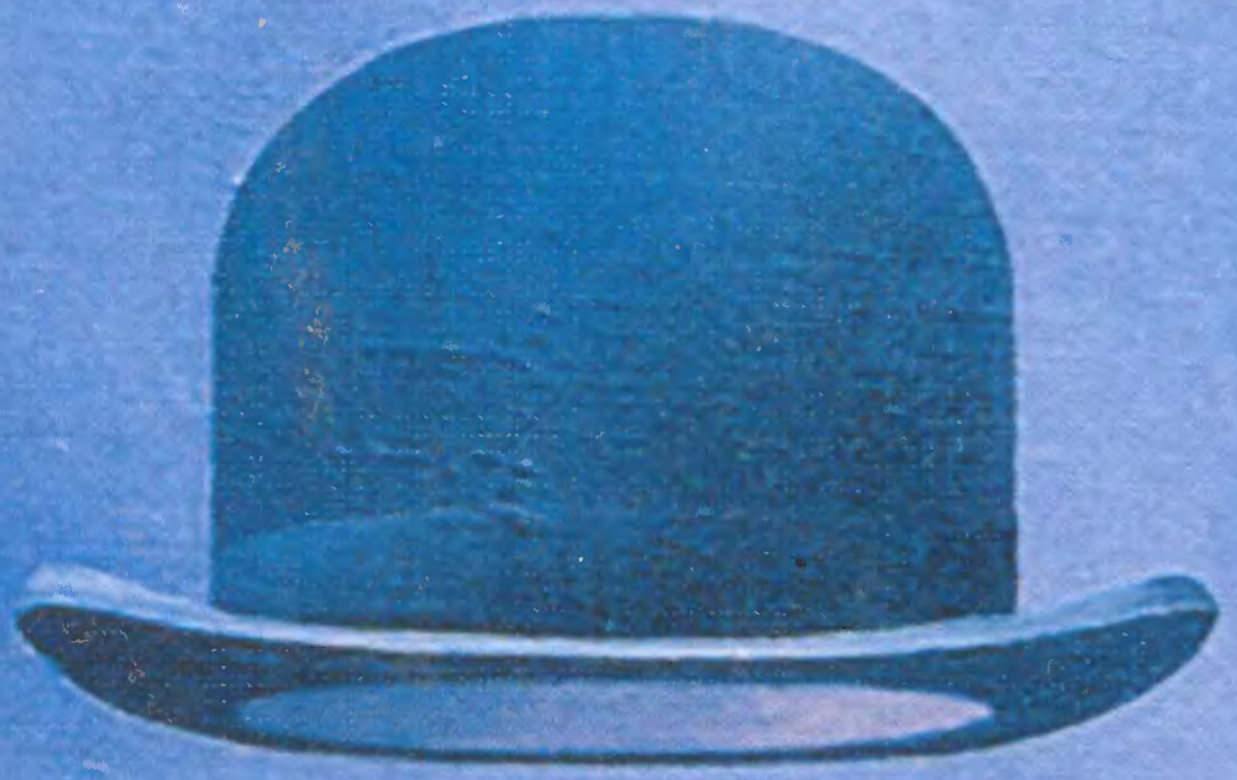
Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

[8] 2015

ПОВЕСТЬ МАГДАЛЕНЫ ТУЛЛИ “ШУМ” / СТИХИ ЧИЛИЙСКОГО ПОЭТА ХАВЬЕРА КАМПОСА / РАССКАЗЫ ШЕРМАНА АЛЕКСИ / УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС В РУБРИКЕ “ЮБИЛЕЙ” / ПЬЕСА МАЙКЛА ФРЕЙНА “БАЛМОРАЛ” / РОБЕР ДЕСНОС В РУБРИКЕ “№” / СТАТЬЯ АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА “МАРК ТВЕН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ”

ИНДЕКС 70394

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература” :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 15007 > 9 770130 654770

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2015, №7, 1–288